The background is a complex composition of geometric shapes and patterns. It includes several triangular sections with different textures: a dark blue hexagonal pattern, a white dotted pattern, a dark blue wavy pattern, and a grey woven pattern. There are also various lines and stripes in dark blue, grey, and a light greenish-yellow color. The overall style is modern and abstract.

ЛАРИСА МИЛЛЕР

**Колыбель
висит над бездной**

Лариса Миллер

Колыбель висит над бездной

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 84(2Рос=Рус)6-5
ББК 821.161.1

Миллер Л.

Колыбель висит над бездной / Л. Миллер — «РИПОЛ Классик»,
2018

ISBN 978-5-4491-0280-5

Лариса Миллер – известный поэт, прозаик, эссеист, автор более 30 книг и популярного блога «Стихи гуськом». Данная книга – избранное, имеющее отношение к историческим реалиям в судьбе самого автора, ее родителей, в судьбе страны и мира. Главный рефрен «общественной тематики» в творчестве Ларисы Миллер – тревога. Это и «врожденная память о чужих кошмарах» (погромы, война, Холокост, ГУЛАГ), это и острое чувство возможности повторения самого страшного: «Всяко было, всё возможно...», и постоянно звучащее заклинание: «Жизнь, лишённую брони, / Милосердный, сохрани». О том же и заглавие книги. В предисловии составителя – о трех загадках Ларисы Миллер: одной поэтической и двух политических. Сайт Ларисы Миллер: larisamiller.ru

УДК 84(2Рос=Рус)6-5
ББК 821.161.1

ISBN 978-5-4491-0280-5

© Миллер Л., 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

Предисловие от составителя	7
Три «загадки» Ларисы Миллер: одна поэтическая и две политических	7
1. Загадка поэтическая	8
2. Загадка политическая – советская	10
3. Загадка политическая – российская	14
1. Две стихотворные подборки в «Новой газете» (2011)	18
«Спасибо тебе, государство»	18
«Резец века»	20
2. Стихи из четырех книг	23
Из сборника «Безымянный день» (1977)	23
«Дополнение» (1977) – стихи, не разрешенные к публикации в сборнике «Безымянный день» и распространявшиеся в Самиздате	26
Из сборника «Земля и дом» (1986)	38
Из книги «Поговорим о странностях любви» (1991)	41
3. Детство	44
Дом 10, квартира 2	45
Кинотеатр очень юного зрителя	55
Сплошные праздники	57
Не ходи за ворота	64
Анна Васильевна с Олимпа	69
4. Мама, папа, Пастернак	71
Из повести «Мама»	71
Папа Миша	80
И всем, чем дышалось...	93
5. Роман с английским	97
Целина 58-го года. Из повести «Север, юг, восток и запад»	97
Фальшиводокументчица	105
Роман с английским	107
Колыбель висит над бездной	117
[Дополнение 2010 г	121
Компромисс между жизнью и смертью	122
Из эссе «Фермата», Флоренция, 1995	125
Ното normalis	126
Времена группы Simple. Советы учителя	128
Островок безопасности	130
6. Стихи 1988–1999 годов	131
7. Упоение заразительно	140
Из эссе «Путевые заметки»	141
Из стихотворной подборки в журнале «Простор» (№ 5, май 1973 г., стр. 58–59)	145
Стихотворение, в последний момент изъятое цензурой из подборки «Простора»	147
Переписка с Ильей Шуховым	148

Публикация в «Московском комсомольце», прозвучавшая по радио в день юбилея автора 29 марта 1985 г.	150
Из повести «А если был июнь и день рождения...»	152
Из повести «Поговорим о странностях любви» (1990)	158
Упоение заразительно	176
И мой Пушкин[51]	178
Из статьи «Печальное равновесие»	180
Тема в мажоре	182
«Миллион причин для счастья»[52]	183
Ключ от снесённого дома[53]	185
Местные условия таковы[54]	187
И возникает счастье	189
Памяти Тамары Владиславовны Петкевич (29.03.1920–18.10.2017)	191
Заявление о выходе из состава Русского ПЕН-центра	193
8. Стихи XXI века (2000–2018)	194
Приложение	207
Книги Ларисы Миллер	219
Книги на иностранных языках	221

Лариса Миллер
Колыбель висит над бездной

© Лариса Миллер, 2018

© Издание, оформление. Де`Либри, 2020

Предисловие от составителя

Три «загадки» Ларисы Миллер: одна поэтическая и две политических

Эта книга – избранное из стихов и прозы Ларисы Миллер с проекцией на, говоря казенно, «общественную тематику». В книгу отобраны произведения, имеющие отношение к счастливым либо драматическим историческим реалиям в судьбе самого автора, ее родителей, в судьбе страны и мира. В этом предисловии – три части о трех «загадках» Ларисы Миллер.

1. Загадка поэтическая

О поэзии Ларисы Миллер написано немало. Приведу несколько откликов:

– «Когда я слушаю стихи Ларисы Миллер, то возникает загадка. Где те средства, которыми она добивается успеха, успеха у меня – читателя?.. Я почти не знаю людей, которые писали бы стихи настолько загадочно. Этот поэтический аскетизм поразителен и доступен только очень талантливым людям»¹;

– «Поэзия Ларисы Миллер – яркий образец торжества русской речи и русского классического стиха с его точными рифмами, лаконизмом, пушкинской, тютчевской, фетовской загадкой. Мы не знаем, почему такая поэзия никогда не устаревает...»²;

– «Парадокс заключенной в стихах Л. Миллер «загадки» видится мне в том, что свои «загадочные» приемы она не прячет – вот они, на поверхности, налицо в каждом стихотворении. Но при этом настолько безыскусны, естественны, что читатели «проглатывают» их, не замечая, стремительно, на одном дыхании, не отдавая себе отчета в истоках невольной возникающего гипноза... Процент гражданских стихов у Ларисы Миллер невелик, зато какие это стихи! Я живу в США. Три года назад смотрю по телевизору репортаж из Москвы о демонстрации оппозиции и вдруг вижу плакат с броскими строками, знакомыми ранее по «Новой газете»: «А Россия уроков своих никогда не учила»»³;

– «Когда я спрашиваю, о первом читательском впечатлении от поэзии Ларисы Миллер – то почти непременно слышу о чуде простоты и особом обаянии её личной стихотворной тайны. Многие стихи Ларисы Емельяновны зачастую кажутся даже и не написанными, а словно бы жившими всегда»⁴;

– Арсений Тарковский (сентябрь 1977 г.): «У Ларисы прозрачно-родниковая форма при истинно глубоком содержании. Когда читаю её, отдыхаю от невнятицы и мнимого глубокомыслия, а их так много в современной поэзии...». С увлечением стал читать вслух её стихи, не вошедшие в сборник «Безымянный день». Потом сказал: «Как жаль, что её не услышит Ахматова...». Таких слов мне ни об одном из молодых поэтов от А.А. слышать не доводилось...»⁵;

– «Есть поэты, которые словно бы присутствовали всегда. По крайней мере, какое бы время ни вспомнилось, они уже были: писали сами и о них кто-то писал. Такой устойчивый, ровный, успокаивающий фон: раз они есть, значит, все в порядке. Один из таких поэтов – Лариса Миллер, книги которой в последние годы выходят в свет с завидным постоянством и никогда не разочаровывают. Живой, в общем, классик»⁶;

– из откликов читателей в интернете: «Ваши стихи хорошо читать утром, на чистую душу»⁷; «Стихи Миллер полны аллюзий, вызывающих у читателя собственные образы. Воздействие её поэзии на нервную систему запредельно. Разве это – простота?»⁸

Вряд ли я могу дать здесь ответ на эту загадку воздействия на читателя поэзии Ларисы Миллер. Может быть, одним из ключей к «отгадке» является тот факт, что многие стихи

¹ Юрий Ряшенцев, «Литературная газета», 19.02.1997.

² Из Ходатайства редакции журнала «Новый мир» при выдвижении Ларисы Миллер на Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства 1999 года.

³ Анатолий Розенцвейг, «Я современник Ларисы Миллер», «Новый Берег», № 50, декабрь 2015 г.

⁴ Павел Крючков, «Живу на свету», «Фома», № 6, июнь 2012 г.

⁵ Суламифь Митина. «Из бесед с Арсением Тарковским» – «Искусство кино». 1992. № 10, 11; «Арсений Тарковский о своих любимых поэтах» – «Книжное обозрение», июнь 1992, № 24.

⁶ Юрий Орлицкий, «Хочу остаться живой до самой смерти», «Арион», № 1, 2016 г.

⁷ a_trunin – <https://larmiller.livejournal.com/69192.html>

⁸ Ольга Питерская – <https://wplanet.ru/index.php?show=text&id=19070>

Ларисы начинаются как бы с полуслова, состоят из одной фразы и произносятся на одном дыхании:

– «А между тем, а между тем, / А между воспалённых тем / И жарких слов о том, об этом / Струится свет. И вечным светом / Озарены и ты, и я, / Пропитанные злобой дня»;

– «А я мечтаю только об одном, / Чтоб больше не ходила ходуном / Земля, вернее, почва под ногами, / Чтоб не пришлось «другими берегами» / Назвать края, где жизнь моя и дом»;

– «Нет, мы не плачем, мы не плачем, / И будь мы хвостиком собачьим / Любой длины и толщины / С рождения оснащены, / Мы им бы весело виляли, / Безумно радуясь, что взяли / Нас погулять на белый свет, / Где можно взять волшебный след»;

– «Я ещё одну минутку / Попросить у вас хотела: / Я не все печали в шутку / Обратила пока успела, / И не всё, с чем шутки плохи, / Превратила в приключения, / И не все сумела вздохнуть / Сделать вздохом облегченья».

2. Загадка политическая – советская

Известно, что лирический поэт стихов не пишет, а за кем-то записывает: *«Не пишется, не пишется. / И тщетны все уловки. / Не пишется без помощи / Таинственной диктовки...»*. Гражданской тематики в поэзии Ларисы Миллер немного, и появлялась она не по обязанности⁹, а волею случая и потому что «достало».

Стихотворение «Погляди-ка, мой болезный...», вторая строка которого дала название этой книге, написалось вечером 15 сентября 1976 года, потому что утром того же дня на глазах поэта КГБ арестовало и отправило в психбольницу нашего друга композитора и барда Петра Старчика. Ужас всей картины был еще и в том, что все это случилось также на глазах жены и детей Петра, которые бежали за отъезжающей машиной скорой помощи и истошно кричали: «Папа, папа!». (См. эссе «Колыбель висит над бездной»).

Стихотворение *«Было всё, что быть могло... / Может завтра в путь острожный / Пыль дорожную глотать... / Мой сынок, родная плоть, / Черенок, пустивший корни / Рядом с этой бездной черной, / Да хранит тебя Господь / От загула палачей, / От пинков и душегубки, / От кровавой мясорубки, / Жути газовых печей...»* появилось летом 1974 года, когда друзья принесли нам типографски изданный (говорили, что где-то подпольно в Грузии) «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Конечно, появление в этом стихотворении ещё одной – фашистской «бездны черной» не случайно; Лариса Миллер раньше читала и «Дневник Анны Франк» и много чего ещё про эти не укладывающиеся в голове ужасы, не говоря уже о том, что у нее самой в школе был угрожающий личный опыт в 1953 году во время «дела врачей». Немало читала она раньше и про сталинские репрессии. Но в «ГУЛАГе» – впервые не про отдельные репрессии или даже периоды репрессий, а цельный исторический обзор страшной советской «канализации», куда систематически «спускали» миллионы людей: от ленинских массовых расстрелов времен красного террора до уничтожения в начале 1930-х миллионов крестьян, а затем и «плановые расстрелы» всех подряд... Хорошо помню, что понимание Октябрьской революции как национальной катастрофы у меня и Ларисы сложилось именно тогда – после прочтения «ГУЛАГа».

Эти два и ещё 24 стихотворения были по цензурным соображениям вынуты Виктором Фогельсоном из первого сборника Ларисы Миллер «Безымянный день» (1977). Вообще-то в издательстве «Советский писатель» Фогельсон был одним из лучших редакторов, а эти стихи он вернул Ларисе со словами «спасибо за доверие» – не в КГБ отнес, а вернул автору! Тогда мы их собрали в самодельную книжку «Дополнение...», которая – не анонимно, а под именем автора – во множестве перепечаток распространялась в самиздате в конце 1970-х – начале 1980-х годов. «Дополнение» публикуется в этой книге.

Есть в нем и стихи про невозможность для автора эмиграции: *«Почему не уходишь, когда отпускают на волю?»* (я выделил «т», потому что многоопытный Фогельсон сказал Ларисе, что стихотворение можно оставить в книге, если она уберет это «т»; она на это не пошла), *«Что ж пой и радуйся дарам / Своей долины плодородной, / Но только жизнь осталась там, / Где был ты тварью инородной»*, *«Господи, не дай мне жить, взирая вчужье, / Как чуждые листья чуждым ветром кружат»* и др. Эти стихи тоже возникли не случайно. В самом начале 1970-х подали на выезд в Израиль наши ближайшие друзья, и после двух лет героического противостояния с КГБ они получили разрешение на выезд. Лариса не могла не примеривать этот опыт на себя, убеждаясь в абсолютной для нее невозможности покинуть Россию.

В этой связи нельзя не сказать про одно фантастическое обстоятельство в судьбе поэта Ларисы Миллер. В 1987 году, в начале перестройки Маргарита Алигер ей рассказала, что в

⁹ «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», – Н.А. Некрасов, 1856 г.

1980-е среди писателей была распространена «достоверная информация», что Лариса Миллер уехала в Израиль. И многие в это поверили, поскольку из-за моих правозащитных дел, дружбы с А. Д. Сахаровым и Е. Г. Боннэр и наших «приключений» с КГБ мало кто из писательской среды решался тогда с Ларисой общаться (хотя с А. А. Тарковским и некоторыми ближайшими друзьями общение не прерывалось никогда). «Боря, когда вы с Ларисой вернулись из Израиля?», – спросил меня сравнительно недавно знакомый поэт, который никак не мог поверить, что мы из нашего Теплового Стана никуда никогда не уезжали. А фантастичность этой легенды КГБ в том, что она неожиданно всплыла через четверть века в статье П. Хохловского в «Литературной газете» от 20 февраля 2008 года, где было указано, что Лариса Миллер живет в Израиле?! Лариса сразу написала Главному редактору «ЛГ» Юрию Полякову свое возражение-опровержение, и оно было опубликовано в следующем номере жирным шрифтом с извинениями редакции (см. стр. 210).

Судьба сборника «Безымянный день» сама по себе тоже необычна. Лариса, при дружеской помощи Тамары Жирмунской, сдала рукопись в издательство «Советский писатель» в 1971 году вскоре после январского совещания молодых писателей, где руководители ее семинара Владимир Соколов, Василий Казин и Василий Субботин вознесли ее стихи до небес. И тем не менее она оказалась единственной из отмеченных на этом совещании молодых поэтов, кто не получил рекомендации в члены «Союза писателей» и чья книга не была представлена совещанием к изданию. «Не нравится им ваш пятый пункт», – шепнул Ларисе, предварительно оглянувшись по сторонам, Василий Васильевич Казин, когда они случайно встретились на улице. Но, думаю, дело ту не в пятом пункте, а в том, что Лариса уже была на особой примете у КГБ СССР – и из-за ее дружбы с двумя английскими аспирантками, из-за чего меня на работе в 1971 году посетил сотрудник с Лубянки, который интересовался также и литературными успехами моей жены (см. в повести «Роман с английским»), и потому что, как я уже сказал, наши друзья подали на выезд в Израиль, а мы от них не шарахнулись, продолжали с ними общаться и даже по мере сил помогать (например, летом 1972 года один из друзей вместе с двумя другими еврейскими отказниками прятались от КГБ в нашей квартире, когда мы уезжали на юг и после возвращения жили с детьми на даче). Ну а сигналы столь вездесущей организации, как КГБ СССР, для уважаемых советских поэтов, очевидно, были более чем авторитетны.

И тем не менее два «общественных» стихотворения Ларисы Миллер, опубликованные в «Дне поэзии 1971» получили высочайшую оценку вполне официального критика Игоря Мотяшова, в обзоре которого «Звено в цепи. Молодые поэты в сборнике «День поэзии 1971»»¹⁰ такие слова: *«Какие же новые силы вливаются в советскую литературу?... Составитель правильно сделал, выделив для них специальный раздел под названием «Начало». В разделе опубликованы стихи 27 авторов... И пусть не сразу, но награда приходит. Судите сами, разве не стоит просеять сквозь сито памяти десятки, а может, и сотни посредственных, пустых и безликих стихов, чтобы среди них вдруг отыскалось такое...»*. Далее автор статьи приводит полностью эти два стихотворения Ларисы Миллер: *«А лес весь светится насквозь... / И будто нет следов и мет / От многих смут и многой крови...»* и *«Я знаю тихий небосклон. / Войны не знаю. Так откуда / Вдруг чудится – ещё секунда, / И твой отходит эшелон?!...»*. Неудивительно, что после такого отзыва рукопись Ларисы включили в план издания в «Советском писателе».

А в 1973 году сборник «Безымянный день» исключили из планов «Советского писателя» после скандала с публикацией стихов Ларисы в журнале «Простор», главный редактор которого Иван Шухов первым в СССР опубликовал стихи Цветаевой, Мандельштама... Подборка Ларисы вышла в № 5 за 1973 г., стр. 58–59. Причем на стр. 59 сверху – пустота, то есть видно, что два стихотворения были сняты в последний момент, когда переверстывать номер было

¹⁰ "Литературная Россия", 22.10.1971 г.

невозможно (до 1917 года в таких случаях на белом пространстве писали «не дозволено цензурою»). Среди 14 опубликованных стихов было и про «горемычного голубя», у которого *«Нет судьбы черней, / Чем навек зависеть / От шальных парней», с последней строфой: «Да и разве можно / Высоко взлететь, / Если дом твой всё же / Запертая клеть»*. Одно из снятых в последний момент стихотворений (второе не помним) – о столь болезненном в то время конфликте поколений, когда «дети» уже начали прозревать, а «отцы» все еще жили романтикой революции: *«Доводы, всё доводы, / Старых истин проводы... / Что же вы так что же вы / Пугаете прохожего / Срываетесь на крик? / Пожили вы прожили, / Мы только подытожили / Ваш опыт в краткий миг...»*. А 27 июня 1973 г. в «ЛГ» появляется передовица за подписью «Литератор» – обзор публикаций молодых поэтов с такими словами: *«Пожалуй, лучший цикл опубликовал журнал «Простор», напечатав в пятом номере за этот год стихотворения Ларисы Миллер»* (потом выяснилось, что «Литератор» – это критик Евгений Сидоров). Результатом этой похвалы в центральной прессе стал возмущенный звонок Первого Секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Д. А. Кунаева Секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву, после чего Петр Нилович, ознакомившись с публикацией, сделал разносный звонок в «Литгазету» – никогда ни раньше, ни позже партийный руководитель такого уровня лично в «ЛГ» не звонил. В редакции немедленно сочинили и 11 июля опубликовали под рубрикой «Читатель недоумевает» «письмо из Караганды», где этот вымышленный читатель задается вопросами: как могла «ЛГ» похвалить стихи полные «мистической предопределенности... тягостной мрачности... фатальной обреченности». (Публикация в «Просторе» – стр. 250. Подробнее об этих событиях в переписке Ларисы Миллер с Ильей Шуховым, сыном И. П. Шухова – стр. 254). После этого «отклика читателя» сборник «Безымянный день», как было сказано, изъяли из планов издательства «Советский писатель».

В том же 1973 году Арсений Тарковский подарил Ларисе на день рождения 29 марта «Вечерние огни» Афанасия Фета с надписью: *«Милой Ларисе – единственной в России, кому Фет под стать»*. А «Безымянный день» все-таки через 4 года увидел свет исключительно благодаря настойчивости Тарковского, который, как много позже Лариса узнала (сам он ей об этом никогда не говорил), одиннадцать раз приезжал в издательство уговаривать начальство издать Ларису Миллер. Тамара Жирмунская говорила Ларисе, что видела в издательстве такую картину: идет по коридору заместитель главного редактора издательства Борис Соловьев, а за ним с палкой и на протезе поспевает Тарковский и читает ему стихи Ларисы. В результате книга в 1977 году вышла тиражом 10 тысяч экземпляров.

Однако, советская цензура была многопланова, регулировала и распространение изданий. Сборник «Безымянный день» был запрещен к продаже в Москве и Ленинграде. Но зато купить его можно было везде в других местах, даже в самой глухой провинции. О советской системе распространения книг мы в Новой России можем только мечтать. Одна из первых бесцензурных книг Ларисы Миллер «Стихи и проза» вышла в издательстве «Терра» тоже тиражом 10 тысяч экземпляров в марте 1992 года – за две недели до того, как под ударами «рыночных» реформ рухнула «Союзкнига». Но 10 тысяч экземпляров «Союзкнига» успела раскидать и по всей России, и в ближнее зарубежье, и даже в бывшие страны народной демократии в Восточной Европе. В том числе купил ее в г. Северодвинске композитор Михаил Приходько, сочинивший потом десятки песен на стихи Ларисы Миллер.

Вот и «Безымянный день» оказался доступен читателям по всей стране. Один из них подошел к Ларисе во время ее выступления в Тель-Авиве в Союзе Писателей Израиля в 1997 г. – по приглашению Игоря Мушкатина, автора и ведущего литературно-художественной передачи «Прогулки фраеров» русскоязычного радио Израиля РЭКА. Читатель этот пояснил, что жил раньше в г. Черновцы (ныне Украина), где у него была большая библиотека, но что при отъезде в Израиль в 1990 году он взял с собой только «Безымянный день», который и попросил надписать.

Высылка 22 января 1980 года А. Д. Сахарова, с которым я был знаком с 1968 года и с которым постоянно взаимодействовал по правозащитным делам, создала ситуацию угрожающей непредсказуемости, в том числе и для нашей семьи. Стихотворение: «*Благие вести у меня, / Есть у меня благие вести: / Ещё мы целы и на месте / К концу сбесившегося дня...*» написано вечером 22 января. В годы «застоя» было много всяких событий и мало публикаций, а вторая книга стихов Ларисы Миллер «Земля и дом» безнадежно лежала в издательстве.

Среди событий: вызовы Ларисы в Главную приемную КГБ СССР на Кузнецком Мосту в марте и мае 1982 года, 9-часовой обыск у нас дома в ноябре 1983 года, увольнение меня с преподавательской работы и 5-летняя работа дворником (после возвращения из ссылки в декабре 1986 года Сахаров настоял на приеме меня на работу в его сектор в Отделении теоретической физики Физического института АН СССР, где я работаю и сейчас). Стихотворных публикаций Ларисы Миллер было очень мало, но, как ни странно, они все-таки были: в «Сельской молодежи», «Крестьянке», «Работнице», дважды в «Новом мире». А утром в день рождения Ларисы 29 марта 1985 года мы вдруг услышали, как по радиоточке читают ее стихи. Это было чудо! Случайно вышло так, что именно в этот день «Московский комсомолец» (спасибо редактору Наталье Дардыкиной) вышел с подборкой стихов Ларисы Миллер (см. стр. 258), а радио это отметило.

Но еще большее чудо случилось через год, когда в марте Ларисе позвонили из «Советского писателя» и пригласили читать верстку сборника «Земля и дом». Ситуация весной 1986 года: А. Д. Сахаров все еще в ссылке в полной изоляции «под колпаком» КГБ. У нас, как и еще у нескольких правозащитников, 1 января отключили на полгода домашний телефон (точно 1 июля 86-го года его снова включили)»за использование в антигосударственных целях», – этот пункт правил МГТС мне показали, когда я пришел выяснять причины. А Ларису Миллер приглашают читать верстку ее второй книги стихов, лежавшей в издательстве восемь лет. Мы поехали вместе, прочли, удивились: в книге были оставлены несколько стихов из названного выше самиздатского «Дополнения», а также было и такое стихотворение 1979 года: «... *Придумала не я, придумали другие, / Что хороша петля на непокорной вьете. / Придумала не я, и я не виновата, / Что вечно не сыта утроба каземата...*» («Всё было до меня, и я не отвечаю...»); в 2017 году Лариса посвятила это стихотворение Людмиле Михайловне Алексеевой – к ее 90-летнему юбилею). Через пару месяцев книга вышла тиражом 9 тысяч экземпляров и теперь уже продавалась в Москве. Что это было? Поле выхода книги Лариса посетила издательство и зашла к заместителю главного редактора Михаилу Числову, поблагодарила за издание книги и сказала: «Наверно, это было не просто». На что Числов ответил: «Лариса, всё гораздо проще и гораздо сложнее, чем Вы думаете». Так это и осталось загадкой. Можно лишь предполагать, что это была одна из первых ласточек начинавшейся «перестройки». Но на каком уровне решался вопрос, мы не знаем.

3. Загадка политическая – российская

И вот грянула новая эра. В 1988 году на страну обрушился вал публикаций о советских репрессиях. Тогда было написано стихотворение *«Предъявите своих мертвецов: / Убиенных мужей и отцов. / Их сегодня хоронят прилюдно. / Бестелесных доставить нетрудно... / Их убийца не смерч, не чума – / Диктатура сошедших с ума. / Их палач – не чума, не холера, / А неслыханно новая эра, / О которой писали тома...»*. На ту же тему – *«Идёт безумное кино»* (1987), *«Но в хаосе надо за что-то держаться»* (1989), *«И в черные годы блестели снега»* (1989), *«Спасибо тебе, государство»* (1990), *«Неужели Россия, и впрямь подобрев, / Поклонилась могилам на Сент-Женевьев»* (1990). Есть и стихи периода «лихих 90-х»: *«Опять минуты роковые...»* (1993), *«Надоели хмарь и хаос, / Бред, творящийся без пауз... / Все идём ко всем чертям»* (1994), *«Оживление в больничке...»* (1994).

Теперь уже более четверти века нет СССР. Почему же в 2011 году появляется стихотворение *«А Россия уроков своих никогда не учила...»*? Да, устами поэта глаголет истина. Стихотворение было в подборке, напечатанной в «Новой газете» 22 августа 2011 г., а в мае 2012 г. Ларисе позвонил бывший однокурсник по Институту иностранных языков, давно живущий в США, и сказал, что только что видел плакат с этим стихотворением в прямом телерепортаже из Москвы с митинга на Болотной площади. А плакат со стихотворением *«Спасибо тебе государство...»* нёс участник Марша против «Закона подлецов»¹¹ в январе 2013 года. А стихотворение июля 2014 года с эпиграфом *«Жертвам безумной распри посвящая»* (*«А люди всё бегут, бегут...»*) – это о кровавой междоусобице на востоке Украины с огромными жертвами среди мирного населения: *«Они бегут с узлом в руках, / С младенцем сонным на закорках...»*. И примерно тогда же стихотворение *«Россия, ты же не даешь себя любить... / Но как звучат твои волшебные слова!»*.

2008 год – в Англии в издательстве «Arc Publications» выходит двуязычная книга стихов Ларисы «Guests of Eternity», в которую вошло немало и названных выше «гражданских» стихотворений. Книга была замечена: переводы Ричарда Мак Кейна получили приз «Poetry Book Society» (Британского общества поэтической книги), были хорошие рецензии, были выступления на Русской службе Би-Би-Си, а в следующем году в сентябре Ларису пригласили к участию в 25-м Международном поэтическом фестивале в Kung's Lynn, и также – в англоязычную престижную часовую поэтическую программу Радио-3 «The Verb» («Глагол»). Несколько позже Британский Совет рекомендовал Ларису Миллер к участию весной 2011 года в 40-й Лондонской книжной ярмарке, почетным гостем которой была Россия. Однако, несмотря на то, что Лариса удовлетворяла таким пожеланиям организаторов, как знание участником английского языка и наличие недавно изданной в Англии книги, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, на правах российского соорганизатора выставки, вычеркнуло Ларису Миллер из числа примерно 50 членов российской делегации, включавшей Дмитрия Быкова, Людмилу Улицкую и многих других¹².

Такой же «персонай нон-грата» стала Лариса Миллер и при формировании российской делегации для участия в книжной ярмарке «BookExpo America 2012» в Нью-Йорке 4–7 июня 2012 года. Наталье Перовой, директору издательства «Глас», опубликовавшего в 1996–2000 гг. четыре книги Ларисы (последняя – англоязычная, автобиографическая проза), которая предложила ее к участию в этой выставке, пояснили в Московском центре им. Ельцина (официальный организатор российского стенда), что Лариса Миллер – «политическая фигура оппо-

¹¹ Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ – так называемы «Закон Димы Яковлева», запретивший усыновление российских сирот гражданами США.

¹² <https://ria.ru/culture/20110218/335455748.html>

зиционной направленности» и включение ее в российскую делегацию невозможно. При этом в делегацию было включено «около тридцати видных российских писателей» от крутых оппозиционеров до столь же крутых сторонников существующей государственной власти¹³. Невольно вспоминается старая шутка про Вовочку в многоэтажном детском саду, где на первом этаже – дети-паиньки, на втором – обычные дети, на третьем – баловники, на четвертом – отъявленные хулиганы, а на пятом – Вовочка.

Добавлю, что Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, которое было организатором российского участия в лондонской выставке 2011 года и организатором российских мероприятий нью-йоркской выставки 2012 года, в течение ряда лет неизменно вычеркивало Ларису Миллер из заявок на гранты издательства «Время», опубликовавшего в 2004–2015 гг. восемь книг Ларисы без какой-либо государственной поддержки.

Тема взаимоотношений российской власти и поэта Ларисы Миллер, наверно, не менее загадочна, как и власти советской. Как уже говорилось, в 1999 году «Новый мир» выдвинул Ларису на государственную премию РФ в номинации «поэзия». И она даже вошла в шорт-лист вместе с, увы, теперь уже ушедшими Владимиром Леоновичем, Романом Солнцевым и Еленой Шварц. Правда, в 1999 году лауреат так и не был выбран, премия в этой номинации не вручалась. Но вот летом 2004 года, за полтора месяца до открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки еженедельник «Книжное обозрение» опубликовал шорт-лист конкурса «Книга года – 2004», в числе номинантов были названы также и Светлана Алексиевич, Юнна Мориц, Татьяна Бек и Лариса Миллер. Однако через две недели был опубликован другой список, где вместо названных литераторов появились Максим Амелин и Олег Чухонцев, потом получившие эту премию, присуждаемую все тем же Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Что же случилось? Вопросом этим тогда задались СМИ, писавшие о «скандале с невидимыми экспертами»¹⁴, при этом называвшие одного эксперта, который мог бы прояснить ситуацию. Но не прояснил. Речь шла о Сергее Чупринине, бессменном Главном редакторе журнала «Знамя» и столь же бессменном членом жюри всех государственных и множества негосударственных литературных премий Российской Федерации.

Сплошные загадки, ответов на которые Лариса Миллер не знает. Было бы нечестно сказать, что эта более чем нелепая роль «политического Вовочки» её не угнетает. Но ко всему при-выкаешь, тем более если это длится годами. Но самое главное, что теперь, в эпоху интернета, этот государственный «острый локоть» не способен стать барьером между автором и читателями, о чем говорит и многотысячная посещаемость блога Ларисы Миллер «Стихи гуськом» в Живом Журнале, Фейсбуке, социальной сети «В контакте».

* * *

Итак, хочешь не хочешь, но лирический поэт никак не может спрятаться от реалий, обозначаемых словами «политика», «государство». В интервью, данном Ларисой Миллер в Англии в 2009 году, был такой вопрос: «В какой мере поэзия может влиять на политические перемены?». Ответ ЛМ: *«Когда в начале XIX века Александр Пушкин писал: «Мы добрых граждан позабавим / И у позорного столба / Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим», – это вряд ли стало причиной революции, которая произошла 100 лет спустя в 1917 году, хотя*

¹³ «Около тридцати видных российских литераторов – Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Ольга Славникова, Владимир Маканин, Сергей Лукьяненко, Михаил Шишкин – примут участие во встречах в крупнейших библиотеках и книжных магазинах Нью-Йорка. К участию в авторской программе приглашены также и русские писатели и поэты, живущие в США: Юз Алешковский, Алексей Цветков, Александр Генис, Борис Парамонов, Вадим Ярмолинец.» – Источник: <http://www.yeltsincenter.ru/en/node/3151>

¹⁴ «Литературная Россия», № 37, 10.09.2004

революция сделал именно то, о чем писал Пушкин. Но, с другой стороны, еще один великий русский поэт Фёдор Тютчев сказал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

Разумеется, такая «революционно-экстремистская» поэзия, как в процитированном стихотворении юного Пушкина (хотя, многие специалисты считают, что оно ему приписано, то есть относится к «псевдо-пушкиниане»), – это не Лариса Миллер. Её гражданская поэзия – об ужасе перед «бездной черной» и о нравственной силе тех, кто этой бездне противостоит: «... Почему задохнувшийся Корчак / Нам дышать помогает и жить.» («Можно вычислить время прилива...»).

Проза Ларисы Миллер многолика.

Это и рассказы о счастливом детстве в нищей послевоенной Москве, о замечательных педагогах, школьном антисемитизме во время «дела врачей» и неизбежном для той эпохи фоне репрессий: «Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой», «Люба, помни, я ни в чем не виноват», «районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале 1950-х... из-за несчастной фамилии», об аресте соседа – военного хирурга, жена которого после этого покончила с собой.

Это о родителях – глава «Мама, папа, Пастернак». О погибшем на фронте отце – журнальщике, бесконечно влюбленном в поэзию, который, несмотря на очень слабое зрение, добился отправки на фронт, где за безвредный дисциплинарный проступок был приговорен к расстрелу, замененному на штрафбат после трех месяцев в камере смертников. О маме – корреспонденте журнала «Красноармеец», бравшей интервью у самых разных людей, из-за чего, волею судеб, 5-летняя Лариса оказалась в Кремле, где, стоя на столе в кабинете К. Е. Ворошилова, декламировала: «Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папы с винтовкой на посту!». Но «при чем здесь Пастернак? Да при всём» (эссе «И всем, чем дышалось»).

Это студенческие годы и взрослый опыт: безумие в СССР («Колыбель висит над бездной») и безумие в Новой России («Номо normalis»). И также – о пути автора в поэзии и уникальных людях, сформировавшихся в совсем иную эпоху, которые этот путь определили, о том, как содержательно они умели общаться, как они читали стихи.

Ностальгия по навеки затонувшему (изгнанному из страны, истребленному) русскому культурному «Граду Китежу» – постоянный рефрен в мироощущении Ларисы Миллер, а значит и в её произведениях. Отсюда и полное неприятие любых попыток «оправдания» преступлений той исторической эпохи, любых признаков реставрации поиска «врагов-вредителей» и т. п. – См., например, Заявление Ларисы Миллер октября 2018 года о выходе из состава Русского ПЕН-центра (стр. 333) или стихи «Опять здесь что-то попирают, / Опять надежды умирают, / Опять спешат здесь наказать / Того, кто тщится доказать, / Что, как во всем подлунном мире, / Здесь тоже дважды два – четыре. / Нет пять, – орут, – нет пять, нет пять, / Он враг, пора его унять...» (2017) и «...Коль мы себе же яму роём, / Назначив палача героем?» («Не знаю, чем мы заслужили» – отклик на возложение 21 декабря 2018 года 13500 красных гвоздик к могиле И. В. Сталина у Кремлевской стены).

Но в любом случае проза Ларисы Миллер – это проза поэта. «Где даже пятый пункт поэзия», – так назвал свой отклик на книгу «Стихи и проза» неизвестный нам автор «Н.М.» («Столица», 1992, № 36 (94)): «...Впрочем, «Терра» – известная оригиналка: то Брокгауза забомбит, то Ефрона. А то – Ларису Миллер. Книга, как женищина. Суперобложка с оборочками, бумага грубостью напоминает хемингуэвский свитер, переплёт чёрен и изыщен. А внутри – целая жизнь: детство, пятый пункт, Тарковский... И, конечно, стихи, «где маются слова, тире и запятые в попытке удержать мгновенья золотые». И им это удаётся – несмотря на XX век, постмодернизм, вегетарианство...».

Завершает книгу материал «Правозащитник и поэт» – наше совместное интервью декабря 2017 года поэту Анне Саед-Шах, безвременно ушедшей в феврале 2018 года.

Борис Альтиулер

1. Две стихотворные подборки в «Новой газете» (2011)

«Спасибо тебе, государство»

«Новая газета», 22 августа 2011 г.

* * *

А время-то нынче опять переломное.
Вновь что-то нам светит. А что – дело темное.
И места себе всё никак не найдем.
Никак не присядем, никак не дойдем.

А время-то нынче опять переходное,
Походное время, то бишь безысходное.
Хотя все же нам обеспечен исход
Проверенный – с этого света на тот.

2011

* * *

Утекайте отсюда скорее, несчастные реки.
Не найдете вы здесь ни любви, ни заботы вовеки.
Не стремитесь сюда, перелетные вольные птицы.
Ну зачем вам края, где живут в озлобленье и страхе?
Уходите отсюда, деревья, хоть знаю – вам трудно
Вырвать корни из почвы. Но верьте – в отчизне подспудно
Зреет темное нечто. Ведь свойственно краю родному
Коль рубить – то под корень. Коль резать —
то власть, по живому.

2011

* * *

А я, живя в неласковой стране,
Стремлюсь играть на ласковой струне,
На той, что хоть немного украшает
Сей мир и впасть в отчаянье мешает.
Стараюсь убедить, что даже тут
В краю пропащем небеса цветут.

2010

* * *

А Россия уроков своих никогда не учила,
Да и ран своих толком она никогда не лечила,
И любая из них воспаляется, кровоточит,
И обида грызет, и вина костью в горле торчит.
Новый век для России не стал ни эпохой, ни новью.
Матерится она и ярится, и кашляет кровью.

2011

* * *

Спасибо тебе, государство.
Спасибо тебе, благодарствуй
За то, что не всех погубило,
Не всякую плоть изрубило,
Растлило не каждую душу,
Не всю испоганило сушу,
Не все взбаламутило воды,
Не все твои дети – уроды.

1990

* * *

*Посвящается Тамаре Петкевич
и её книге «Жизнь – сапожок непарный»*

И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

1989

«Резец века»

«Новая газета», 10.10.2011

* * *

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжело виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

1985

* * *

Жить сладко и мучительно,
И крайне поучительно.
Взгляни на образец.
У века исключительно
Напористый резец,
Которым он обтачивал,
Врезался и вколачивал,
Врубался и долбил,
Живую кровь выкачивал,
Живую душу пил.

1985

* * *

Такие творятся на свете дела,
Что я бы сбежала в чем мать родила.
Но как убегу, если кроме Содома

Нигде ни имею ни близких, ни дома.
В Содоме живу и не прячу лица.
А нынче приветила я беглеца.
«Откуда ты родом, скажи Бога ради?»,
Но сомкнуты губы и ужас во взгляде.

1981

* * *

Идёт безумное кино
И не кончается оно.
Творится бред многосерийный.
Откройте выход аварийный.
Хочу на воздух, чтоб вовне
С тишайшим снегом наравне
И с небесами, и с ветрами
Быть непричастной к этой драме,
Где все смешалось, хоть кричи,
Бок о бок жертвы, палачи
Лежат в одной и той же яме
И кое-как и штабелями.
И слышу окрик: «Ваш черед.
Эй, поколение, вперед.
Явите мощь свою, потомки.
Снимаем сцену новой ломки.»

1987

* * *

Перебрав столетий груды,
Ты в любом найдёшь Иуду,
Кровопийцу и творца,
И за истину борца.
И столетие иное
Станет близким, как родное:
Так же мало райских мест,
Те же гвозди, тот же крест.

1985

* * *

Но в хаосе надо за что-то держаться,

А пальцы устали и могут разжаться.
Держаться бы надо за вехи земные,
Которых не смыли дожди проливные,
За ежесекундный простой распорядок
С настольною лампой над кипой тетрадок,
С часами на стенке, поющими звонко,
За старое фото и руку ребенка.

1989

2. Стихи из четырех книг

Из сборника «Безымянный день» (1977)

* * *

Я знаю тихий небосклон.
Войны не знаю. Так откуда
Вдруг чудится – ещё секунда,
И твой отходит эшелон?!

И я на мирном полустанке,
Замолкнув, как перед концом,
Ловлю тесьму твоей ушанки,
Оборотясь к тебе лицом.

1965

* * *

А лес весь светится насквозь —
Светлы ручьи, светлы берёзы,
Светлы после смертельной дозы
Всего, что вынести пришлось.
И будто нет следов и мет
От многих смут и многой крови,
И будто каждая из бед
На этом свете будет внове.
Вот так бы просветлеть лицом,
От долгих слёз почти незрячим,
И вдруг открыть, что мир прозрачен
И ты начало звал концом,
И вдруг открыть, что долог путь —
И ты тогда лишь не воспрянешь,
Когда ты сам кого-нибудь
Пусть даже не смертельно ранишь.

1971

* * *

Не спугни. Не спугни. Подходи осторожно,

Даже если собою владеть невозможно,
Когда маленький ангел на белых крылах —
Вот ещё один взмах и ещё один взмах —
К нам слетает с небес и садится меж нами,
Прикоснувшись к земле неземными крылами.
Я слежу за случившимся, веки смежив,
Чем жила я доселе, и чем ты был жив,
И моя и твоя в мире сём принадлежность —
Всё неважно, когда есть безмерная нежность.
Мы не снегом – небесной осыпаны пылью.
Назови это сном. Назови это былью.
Я могу белых крыльев рукою коснуться.
Надо только привстать. Надо только проснуться.
Надо сделать лишь шаг различимый и внятный
В этой снежной ночи на земле необъятной.

1971

* * *

Жизнь побалует немного —
Я хочу и дальше так:
Чтоб светла была дорога,
Чтоб незыблем был очаг,
Где желанна и любима,
Где душа легко парит,
Где под окнами рябина
Чудным пламенем горит.

1972

* * *

Такой вокруг покой, что боязно вздохнуть,
Что боязно шагнуть и скрипнуть половицей.
Зачем сквозь этот рай мой пролегает путь,
Коль не умею я всем этим насладиться.
Коль я несу в себе сумятицу, разлад,
Коль нет во мне конца и смуте и сомненью,
Сбегаю ли к реке, вхожу ли в тихий сад,
Где каждый стебелек послушен дуновенью.
Вокруг меня покой, и детская рука
Привычно поутру мне обвивает шею.
Желаю лишь того, чтоб длилось так века.
Так почему я жить, не мучась, не умею?
И давит и гнетет весь прежний путь людской
И горький опыт тех, кто жил до нас на свете,

И верить не дает в раздолье и покой
И в то, что мы с тобой избегнем муки эти;
И верить не дает, что наша благодать
Надежна и прочна и может длиться доле,
Что не решит судьба все лучшее отнять
И не заставит вдруг оцепенеть от боли.

1973

* * *

Расклевала горстку дней.
Бог послал другую.
Души, коих нет родней,
Чутко стерегу я.
Только я никчемный страж.
Нет в дозоре проку.
Не подвластна жизни блажь
Бдительному оку.
Над ребенком, как всегда,
Тихо напеваю.
На счастливые года
Втайне уповаю.
И витает мой напев
Над младенцем сонным,
Растворяясь меж дерев
В мареве бездонном.

1974

* * *

Пишу – ни строчки на листе.
Рисую – пусто на холсте.
И плачу, не пролив слезы
Под небом цвета бирюзы.
Мой белый день – дыра, пробел.
Мой добрый гений оробел
И отступился от меня,
И жутко мне средь бела дня.
Пробел... А может, брешь, пролом,
Просвет, явивший окоем,
Счастливый лаз в глухой стене,
И добрый гений внемлет мне?

1976

**«Дополнение» (1977) – стихи, не разрешенные
к публикации в сборнике «Безымянный
день» и распространявшиеся в Самиздате**

* * *

Было всё, что быть могло,
И во что нельзя поверить.
И какой же мерой мерить
Истину, добро и зло.
Кто бесстрашен – взаперти,
Кто на воле – страхом болен,
Хоть, казалось бы, и волен
Выбирать свои пути.
Свод бездонен голубой,
Но черны земли провалы,
Кратковременны привалы
Меж бездонностью любой.
Чёрных дыр не залатать.
Всяко было. Всё возможно.
Может, завтра в путь острожный
Пыль дорожную глотать.
Мой сынок, родная плоть,
Черенок, пустивший корни
Рядом с этой бездной чёрной,
Да хранит тебя Господь
От загула палачей,
От пинков и душегубки,
От кровавой мясорубки
Жути газовых печей.
Ты прости меня, прости,
Что тебя на свет явила.
И какая может сила
В смутный час тебя спасти.
Эти мысли душу жгут,
Точно одурь, сон мой тяжкий.
А в твоём – цветут ромашки.
Пусть же век они цветут.

1974

* * *

Какие были виды

В садах Семирамиды!
Какие пирамиды
Умел воздвигнуть раб!
Какой владеем речью!
Но племя человечье
Всегда венчало сечей
Любой земной этап.
И то, что возвышалось,
Со страстью разрушалось,
С землёю кровь мешалась.
Была бы благодать,
Когда б с таким усердьем
Учили милосердью,
С каким на этой тверди
Учили убивать,
Под кличи боевые
Вставать живым на выю,
Кромсать тела живые.
Зачем ранима плоть? —
Нелепая уступка
Вселенской мясорубке,
Которой и не хрупких
Под силу размолоть.

1975

* * *

Обобщаем, обобщаем.
Все, что было, упрощаем.
Хладнокровно освещаем
Века прошлого грехи.

И события тасуя,
Имена тревожим всуе.
Нам история рисует
Только общие штрихи. —

– Суть, причина, вывод, веха.
А подробности – помеха.
Из глубин доносит эхо
Только самый звучный слог.

Лишь любитель близорукий
Том старинный взявши в руки,
Отголоски давней муки
Обнаружит между строк.

А детали, оговорки,
Подоплека и задворки,
Потайная жизнь подкорки —
Роскошь нынешних времен,

Принадлежность дней текущих,
Привилегия живущих,
Принадлежность крест несущих
Ныне страждущих племен.

Это нам, покуда живы,
Смаковать пути извивы
И оттенки нашей нивы.
А потомки, взявши труд

Оценить эпоху в целом,
Век, где мы душой и телом,
Черной ямой иль пробелом
Может статья, назовут.

1975

* * *

Тлело. Вспыхивало. Гасло.
Подливали снова масло.
Полыхало пламя вновь.
Полыхают в душах властно
Гнев и вера, и любовь.
На просторах ветры дуют,
Тут погасят, там раздуют,
Дуют, пламя теребя.
И живут сердца, враждуя,
Негодуя и любя.
Боже правый, сколько пыла
Израсходовано было
И во благо и во зло.
И давно зола остыла,
Ветром пепел унесло,
Время скрыло в домовину,
И о том уж нет помину.
Но не дремлют Бог и бес.
Снова свет сошелся клином.
Снова пламя до небес.

1975

* * *

Феликсу Розинеру

Во времена до нашей эры
Всё делали, не зная меры,
Как пили, пели, пировали,
Слагали гимны о Ваале!
В каком цветистом бурном стиле
Любили, и клялись, и мстили.
А нынче, как дела ни плохи,
Почти бесшумны наши вздохи,
Почти бесстрастны наши лица,
Когда нам впору удавиться!
А может, лучше, предкам вторя,
Рвать на себе одежды в горе,
А может, станут легче муки,
Коли страдать, ломая руки,
И пеплом посыпать волосы,
Дожив до мрачной полосы.

1969

ЗАКЛИНАНИЕ

Земля бела. И купола
Белы под белыми снегами.
Что может приключиться с нами? —
Чисты и мысли, и дела
В том мире, где досталось жить,
Который назван белым светом,
Где меж запорошенных веток
Струится солнечная нить;
Где с первых дней во все века
Дела свершаются бескровно
И годы протекают ровно,
И длань судьбы всегда легка,
Как хлопья, что с небес летят
На землю, где под кровлей снежной
Мать держит на ладонях нежных
На свет рождённое дитя,
На белый свет, не знавший вех,
Подобных бойне и распятью,
Резне и смуте. Где зачатъе
Единственный и светлый грех.

1975

* * *

А. А. Тарковскому

Поверить бы. Икону
Повесить бы в дому,
Чтобы внимала стону
И вздоху моему.
И чтобы издалёка
В любое время дня
Всевидящее око
Глядело на меня.
И в завтра, что удачу
Несёт или беду,
Идти бы мне незрячей
У Бога на виду.

1967

* * *

А вместо благодати – намек на благодать,
На все, чем вряд ли смертный способен обладать.
О, скольких за собою увлек еще до нас
Тот лик неразличимый, тот еле слышный глас,
Тот тихий, бестелесный мятежных душ ловец.
Куда, незримый пастырь, ведешь своих овец?
В какие горы, доли, в какую даль и высь?
Явись хоть на мгновенье, откликнись, отзовись.
Но голос твой невнятен. Влеки же нас, влеки.
Хоть знаю – и над бездной ты не подашь руки.
Хоть знаю – только этот почти неслышный глас —
Единственная радость, какая есть у нас.

1976

* * *

Мне земных деяний суть
Кто-то мудрый толковал.
Но расслышать что-нибудь
Мир гудящий не давал.
И когда слетали с губ
Драгоценные слова,

Завывали сотни труб,
Скрежетали жернова.
Я ждала: наступят дни
Тишины. Но в тишине
Только шорохи одни
Оказались внятны мне.

1976

* * *

Почему не уходишь, когда отпускают на волю?
Почему не летишь, коли отперты все ворота?
Почему не идешь по холмам и по чистому полю,
И с горы, что полого, и на гору, ту, что крута?
Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода.
Позолочен лучами небесного купола край.
Время воли пришло, время вольности, время исхода.
И любую тропу из лежащих у ног выбирай.
Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя,
Отчего же ты гладишь постылый настенный узор,
И совсем не глядишь на сиянье небесного края,
На привольные дали, на цепи неведомых гор?

1972

* * *

Господи, не дай мне жить, взирая вчуже,
Как чужие листья чуждым ветром кружит;
Господи, оставь мне весны мои, зимы —
— Все, что мною с детства познано и зримо;
— Зори и закаты, звуки те, что слышу;
Не влеки меня ты под чужую крышу;
Не лиши возможности из родимых окон
Наблюдать за облаком на небе далеком.

1973

* * *

Что ж. Пой и радуйся дарам
Своей долины плодородной.
Да только жизнь осталась там,
Где был ты тварью инородной.

Да только жизнь осталась там
Среди шатров и пыльных скиний,
Где выпадал по временам
Небесной манны сладкий иней,
Где пепла горсть, где близких прах,
Где нет ни молока, ни мёда —
В навек покинутых краях,
На горестных путях исхода.

1972

* * *

Откуда знать, важны ли нам
Для жизни и для равновесья
Родные стены по утрам,
Родные звуки в поднебесье,
Родная сень над головой.
А, может, под любую сенью
Быть можно и самим собой,
И чьей-нибудь безвольной тенью.
А, может, близ родной души
Любые веси – дом родимый.
Но, чтоб ответить – сокруши
Очаг, столь бережно хранимый,
Свой прежний дом покинь совсем,
Сойди с дороги, той, что вьется,
Стерпи, что завтра будет нем
Тот, кто сегодня отзовется,
И перейди в предел иной
С иным укладом и разором,
Где чуждо все, что за спиной,
И чуждо все, что перед взором.

1973

СОН

Вне уз, вне пределов, вне времени, вне
Привычного. Чуждые тени в окне,
Чужие шаги в переулке горбатым,
В порту, на молу, освещённом закатом,
Невидящий взгляд незнакомых очей,
Неведомый смысл гортанных речей,
Чужое веселье, чужое молчанье
И вод густо-черных немое качанье,
И чуждые запахи тины и йода...

Свобода – с тоской повторяю – свобода.

1974

* * *

Дiasпора. Рассеянье.
Чужого ветра веянье.
На чуждой тверди трещина.
Чьим богом нам завещано
Своими делать нуждами
Дела народа чуждого
И жить у человечества
В гостях, забыв отечество?
Мне речки эти сонные
Роднее, чем исконные.
И коль живу обидами,
То не земли Давидовой.
Ростовские. Тулонские.
Мы толпы Вавилонские,
Чужие, многоликие,
Давно разноязыкие.
И нет конца кружению.
И лишь уничтожение
Сводило нас в единую
Полоску дыма длинную.
Но вечно ветра веянье
И всех дымов рассеянье.

1976

* * *

И я испытывала страх,
Живя, как на семи ветрах,
Не находя себе опоры
Среди всеобщего разора.
И я искала утешенья
В ежесекундном мельтешеньи,
Средь шумных орд, на тропах торных,
В делах и планах иллюзорных.
Ни света не нашла, ни блага.
Нашла, что воля и отвага,
И утешенье – в нас самих.
Безумен мир окрест иль тих —
Лишь в нас самих покой и сила.
Чума какая б ни косила,

Мы до известного предела
Сберечь способны дух и тело,
Распорядясь судьбой земной...
А вдруг всё вздор, и голос звонок
Лишь оттого, что ты со мной
И не хворает наш ребёнок?

1971

* * *

Неужто этим дням, широким и высоким,
Нужны моих стихов беспомощные строки —
Миражные труды невидимых подёнок?
Спасение моё – живая плоть, ребёнок.
Дитя моё – моих сумятиц оправданье.
Осмысленно ночей и дней чередованье;
Прозрачны суть и цель деяния и шага
С тех пор, как жизнь моя – труды тебе на благо.
Благодарю тебя. Дозволил мне, мятежной
Быть матерью твоей, докучливой и нежной.

1975

* * *

Шито белыми нитками наше житьё.
Посмотри же на странное это шитьё.
Белой ниткой прошиты ночные часы.
Белый иней на контурах вместо росы.
Очевидно и явно стремление жить
Не рывками, а плавно, не дёргая нить.
Шито всё на живульку. И вечно живу,
Опасаясь, что жизнь разойдётся по шву.
Пусть в дальнейшем упадок, разор и распад.
Но сегодня тишайший густой снегопад.
Белоснежные нитки прошли простор
В драгоценной попытке отсрочить разор,
Всё земное зашить, залатать и спасти,
Неземное с земным воедино свести.

1976

* * *

Порою мнится, будто все знакомо,
Весь дольний мир на фоне окоема
Давно изведан и обжит вполне.
Но вот однажды музыка иная,
Невесть откуда еле долетая,
Вдруг зазвучит, напоминая мне
О том, что скрыт за видимой личиной
Прекрасный лик, пока неразличимый —
— (Как хочешь это чудо нареки),
А все, что осязаемо и зримо,
Миражной сна, неуловимей дыма,
Подвижной утекающей реки.
Напомнит мне, растерянной и слабой,
Что высь бесплотна и бездонны хляби,
Которых и желаю и страшусь,
И прошепчу я: «Господи помилуй,
Как с этим жить мне, брэнной и бескрылой,
И как мне жить, коль этого лишусь?»

1972

* * *

В ясный полдень и в полночь, во тьме, наяву
От родных берегов в неизвестность плыву,
В неизвестность плыву от родного крыльца,
От родных голосов, от родного лица.
В неизвестность лечу, хоть лететь не хочу,
И плотней к твоему прижимаюсь плечу.
Но лечу. Но иду. Что ни взмах, что ни шаг —
То невиданный свет, то невиданный мрак,
То невиданный взлёт, то невиданный крах.
Мне бы медленных дней на родных берегах,
На привычных кругах. Но с утра до утра,
Заставляя идти, дуют в спину ветра.
Сколько раз ещё свет поменяется с тьмой,
Чтобы гнать меня прочь от себя от самой.
Умоляю, на спаде последнего дня
Перед шагом последним оклики меня.

1974

* * *

Всё уходит. Лишь усталость
Не ушла. Со мной осталась.
Стали в тягость встречи, сборы,

Расставанья, разговоры,
Страдный день и вечер праздный,
Свет и сумрак непролазный,
В тягость шорох за стеной,
В тягость крылья за спиной.

1972

* * *

Я вхожу в это озеро, воды колыша,
И колышется в озере старая крыша,
И колышется дым, что над крышей струится,
И колышутся в памяти взоры и лица.
И плывут в моей памяти взоры и лики,
Как плывут в этом озере светлые блики.
Все покойно и мирно. И – вольному воля —
Разбредайтесь по свету. У всех своя доля.
Разбредайтесь по свету. Кочуйте. Живите.
Не нужны никакие обеты и нити.
Пусть уйдете, что канете. Глухо, без срока.
Все, что дорого, – в памяти. Прочно. Глубоко.

1971

* * *

Безымянные дни. Безымянные годы.
Безымянная твердь. Безымянные воды.
Бесконечно иду и холмом, и долиной
По единой земле, по земле неделимой,
Где ни дат, ни эпох, ни черты, ни границы,
Лишь дыханье на вдох и на выдох дробится.

1976

* * *

Станет темою сонатной
Этот полдень благодатный,
Встреч и проводов нюансы
Превратятся в стансы, стансы,
И картиною пастозной
Станет этот плач бесслезный.
Но родился ты в сорочке,

Коль твои штрихи и строчки,
Краски, паузы и звуки
Станут вновь тоской и мукой,
Небом, талою водою,
Светом, счастьем и бедою.

1976

Из сборника «Земля и дом» (1986)

* * *

*Людмиле Михайловне Алексеевой
в день её юбилея 20 июля 2017 г.*

Все было до меня, и я не отвечаю.
Законов не пишу. На царство не венчаю.
Придумала не я, придумали другие,
Что хороша петля на непокорной вые.
Придумала не я, и я не виновата,
Что вечно не сыта утроба каземата.
Но чудится: с меня должны спросить сурово
За убиенных всех. За всех лишенных крова.

1979

* * *

А чем здесь платят за постой,
За небосвода цвет густой,
За этот свет, за этот воздух
И за ночное небо в звездах?
Все даром, говорят в ответ,
Здесь даром все: и тьма, и свет.
А впрочем, говорят устало,
Что ни отдай, все будет мало.

1983

* * *

Между облаком и ямой,
Меж березой и осиной,
Между жизнью лучшей самой
И совсем невыносимой,
Под высоким небосводом
Непрестанные качели
Между босховским уродом
И весною Боттичелли.

1980

* * *

Что плакать ночи напролет?
Уж все менялось не однажды,
И завтра там родник забьет,
Где нынче гибнешь ты от жажды.
И где сегодня прах один
И по останкам тризну правят,
Там Ника, вставши из руин,
Легко сандалию поправит.

1973

* * *

Не мы, а воздух между нами,
Не ствол – просветы меж стволами,
И не слова – меж ними вдох
Содержат тайну и подвох.
Живут в пробелах и пустотах
Никем не сыгранные ноты.
И за пределами штриха
Жизнь непрерывна и тиха.
Ни линий взбалмошных, ни гула —
Пробелы, пропуски, прогулы.
О мир, грешны твои тела,
Порой черны твои дела.
Хоть между строк, хоть между делом
Будь тихим-тихим, белым-белым.

1977

* * *

Вот жили-были ты да я...
Да будет меньше капли росной,
Да будет тоньше папиросной
Бумаги летопись моя!
Открытая чужим глазам,
Да поведет без проволоочки
С азов к последней самой точке!
Да будет сладко по азам
Блуждать, читая нараспев:
«Вот жили-были в оны лета...»

Да оборвется притча эта,
Глазам наскучить не успеет.

1981

Из книги «Поговорим о странностях любви» (1991)

* * *

Одно смеётся над другим:
И над мгновеньем дорогим,
Далёким, точно дно колодца,
Мгновенье новое смеётся.
Смеётся небо над землёй,
Закат смеётся над зарёй,
Заря над тлением хохочет
И воскресение пророчит;
Над чистотой смеётся грех,
Над невезением успех,
Смеётся факт, не веря бредням...
Кто будет хохотать последним?

1981

* * *

Итак, место действия – дом на земле,
Дорога земная и город во мгле.
Итак, время действия – ночи и дни,
Когда зажигают и гасят огни
И в зимнюю пору, и летней порой.
И, что ни участник, то главный герой,
Идущий сквозь сумрак и свет напролом
Под небом, под Богом, под птичьим крылом.

1983

* * *

«Bring out your dead»
(«Выносите своих мертвецов»)
Клич могильщика во время эпидемии чумы.
Англия, XIV век.

Предъявите своих мертвецов:
Убиенных мужей и отцов.
Их сегодня хоронят прилюдно.
Бестелесных доставить нетрудно.

Тени движутся с разных концов.
Их убийца не смерч, не чума —
Диктатура сошедших с ума.
Их палач – не чума, не холера,
А неслыханно новая эра,
О которой писали тома.
Не бывает ненужных времён.
Но поведай мне, коли умён,
В чём достоинство, слава и сила
Той эпохи, что жгла и косила
Миллионы под шелест знамён.

1988

* * *

Первее первого, первее
Адама, первенец, птенец,
Прими, не мучась, не робея
Небесной радуги венец.
Живи, дыши. Твоё рожденье,
Как наважденье, как обвал.
Тебе – снегов нагроможденье,
Тебе – листвы осенней бал,
И птичьи песни заревые,
И соло ливня на трубе,
И все приёмы болевые,
Что испытают на тебе.

1987

* * *

Так пахнет лесом и травой,
Травой и лесом...
Что делать с пеплом и золой,
С их легким весом?
Что делать с памятью живой
О тех, кто в нетях?
Так пахнет скошенной травой
Июньский ветер...
Так много неба и земли,
Земли и неба...
За белой церковью вдали
Бориса – Глеба...
Дни догорают, не спеша,
Как выйдут сроки...

Твердит по памяти душа
Все эти строки.

1987

* * *

И проступает одно сквозь другое.
Злое и чуждое сквозь дорогое,
Гольная правда сквозь голый муляж,
Незащищенность сквозь грубый кураж;
Старый рисунок сквозь свежую краску,
Давняя горечь сквозь тихую ласку;
Сквозь безразличие жар и любовь,
Как сквозь повязку горячая кровь.

1988

* * *

Пахнет мятой и душицей.
Так обидно чувств лишиться,
Так обидно не успеть
Все подробности воспеть.
Эти травы не увидеть
Всё равно, что их обидеть.
Позабыть живую речь
Всё равно, что пренебречь
Дивной музыкой и краской.
Всё на свете живо лаской.
Жизнь, лишенную брони,
Милосердный, сохрани.

1986

3. Детство

* * *

Да-да, конечно: время мчится шустро,
Но до сих пор загадочная люстра
В театре давнем гаснет не спеша,
И замирает детская душа.
Да-да, конечно: зыбкость, скоротечность.
Но занавес ползет по сцене вечность,
И я со сцены не спускаю глаз
Горящих. Я в театре в первый раз.
Героя звать Снежок. Он – негритёнок.
А янки негров мучают с пелёнок.
Бинокля я не выпущу из рук.
Идет счастливой памяти настройка.
Ах, жизнь, ты ненадежная постройка:
То пропадает видимость, то звук.

* * *

Кривоколенный, ты нетленный.
Кривоколенный, ты – душа
Моей истерзанной вселенной,
Где всем надеждам – два гроша.
Кривоколенный, что за имя,
Какой московский говорок,
Вот дом и дворик, а меж ними
Сиротской бедности порог.
Кривоколенный – все излучки
Судьбы в названии твоём,
Которое – какие звуки! —
Не произносим, а поём.

Дом 10, квартира 2

Родина моя – Большая Полянка. Наверное, никогда не забуду свое исходное положение в пространстве: Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя – купола, «Ударник», Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша. У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел торопливой подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озирался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевоенный магазин – костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, оружие дети. А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бранил. Магазин назывался «инвалидный». В него стекались инвалиды со всей округи. Но я была уверена, что он звался «инвалидным» потому, что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота – все мне было нипочем, потому что я как зачарованная глядела на гипсовых детей.

Мне казалось непостижимым, что такие нарядные и красивые, они – калеки, инвалиды, как те, что стояли рядом со мной на костылях и культяпках. Не дико ли, что я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных раскрашенных кукол и утешалась лишь тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки давала все, что могла вообразить, – виноградную кисть, яблоко, кулек любимых конфет-«подушечек».

Хорошо было сосать «подушечку» и не спеша проходными дворами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот он: два окна на первом этаже, котельная под окнами. Едва я входила в квартиру, передо мной вырастала толстая, неряшливая соседка с вечным полотенцем вокруг головы. «Ларочка, не хлопай дверь. Ты же пионерка, а у меня мигрень», – плачущим голосом говорила она.

Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было столь узким, что казалось лишенным фаса. Как ни погляди – профиль: запавший глаз, темное подглазье, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье, кашель и кряхтенье. Мне казалось, что я с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на пирке и называли «бациллоносителем».

Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня любила и, едва услышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка, тридцатилетнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой, была прикована к инвалидному креслу. Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой плывущий взгляд и принималась расспрашивать, шепелявя и брызгая слюной: «Ну как ты учишься? Хорошо? Правда хорошо? Ты умная, ты хорошая девочка».

От Верочки пахло молоком, как от младенца, и затхлостью, как от ветоши.

Идиотка Верочка, туберкулезный отец ее, заплыванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне – исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей, и образовался бы, наверное, пробел, зиянье. Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становятся приметамы устойчивого, незыблемого мира.

В детстве мне казалось, что смерть коричневого цвета. Коричневой была рука попавшего под трамвай мальчика. Смуглым был соседский мальчик, утонувший летом в реке. Он успел хорошо загореть за два летних месяца и лежал в гробу темный от загара.

И темным, сморщенным было лицо старой докторши, умершей в эвакуации. Мы с бабушкой шли за гробом, который медленно тащили лошади вверх по булыжной мостовой. Это мое первое воспоминание о смерти. Бабушка говорила, что докторша выходила меня, умирающую

от диспепсии, и добывала для меня неведомо как плохонькие яблоки, редкостные по тем временам. Я не помню докторшу живой, но отчетливо помню ее в гробу: сморщенное смуглое лицо, а на голове белоснежный кружевной чепец. Из-за яблок, которые так часто поминала бабушка, лицо докторши казалось мне крохотным печеным яблоком.

Представление о смерти как о чем-то коричневом разрушилось позже, когда покончила с собой женщина из нашего дома. Я часто видела эту гордую высокую женщину в причудливой фетровой шляпе на голове. Муж ее, низенький полный еврей, всегда спешил, но, проходя мимо меня, непременно шутил и звал в гости. Говорили, что он военный хирург¹⁵. Он действительно ходил в военной форме, которая вовсе не шла ему, низкому и толстому. И вдруг он исчез. Однажды я слышала, как мама шепотом говорила, что его посадили. Я представляла, что сажают только бандитов и воров. И никак не могла связать с ним это слово.

А однажды все в нашем доме заволновались, забегали, запричитали. И тут я впервые услышала: «Покончила с собой». Жена хирурга покончила с собой. Эта смерть была далекой, ненаблюдаемой. Смерть витала где-то там, на самом верхнем этаже, куда я никогда не поднималась. Умерла высокая, гордая, непонятная мне женщина. Она не утонула, не попала под трамвай, не состарилась, не заболела. Она покончила с собой. Слова странные, непостижимые, наглухо закрытые от меня, как шторы на окнах той квартиры, где жила разоренная семья.

В день похорон, мы, дети, стояли внизу и, задрав головы, смотрели наверх, на зашторенные окна. И мне казалось, что время от времени за шторами мелькал какой-то белый колеблющийся свет, будто переносили с места на место свечу.

С той поры смерть перестала быть чем-то доступным моему сознанию и утратила цвет. Я знала, что умирают, но умирают где-то на другом этаже, в соседнем доме, за воротами. Я еще не знала, что умирают свои, родные, те, кто совсем близко, кто определяет жизнь.

И лишь в детстве все восстановимо. Так велика потребность жить и радоваться жизни и столько для этого причин, что их и искать не надо. Вот снят замок с двери котельной. Значит, в котельной дядя Петя, истопник. И мы спешим вниз по крутой плохо освещенной лестнице, чтобы посмотреть, как дядя Петя, лениво матерясь, подбрасывает в котел уголь. А весной он, так же тихо матерясь, будет подравнивать сирень в саду, потому что он еще и садовник. Когда-то в молодости эти кусты сажала моя бабушка. Об этом мне много раз говорили дома. Дядя Петя переходил с приставной лестницей от куста к кусту, а мы, дети, деловито мельтеша, подбирали срезанные ветки. И пахло свежесрезанной сиренью и дешевым дяди-Петиним табаком.

... Апрельский день. Апрельский ли? Но то была Пасха. Помню небо, высокое, текучее. Да и не было неба. Была только зыблемая голубизна и невесомость. Куда не ступишь, всюду родники и проточные воды. В такой день кажется, что застой невозможен ни в чем: ни в природе, ни в делах, ни в мыслях. Всё проточно. Я ничего этого не могла осознать тогда. Но помню небо и воды. Помню, что было зябко, и я старалась засунуть руки в слишком мелкие карманы нового бежевого пальто. Вернее, не нового, а перешитого из маминого, но надетого впервые. «Перелицованное», «демисезонное» – эти два слова я так часто слышала дома на исходе зимы, что у меня навсегда связалось с ними предвкушение весны, талого снега, капли, ломоты в глазах от чересчур синего, чересчур светлого. Это, наверно, еще оттого, что при перелицовке на линялом лицевом фоне изначальный первозданный цвет кажется особенно ярким. И бывшая

¹⁵ Иосиф Вениаминович Ребельский (1894–1949), во время войны главный психиатр Западного, затем 3-го Белорусского фронта в звании подполковника медицинской службы. В 1944 г. вступив с армией в Литву, участвовал в организации в Вильнюсе и Каунасе двух детских домов для более чем 400 еврейских детей, уцелевших во время Холокоста. В 1948 г репрессирован по обвинению в сионизме; посмертно реабилитирован в 1956 г. После публикации эссе «Дом 10, квартира 2» Ларису Миллер нашла его дочь Любовь Иосифовна Кузнецова-Ребельская (1918–2017) – автор воспоминаний об отце («Собираю разрозненные брѣвнышки народа своего», «Вестник», 2003 – <http://www.vestnik.com/issues/2003/0903/win/kuznetsova.htm>). Неожиданным результатом этих воспоминаний стали тысячи благодарственных писем из Израиля, США, других стран от потомков детей, спасенных И. В. Ребельским. – Сост.

изнанка, сохранившая цвет, становится лицом. Первозданный цвет был повсюду: если не перелицовывали, то спускали рукава, удлинляли подол. Всюду мелькали полосы яркого, чистого, изначального цвета. И все это означало – весна. За что я помню этот апрельский день, сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли стайками и поодиночке, некоторые с внучатами. В руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых бумажные цветы. И эти старушки казались неременной принадлежностью струящегося лазоревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрабочками наготове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятишек, идущих в церковь, чтобы потом передать списки в школу. Это была их внеклассная пионерская работа в пасхальный день.

Не за горами 1 Мая. Скоро будут муку давать. И вдоль домов поползут огромные очереди, напоминающие многоглазое, многорукое, многоногое доисторическое чудовище. И тогда мы, дети, будем нарасхват. Мы прогуляем школу, и нас будут брать напрокат, чтобы получить лишний паек муки. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чей длиннее. Чернильный номер на ладони, гудящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна – неужели мало для счастья?

Вечером мы шли с бабушкой на остановку троллейбуса в надежде встретить маму. Она уходила в свой Радиокomitee на заре и приходила поздно ночью. Так работали в те времена. Один троллейбус, второй, третий. Вот и она. Мы никогда не были уверены, что дождемся ее, и так радовались ее появлению, что этой радости хватало до конца дня. А ночью мама выступивала на машинке свои бесконечные «почтовые ящики» для вещания на Скандинавию. Так назывались передачи, в которых советский журналист снисходительно и терпеливо рассказывал наивным зарубежным друзьям о преимуществах советской жизни.

Стук машинки – ночной звук моего детства. Иногда стук на время прекращался: мама курила и размышляла. Сигаретный дым – ночной запах моего детства. Под утро мама ложилась рядом со мной. А когда я просыпалась, ее уже не было дома. На столе стояла чашка с недопитым чаем, а на блюде лежал розовый от помады окурок.

Но самое сладкое время наступало перед сном, когда я вела воображаемую жизнь. В этой жизни все кончалось так, как я хотела. Я спускала с дивана руку и держала ее опущенной, пока она не замерзала. Моя замерзшая рука – это кто-то несчастный, заблудившийся в лесу. А другая рука – это я сама. Другая рука шарилась по подушке, по складкам одеяла. Это я блуждала по лесу в поисках пропавшего. И наконец – о радость! – одна рука находила другую. Встреча. Несчастный спасен. Я укладываю его под одеяло. Грейся. Грейся.



Во дворе на Большой Полянке, 1945 год



С Галькой Зайцевой во дворе на Большой Полянке, 1946 год

Моя первая дружба. Галька Зайцева, белобрысая курносая подружка. Она живет за стенкой, и мы постоянно перестукиваемся и бегаем друг к другу в гости. Однажды мы с ней решили поставить к Новому году спектакль по пьесе Маршака «Двенадцать месяцев». Набрали во дворе «актеров» и распределили роли. Как-то само собой получилось, что я оказалась режиссером, поскольку идея была моя, да и книжка тоже. Каждый выбрал себе роль по вкусу. Мне

очень хотелось быть падчерицей, которая ищет в лесу подснежники, но я уступила эту роль Галке. Я режиссер, и мне неудобно брать себе лучшую роль. Буду принцессой, капризной и взбалмошной. Поздний вечер. Сажу за столом и переписываю роли для всех актеров. Вдруг три звонка и голос в коридоре: «Где ваша Лара?» Дверь в комнату распахивается, и в сопровождении бабушки влетает разгневанная тетя Шура, Галкина мать. «Ты что это? – набросилась она на меня. – Ты что это из моей девки падчерицу сделала, а? Она, значит, падчерица, а ты принцесса? На каком основании?! Знаем мы вас. Небось себя в обиду не дадите». Она повернулась к бабушке: «А вы куда смотрите? Сами воспитателей учите, а внучка ваша над моей девкой измывается. Больше ее ноги здесь не будет. Принцесса». Бабушка пыталась что-то ответить, но тетя Шура, не слушая, выбежала за дверь так же стремительно, как вбежала. Спектакль не состоялся, но дружба не расстроилась. Собираясь гулять, я по-прежнему стучала Галке в стенку, и она стучала в ответ или кричала в форточку: «Иду. Одуюсь». Но чем старше, тем труднее утешаться, тем меньше событий и дел, в которые можно уткнуться, как в подушку. Уже не столь упоительны стали предутренние часы. Не давали покоя события дневной жизни.

«Отойди от нас. Ты еврейка», – сказала мне самая старшая из дворовых подружек. «А что это такое?» – спросила я. «Евреи – это те, у кого черные волосы. Евреи нехорошие. Помнишь, ты меня пихнула, когда у меня нога болела?» Я не помнила, но мозг лихорадочно работал: «Еврейка, черные волосы, пихнула». Надо пойти домой и спросить. «Не слушай ее, – говорила бабушка. – Она глупая девчонка». Но как не слушать, когда за мной бегают по двору и кричат: «Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит. Веревочка лопнула и жида прихлопнула».

Вот когда я впервые поняла, что у меня нет защиты. Мне казалось, что, будь у меня отец, пусть даже такой больной, вечно кашляющий, как у соседки Верочки, все было бы иначе. А что могут сделать с ватагой орущих ребят мама, бабушка и тихоголосый дед. Да их самих легко обидеть.

«Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит...» Вот когда я впервые почувствовала себя не такой, как все. Могла ли я думать, что отныне всю жизнь быть мне чужаком и никуда от этого не деться? Нет.

Тогда мне казалось: вот выйду завтра во двор и увижу раскаяние на лицах ребят. И Людка Ведмина, самая старшая из подружек, подойдет и скажет... я не могла вообразить, что она скажет, но сердце замирало и слезы выступали на глазах. А на утро все повторялось снова, и почва ускользала из-под ног...

* * *

Дом – это Иверский или Казачий.
Может, сегодня зовется иначе
Тот первозданный кусочек земли.
Мельница вечная, перемели,
Перемели все, что временем мелется.
Имя и дата пускай переменятся...
Так не примяты сегодня снега,
Будто бы здесь не ступала нога.
Чистая скатерть для трапезы стелется.
Все перемелется, все перемелется.
Над головою белы облака,
Новая сыплется с неба мука.
Новая м`ука для нового хлеба

Сыплется, сыплется с белого неба.
Все перемелется, все истечет —
Вечность другие хлеба испечет.
Детства давнишнего нету в помине.
Крыша разобрана в той половине,
Где этажерка стояла в углу.
Вмятины две от рояля в полу.
Слышу его дребезжащие нотки,
Вижу следы допотопной проводки.
В дом прохудившийся валится снег,
Свой совершая замедленный бег.
Вижу себя: как в замедленной съемке,
Папку для нот тереблю за тесемки,
Ноты беру и готовлю урок,
Песню учу под названьем «Сурок».
В ней про сиротство, скитанье земное.
Где б ни скиталась, повсюду со мною
В память и душу запавший урок:
Преданный, тихий, печальный сурок.

1979

* * *

Московское детство: Полянка, Ордынка,
Стакан варенца с Павелецкого рынка —
Стакан варенца с незабвенною пенкой,
Хронический кашель соседа за стенкой,
Подружка моя – белобрысая Галка.
Мне жалко тех улиц и города жалко,
Той полудеревни, домашней, давнишней:
Котельных ее, палисадников с вишней,
Сирени в саду, и трамвая-«букашки»,
И синих чернил, и простой промокашки,
И вздохов своих по соседскому Юрке,
И маминых бот, и ее чернобурки,
И муфты, и шляпы из тонкого фетра,
Что вечно слетала от сильного ветра.

1991

* * *

Болела моя детская душа:
Я утопила в море гольша,
Случайно утопила в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.

Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Гольш – нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

2011

* * *

И висело бельё, полощась на ветру.
И висело бельё, колыхаясь от ветра.
О какое печальное сладкое ретро!
Как из памяти эту картинку сотру?
Синька, бак для белья и доска, и крахмал,
У бабули в руках бельевые прищепки,
И белы облака удивительной лепки,
И ребёнок, стоящий поблизости, мал.
И ребёнок тот – я. И белей облаков
Простыня, и рубашка – небесного цвета.
И всему, что полощется, – многие лета,
Цепкой памяти детской, шадящих веков.

2012

* * *

А Юрка выйдет? Выйдет Галка?
Не выйдет? Господи, как жалко!
Никто уже во двор не выйдет,
И в «штандер» поиграть не выйдет.
А я всё жду и всё канючу,
Стучу в окно на всякий случай,
И Галка, что сидит, скучает,
«Щас, одююсь», – мне отвечает.

2013

* * *

– Да ничего особенного там
И не было. Убожество и хлам
В твоей замоскворецкой коммуналке —
Клопные следы и коврик жалкий,
И вата между рамами зимой.
– Да-да. Всё так. Но я хочу домой

В своё гнездо, к тем окнам, к тем соседям,
К той детворе. Давай туда поедем.
Там во дворе – волшебная сирень.
Там у соседки – сильная мигрень.
Мигрень – какое сказочное слово
И как звучит загадочно и ново!
Там город мой, в котором я росла,
Который я, к несчастью, не спасла,
Там город мой, домашний и зелёный,
Людьми, которых нету, населённый,
Тот город, что моим когда-то был,
А стал чужим. И сам себя забыл.

2012

* * *

Всё детство слышала вопрос:
«Кем хочешь быть?» А я не знала.
Годов мне было слишком мало,
А разных планов целый воз.
Коль нынче спросят, то скажу:
Хочу быть только исключением
Из жёстких правил, за значеньем
Которых с ужасом слежу.
О, как мне хочется не лезть
Буквально ни в какие рамки,
Став снова девочкой в панамке,
Которой пять, а, может, шесть.
Тем существом счастливым стать,
Которое опять в начале,
Которое в большой печали,
Когда укладывают спать,
И говорят: «Глаза закрой!»,
А в доме гости, пир горой.

2018

* * *

Какой же восторг я тогда испытала,
Когда я впервые по небу летала.
Мы с мамой летели куда-то на юг,
И вышел пилот из кабины, и вдруг
Спросил, на меня очень весело глядя:
«Ну как?» «Покачай посильней меня, дядя».
«А ты не боишься?» «Совсем не боюсь».

Я точно ведь знала, что не разобьюсь,
Я знала, что мы прилетим, куда надо,
Что я в этом мире любимое чадо,
И всё у любимого дитятки есть.
Мне было тогда то ли пять, то ли шесть,
И мир был надёжным, уютным и прочным,
Коль были проблемы, то с зубом молочным,
Который так сильно качался во рту,
Как тот самолётчик со мной на борту.

2018

* * *

Бессмертной я уже была.
И не одна, а вместе с мамой
И вместе с той оконной рамой,
Что мама мыла добела.
А смерть – она случалась с тем,
Кто из парадного другого,
И отношенья никакого
К нам не имела, ну совсем.
Ну, разве что, прервав игру,
Глядели мы замороженно,
Когда автобус похоронный
Неспешно ехал по двору.

2011

* * *

Памяти Любы Ребельской

Кто подтвердит, что я жила
И что росла я на Полянке,
И что зимой возила санки,
А по весне венки плела
Из одуванчиков? А их
В Замоскворечье было много.
Они желтели у порога.
Остался ль кто-нибудь в живых?
Еще хоть чья-то вьётся нить
Из населявших мир мой детский,
Из заходивших по-соседски
За солью или позвонить?

17 ноября 2017

* * *

*Посвящается И. В. Ребельскому,
арестованному в 1948-м
и погибшему в заключении*

Тебе читали перед сном?
Мне тоже перед сном читали.
Скрипел полами старый гном,
И ведьмы по небу летали.
Тому, кто молод и силён,
Удачно ветер дул попутный,
И был он густо населён —
Мой мир причудливо уютный.
И затихал волшебный сказ,
И мерно ходики ходили,
Когда соседа в поздний час
Навек из дома уводили,
Сажали в чёрный воронок,
Детей и близких взяв на мушку.
А я спала без задних ног,
Руками обхватив подушку.

2016

Кинотеатр очень юного зрителя

«Ты только, пожалуйста, не задавай вопросов, пока не кончится фильм, – каждый раз умоляла меня мама, – я тебе все потом объясню». Меня хватало минут на десять, после чего я принималась дергать ее за рукав и шептать: «Это русские или немцы? Наши или не наши? Кто здесь плохой?» Однажды, увидев на экране человека с усиками и в пенсне, я громко зашептала: «Это враг? Скажи, это враг?» Мама испуганно оглянулась и, больно сжав мне руку, прошипела: «Замолчи!» Ее ярость была настолько неожиданна и необъяснима, что я немедленно потеряла интерес к фильму и сидела, шмыгая носом и смахивая со щек то и дело набегавшие слезы. Но мама смотрела прямо перед собой и вовсе не пыталась меня утешить. Только дома она объяснила мне, что тот, кого я приняла за врага, был сам Молотов и что она могла иметь из-за меня крупные неприятности: «Я тебе запрещаю задавать мне вопросы в кинотеатре, запрещаю. Поняла?» Поняла.

Оставшись один на один с экраном, я сперва растерялась, а потом решила начать новую жизнь, то есть попытаться мыслить самостоятельно. До сих пор помню мое первое независимое умозаключение. Боюсь ошибиться в названии фильма, но кадр был такой: важные дяди заседали в большом кабинете. Единственный, кого я узнала немедленно, – это Сталина, появление которого на экране сопровождалось бурей аплодисментов. Остальные личности были мне неизвестны и непонятны. Во время беседы самый толстый из дядь подошел к горящему камину и встал к нему спиной, но, внезапно почувствовав сильный жар, не то отскочил, не то вскрикнул. Короче, сделал что-то, вызвавшее смех в зале. «Он плохой, – обрадовалась я своему открытию, – с хорошими такое не случается». Едва дождавшись конца фильма, я поделилась своей догадкой с мамой, и она подтвердила мою правоту. Толстяка звали Черчилль, и хотя он не был немцем, он не был и «нашим». Начался новый этап в моей зрительской биографии – этап самостоятельных выводов.

Но едва я ступила на этот путь, как жизнь подставила подножку. На экраны вышла французская комедия с маловразумительным названием, которое сперва прозвучало для меня как «Скандал в кошмаре». Иностранные фильмы, как правило трофейные, редко появлялись на наших экранах в те годы. Зритель валил на них валом. Мы тоже пошли, причем на какой-то очень поздний сеанс. Детей, конечно, не пускали, и мама провела меня под полкой своего пальто. С этим фильмом все было странно: и название (которое даже в правильном варианте – «Скандал в Клошмерле» – не стало понятней), и ночной сеанс, и мой контрабандный проход. Мне даже кажется, что картина шла не в обычном большом зале нашего домашнего кинотеатра «Ударник», а в маленьком зальце на первом этаже. Когда погас свет, началось то, к чему я вовсе не была готова: замелькали кадры, забегали, засуетились, затараторили многочисленные персонажи с непривычными именами. Не выдержав, я подергала маму за рукав, но она так смеялась, что даже не заметила моих приставаний. В зале стоял непрерывный хохот, в котором я при всем желании не могла принять участия. Чувствуя себя несчастной и покинутой, я принялась пристально следить за маминым лицом, надеясь хоть раз успеть вовремя хихикнуть. Не ведая толком, о чем фильм, я понимала одно: когда все кончится, я не буду знать, что спросить. Мои обычные вопросы не годятся. По дороге домой я задала единственно возможный вопрос: «Про что кино?» «Про открытие общественной уборной», – сказали мне. Я в недоумении пожала плечами.

Нет, уж лучше ходить на наши картины, в которых я хоть как-то научилась разбираться. А однажды настолько осмелела, что даже попыталась высказать свое критическое отношение и на вопрос бабушки, как мне новый фильм, ответила небрежным: «Так себе». «Что-о-о? – воскликнула она. – Люди старались, работали, тратили силы, время, чтоб ты, как буржуйская

девчонка, привередничала и фыркала?!» Подобная реакция надолго отбила у меня охоту мыслить критически.

Мама тоже предпочитала хвалить все увиденное. Она следовала этому принципу до конца своей жизни и, покупая во время международных кинофестивалей сразу несколько абонементов, смотрела все подряд. На мои недоуменные вопросы отвечала: «Надо учиться во всем находить хорошее. Даже в слабой картине можно при желании найти что-то интересное: увидеть, как живут люди, что носят, где отдыхают. Сходишь в кино – и как будто в другой стране побывал». Но это уже о временах не столь отдаленных. А тогда много лет назад Москву огласил незабываемый клич Тарзана. Этот фильм был так же прост и ясен, как диалог главных действующих лиц: «Джейн – Тарзан». – «Тарзан – Джейн». Мне даже удалось путем собственных наблюдений прийти к выводу, что ни к чему волноваться и зажмуриваться, когда герои идут по краю пропасти, поскольку летят в нее только рабы и черные, что, впрочем, одно и то же.

Не помню, раньше или позже «Тарзана», но был в моем детстве фильм, совершенно меня околдовавший. Шел он не в «Ударнике», а в клубе «Красные текстильщики» и назывался «Индийская гробница». Загадочная красота героев, их странная пластика, экзотические танцы, роскошные дворцы, белые слоны – все было настолько необычно, что вопросов не возникало. Тем более что я привыкла задавать их только маме, а на «Индийскую гробницу» ходила с бабушкой и дедушкой. Выйдя после сеанса на улицу, мы медленно шли по заснеженной Москве. Я напевала, а дедушка насвистывал мелодию из фильма, которую помню до сих пор.

Но с одной картиной моего детства у меня установились особые, сложные и очень личные отношения. «Первоклассница» – как много в этом звуке для сердца моего слилось... Когда я впервые увидела этот фильм (а видела я его много-много раз) и вернулась домой возбужденная и полная впечатлений, мне рассказали историю, которая меня потрясла. Оказывается, Агния Барто, у которой мы с мамой часто бывали, посоветовала создателям фильма пригласить меня на главную роль. Кто-то из съемочной группы приезжал к нам для переговоров, но бабушка сказала свое категорическое нет. «Не дам калечить ребенка! Не позволю ломать ей жизнь!» Калечить и ломать – эти два слова не выходили у меня из головы. Каждый раз, когда я смотрела «Первоклассницу», я заново переживала свою трагедию: меня покалечили, мою жизнь сломали. Почти полностью позабыв фильм, я и сегодня отлично помню лицо той, которая снялась вместо меня. Звали ее Наташа Защипина. Сидя в темном кинозале, я постоянно испытывала синдром Царевны-лягушки и с трудом подавляла в себе желание сообщить всем и каждому: «Это я, я должна была играть в этом фильме. Это моя роль!» Однажды придя в гости к своему другу Юрке, я поделилась с ним своими переживаниями. «Наташа Защипина? – переспросил он небрежно. – Я ее отлично знаю. Она живет в моем дворе. Я даже вчера ее видел, и она рассказала мне свою историю». «Какую историю?» – спросила я, не веря своим ушам. «Ну, про то, как она была в плену, как ее освободили». Я потеряла дар речи. Это уж слишком. Мало того что она сыграла мою роль, она еще была в плену, у нее имелось какое-то прошлое. «Врет», – вдруг догадалась я. «Врет!» – сказала я громко. Но, взглянув на взбивавшую в это время клюквенный мусс Юркину маму и увидев, что она едва сдерживает смех, я поняла, что врет Юрка, а вовсе не Наташа Защипина.

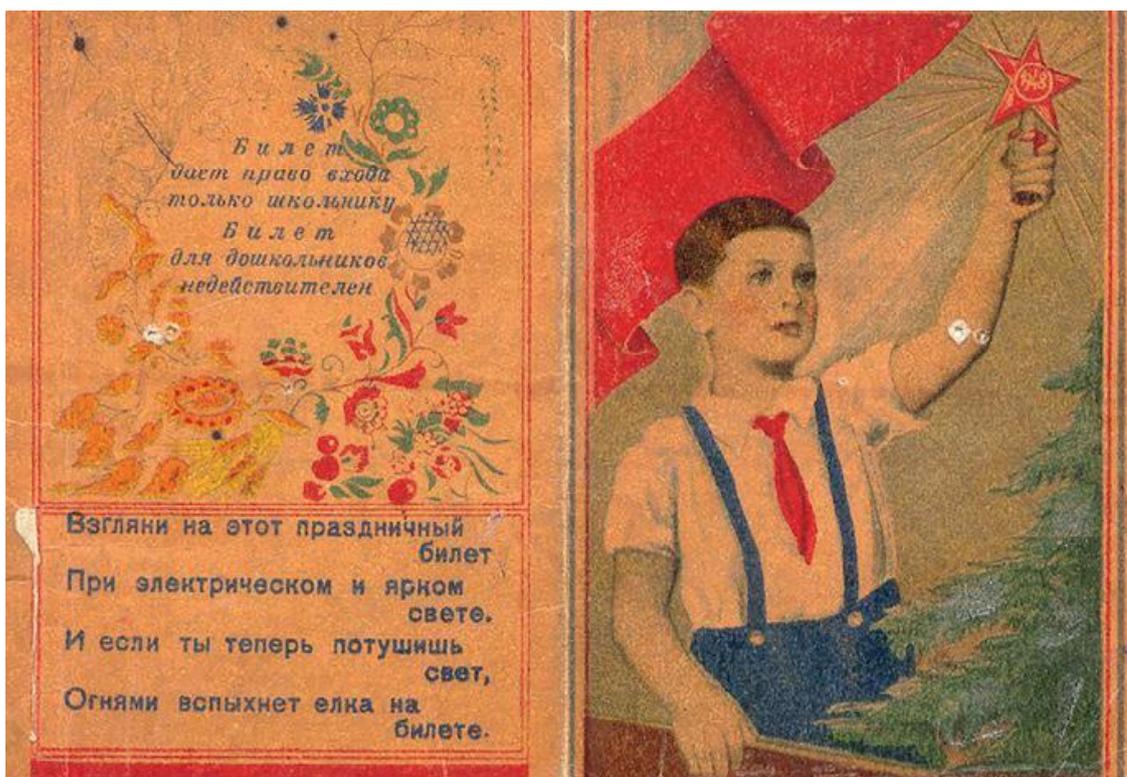
Нет, мне не суждено было стать актрисой. Я осталась зрителем, но зрителем чутким, преданным, благодарным, неравнодушным. А это тоже совсем неплохая роль.

Сплошные праздники

«Те, у кого в четверти тройки, возьмите портфели и построитесь, – сказала учительница Лидия Сергеевна. – А теперь марш за мной в раздевалку. Вы пойдете домой. Остальным тихо выйти в коридор и занять места. Через пять минут начнется кукольное представление «Али Баба и сорок разбойников». Мы, троечницы второго класса «Б» (в те годы девочки и мальчики учились в разных школах), повесив головы, побрели за учительницей. Выйдя в коридор, я старалась не смотреть в сторону сцены, но не могла удержаться и сквозь слезы увидела зеленые шторы с блестками и длинные ряды скамеек, на которых подпрыгивали от счастья и нетерпения хорошистки и отличницы. Портфель оттягивал руку: в нем лежал табель, где в графе «арифметика» стояла тройка. Единственная тройка в четверти, лишившая меня спектакля, счастливого возвращения домой и безмятежных зимних каникул. Оставалась одна неделя до нового 1949 года. Я вышла из школы и, ни с кем не прощаясь, пошла домой. Во дворе встретила маму, которая в честь моих каникул пораньше ушла с работы. Увидев мою физиономию, она стала меня тормозить и допрашивать. Я достала табель, показала тройку и все рассказала. На следующий день мама, придя с работы, подозвала меня к столу и, поставив на стол сумку, спросила: «Что в сумке, догадайся?» В сумке лежали билеты – целый ворох театральных и пестрых елочных. Начиналась новогодняя вакханалия, в которую были втянуты все: бабушка, дедушка, мама и даже мамины подруги. С мамой я ходила на оперетту, с дедушкой – на оперу, с бабушкой – на драму и на все елочные представления.



«С Новым годом, край любимый, наша славная страна!» – вешали золотые буквы на билете, приглашающем на елку в Дом пионеров. На том же билете красовался молодой 1949 год в тулупе и шапке-ушанке, который бежал на лыжах навстречу Деду Морозу с заплечным мешком, а из мешка торчала книжка Гайдара «Тимур и его команда». Билеты можно было изучать бесконечно.



*Взгляни на этот праздничный билет
При электрическом и ярком свете.
И если ты теперь потушишь свет,
Огнями вспыхнет елка на билете.*

Эти стихи были напечатаны на обратной стороне билета в Колонный зал Дома Союзов. А на лицевой розовощекий, ясноглазый пионер в красном галстуке, белой рубашке и синих

штанах с ляпочками держал пылающую звезду. Алый стяг, алая звезда, алые щеки – светло, ярко, празднично.

Праздник начинался с утра. Я выходила во двор с пригласительным билетом в руках и показывала его дворовым ребятам. Они приносили свои и спорили, чей лучше. Однажды я вынесла во двор свой самый нарядный билет на елку в ЦДРИ. Он был с секретом. Стоило его раскрыть, как вырастала пушистая елка в гирляндах, выбегали звери из чащи, выезжал Дед Мороз на санях, в которых сидела Снегурочка. И надо всем этим в звездном небе парил лик Сталина. Билет пошел по рукам. «Ну-ка, дай посмотреть», – сказал сосед Юрка Гаврилов, к которому я была равнодушна с того самого дня, как он приехал из Суворовского училища домой на каникулы. Я с готовностью протянула ему билет. Юрку обступили ребята. Они долго вертели билет и шептались. «Поди сюда, – наконец позвал Юрка, который стоял возле моего подъезда. – Дотронься языком до ручки». «Зачем?» – удивилась я. «Дотронься и узнаешь». Я колебалась. «Дотронься, не пожалеешь, – уговаривал Юрка, – она сладкая. Все уже попробовали». Мне очень хотелось ему угодить, и я коснулась языком ледяной металлической дверной ручки. Был сильный мороз, и язык мгновенно примерз к металлу. Юрка и ребята, гогоча, бросились врассыпную. Я с трудом оторвала язык от ручки, на которой остались следы крови, и пошла домой, начисто забыв о билете и о елке. А когда наступил вечер и бабушка стала меня торопить, я поняла, что елки не будет – Юрка убежал с билетом. Сказав, что билет потеряла, я легла спать, накрылась с головой одеялом и заплакала. Плакала долго, вытирая нос наволочкой, и наконец уснула.



А на завтра снова елка. И не где-нибудь, а в Доме Союзов. В те годы на елку пускали с взрослыми. И было так сладко, держась за бабушкину руку, входить в огромный темный зал, в котором тихо звучала музыка и летали снежные хлопья. Я садилась на свое место и озираясь. Зачарованные волшебной метелью зрители разговаривали шепотом. И вдруг – яркий свет, громкий голос ведущего, представление начинается. Мой любимый номер – танец бабочки. На сцену выпархивает танцовщица в чем-то однотонно-белом и воздушном. Она танцует, кружится. Поворот – и наряд становится голубым, поворот – пестрым, потом шоколадным, желтым. Лучи прожектора неотступно следуют за бабочкой, меняя ее крылья. И каждое преобразование сопровождается всеобщим «ах». Но вот лучи гаснут, и на сцене снова танцовщица в однотонном белом наряде. Был еще один номер, которого я всегда ждала с нетерпением: борьба двух нанайцев. Два крошечных человечка, сцепившись, пытались всеми правдами и неправдами уложить друг друга на лопатки. Они стремительно передвигались по сцене, падали, поднимались, забивались в угол, катались по полу. В зале стоял гул: дети хлопали в ладоши, подпрыгивали, давали советы. И вдруг один из нанайцев взлетал в воздух, перед зрителями в последний раз мелькали его валенки и шубка, и он исчезал. Вместо нанайцев появлялся растрепанный и вспотевший молодой человек, на руках и ногах которого красовались знакомые валенки. Зал на секунду замирал и разражался громом аплодисментов. И сколько бы раз ни

показывали этот номер, эффект был тот же: гул болельщиков, потрясенное молчание, гром аплодисментов.

После концерта все бежали к гигантской елке, чтобы присутствовать на торжественной церемонии зажигания огней. Громовой голос Деда Мороза: «Раз, два, три – гори», – удар его посоха, и елка сияет. Дружное ура, всеобщий хоровод и, наконец, вопрос Деда Мороза: «Кто почитает стихи?» Ну конечно же я. Я знаю столько стихов, что могу читать бесконечно. Выхожу и читаю: «У москвички две косички, у узбечки – двадцать пять». Или «Счастливая родина есть у ребят, и лучше той родины нет». Или «Потому что в поздний час Сталин думает о нас». Дед Мороз берет меня на руки и дарит гостинец с елки. Дальше – танцы. Я всегда была снежинкой в белой юбке и белом кокошнике и пыталась танцевать что-то неизменно воздушное. На одной из елок ко мне подошел принц в узком трико и золоченой куртке. На его голове красовалась маленькая блестящая корона. Он пригласил меня на танец и не отходил весь вечер. Мы вместе пошли получать подарки, и, когда мой бумажный пакет порвался и по полу покатались мандарины и посыпались конфеты и пряники, он бросился собирать. В раздевалке мой принц аккуратно положил на столик возле зеркала все, что подобрал с пола, – вафли, мандарины, печенье – и пошел одеваться. Я чувствовала себя Золушкой на балу и от волнения и спешки не могла попасть в рукава кофты. Скорей, скорей, он ждет. Все. Я готова. Где же он? Оглянувшись, я увидела возле себя высокую стройную девочку. Лицо ее казалось мне знакомым. «Меня зовут Таня», – сказала она, протянув мне руку. «Это твой принц», – засмеялась высокая молодая женщина, очень похожая на Таню, – Танина мама. Мы пошли к выходу. Бабушка беседовала с Таниной мамой, а Таня пыталась говорить со мной, но я почти не слышала и отвечала невпопад. У троллейбусной остановки мы простились. По дороге домой я почему-то все время повторяла про себя стихи, напечатанные на пригласительном билете:

*Говорят, под Новый год
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет.
Все всегда сбывается.*



Очень часто мои зимние каникулы затягивались благодаря болезни. В конце каникул у меня обычно заболело горло или ухо или разбухали железки, поднималась температура, начинался жар, и я с удовольствием укладывалась в постель. Однажды я обнаружила, что стою на столе и, показывая рукой на стенку, шепчу: «Красный бант, на стене красный бант». Мама и бабушка испуганно жмутся друг к другу. «Соглашайся, – шепчет бабушка, – когда ребенок бредит, надо соглашаться». Что было дальше, не помню. Потом узнала, что болела скарлати-

ной. Детская болезнь – это блаженство. Это жар и легкое головокружение. Это обеспокоенная и заботливая мама, которая не уйдет на работу и будет варить кисель и ставить горчичники. Болеть значит лежать в постели в теплых носках и ходить в туалет в валенках. Болеть – значит, мне будут читать, а когда спадет температура, на постели появятся книги, карандаши и альбом для рисования. Болеть значит пить сладкую микстуру от кашля, которую выпишет районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале 1950-х. Как я потом узнала, ее посадили из-за несчастной фамилии, хотя она никакого отношения не имела к «врагу народа».

Когда я заболела, я пыталась вспомнить все, что видела за время зимних каникул, и в голове моей была каша. Я отлично помнила «Двенадцать месяцев» и «Синюю птицу», потому что видела их сто раз и готова была смотреть еще столько же. В «Синей птице» мне больше всего нравились потустороннее царство и Насморк, который в образе молодой женщины с распухшим красным носом бегал по сцене и непрерывно чихал. А в «Двенадцати месяцах» я любила сказочника в полосатых брючках. Он выходил перед каждым действием и, забавно подпрыгивая, приговаривал нечто вроде «бимс-бамс-буры, буры-базилюры». Еще я помнила пьесу «Снежок», которую смотрела с бабушкой в ТЮЗе. Снежком звали бедного негретенка, угнетенного и забитого. Его мучили и притесняли белые янки в ненавистной Америке. Как мне хотелось спасти мальчика, выкрасть его, привезти в Москву, поселить у себя, обогреть и утешить! По дороге домой мы с бабушкой строили многочисленные планы по спасению мальчика и посылали проклятья Америке.

Но что же еще я смотрела? Ведь я ходила в театр почти каждый день. Отлично помню, как мы с дедушкой случайно сели не в свой ряд и как дедушка, к моему ужасу, легко и быстро перешагнул через спинку одного и другого кресла и оказался в нужном ряду на наших законных местах. Помню, как он предложил мне последовать его примеру и как я, ни на кого не глядя, пошла по рядам, от смущения наступая людям на ноги. Но что мы с ним смотрели, так я и не вспомнила. Я пыталась восстановить все с самого начала и вдруг отчетливо увидела школьный коридор, зеленые шторы с блестками и большой плакат, где витиеватым почерком было написано: «Али-Баба и сорок разбойников» – самый интересный, самый желанный и самый недоступный спектакль, запретный плод моего детства.



Автор, 1948 год

Не ходи за ворота

Только в детстве вся жизнь состоит из самоценных мгновений, которые проживаешь без сверхзадачи, без умысла, а лишь потому, что выпало жить. В детстве жизнь – не борьба, не бегство, не погоня, не отшельничество, не близорукое копошение в сиюминутном. В детстве каждое мгновение – это комната, которую обживаешь просто, подробно и любовно. И оказывается, что, как ни краток миг, в нем есть и середина, и окраина, и закуток, и погреб.

Рефрен моего детства: не ходи за ворота. Я была паинькой и слушалась почти всегда. Но и в пределах двора пространство казалось избыточным. Даже в собственном подъезде каждый этаж – новое измерение. Первый этаж – свой, обжитой, истоптанный. За дверью направо – рыжая бесхвостая брехунья Деська, которая истошно лаяла, когда хлопали двери. На втором этаже – белее ступени, гуще краска на стенах. На третьем охватывала сладкая паника – куда забрела? Расстояние между ступенями казалось больше и шагать становилось труднее. А на четвертый этаж решалась только заглянуть, а ступить не решалась. Там я, кажется, и не была никогда. Обратно спускалась быстро, быстро, стараясь не топтать и все ожидая, что какая-нибудь дверь распахнется и раздастся вдогонку сердитый окрик: «Чего тебе тут надо?»

Когда меня стали пускать за ворота, я не знала, куда сперва бежать: в «инвалидный» за «подушечками», в соседний двор, где дом ломали, или в керосиновую лавку. Дивный запах керосина. Я могла стоять часами, вдыхая этот запах и наблюдая, как продавец в необъятном жестком фартуке разливает через воронку керосин по бидонам. Булькает керосин, звякают крышки бидонов и монеты. Детство мое. Родина моя.

Моя первая учительница Лидия Сергеевна. Кажется, она всегда носила синее шелковое платье в белый горошек. Лидия Сергеевна иногда приходила к маме рассказывать про свои сердечные дела. Они шептались, сидя с ногами на диване, и немедленно умолкали, если я оказывалась рядом. Однажды, когда я и мама пошли провожать ее до остановки, она поручила мне нести еще не проверенные классные работы. Я несла драгоценный груз, не дыша, и мечтала встретить кого-нибудь из класса, но, увы, не встретила. Мой первый класс... Толстая, веснушчатая Наташа Витензон – обладательница красивого грудного голоса. Мы с ней участвовали в классном конкурсе на лучшего чтеца. «О Волга, колыбель моя», – с чувством и нараспев читала Наташа. На ней была парадная школьная форма: белый фартук и крахмальный воротничок стоечкой. А из-под плиссированной юбки виднелись голые веснушчатые ножки, розовые резинки и пристегнутые к ним короткие чулки. Наташа получила первую премию и книжку, а я, прочитав басню Крылова «Кукушка и петух», – вторую и открытку с изображением косца на поле и стихами: «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!»

За дальней партой сидела тихая Наташа Вагуртова, которая однажды привела меня к себе домой и шепотом рассказала, как год назад ночью арестовали ее отца; как он, уходя, сказал матери: «Люба, помни, я ни в чем не виноват»; как мать после этого заболела; как у них отняли комнату и оставили угол за занавеской, где они жили втроем – мать, Наташа и ее старшая сестра. Когда мать пришла с работы, я ужаснулась, увидев ее худое изможденное лицо и безумные, вылезшие из орбит глаза. «Щитовидка», – перехватив мой испуганный взгляд, шепнула Наташа незнакомое мне слово.

...А вот Галка Новикова, смешливая девчонка, у которой я часто бывала в крошечной комнате старого замоскворецкого дома, где она жила с целой кучей братьев и сестер. Все спали на полу вповалку и ели, сидя чуть ли не на головах друг у друга.

Галкина соседка по парте – чудная Мила Садовская. Она часто таскала у подружек всякую мелочь: ластик, промокашку, чистое перо. А когда ее уличали, вставала на колени и, театрально приложив руку к груди, умоляла простить ее, тараторя и захлебываясь словами.

Мой любимый класс, в котором я проучилась шесть лет и с которым мне пришлось проститься в 1952 году, когда мы переехали в другой район. Обрыв, и нет Полянки. Поселились в том же Замоскворечье, но прежняя жизнь кончилась. Началась другая, а я еще долго жила прежней. Проснешься и не понимаешь, где ты и как расположена относительно двери и окна.

Если бы кто-нибудь сказал тогда: «Привыкай к переменам. Эта – не самая страшная. Дальше будет хуже», – разве бы я поверила? Да так никогда и не говорят, хотя это единственное, что можно сказать в утешение.

В жизни без хирургии не обходится. Жизнь то и дело производит ампутацию, отнимая привычное, дорогое, необходимое. На месте отнятого возникает пустота. Вернее, не пустота. На месте отнятого появляется боль, мука, память.

Память детства – дотошная и капризная. Важное, крупное, стабильное иногда забывается. Но веки вечные может жить мимолетная подробность исчезнувшего быта. Помню, как, однажды проснувшись, увидела перед собою что-то голубое. Протягиваю руки – шелк. Провожу рукой по шелку, он висит на чем-то твердом. Это стул, придвинутый вплотную к моему дивану. И на спинке стула – голубой шелк. На голубом фоне – корзиночки с цветами. Платье. Новое платье. У меня день рождения. Я совсем проснулась, приподнялась на локте и увидела улыбающую рожицу негра. Деревянная игрушка – белозубый негр в синей нарисованной шапочке. К голове приделан грузик, и голова покачивается вправо-влево. Несколько лет он улыбался мне, покачивая головой. А потом что-то нарушилось, и голова стала застревать в одном положении. Помню, как трудно было запихнуть его куда-нибудь при переезде. Пришлось снимать голову и паковать ее отдельно от туловища.

Дотошная память детства. Память на имена. Помню, что девочку, которая спала рядом со мной в детском саду летом на даче, звали Галка Сидорова. Мне было шесть лет. Каждое лето я ездила на дачу с детским садом, в котором бабушка была на странной должности завпеда. Заведующей была крикливая крепкая сибирячка. А бабушка отвечала за педагогическую работу; в саду у нее одной было высшее образование. Ярко выраженная еврейская внешность, да еще ее вспыльчивость и активность усложняли нашу с ней жизнь. Сколько раз я готова была провалиться сквозь землю, когда заведующая с наслаждением орала на бабушку, а та, нервно хихикая, комкала подол платья. Платье задиралось все выше и выше, и становилось видно трико. Все переглядывались и смеялись, а я сидела пунцовая и боялась поднять глаза. Я вряд ли понимала причину дурного к нам отношения, но знала, что, если что-нибудь нарушу, мне будет хуже, чем другим детям. Оттого с первого дачного дня сжималась и ждала конца лета. Господи, как я хотела, чтобы все обошлось. Я ходила по струнке, и все же...

Особенно тяжело было ночами. На ночь для разных нужд ставили одно ведро на две спальни. Почему-то ведро всегда стояло в спальне мальчиков, и кто-нибудь из них непременно был начеку. Это ведро стало моим кошмаром. Я мучилась до утра, но и помыслить не могла о ведре. Однажды, помучившись, я уснула и во сне почувствовала, что стало легко и тепло. А когда проснулась, поняла, что лежу на мокром. Меня в жар бросило. Мозг начал лихорадочно искать выхода. В голову приходили самые нелепые мысли. Заметив, что проснулась моя соседка, я позвала ее: «Галя, давай поменяемся простынями, когда будем стелить постель. Мне знаешь как влетит, что моя мокрая, а тебе ничего не будет». Галя, конечно, отказалась. Подошла нянечка и стала громко звать воспитательницу: «Алексеевна, Фрумина-то красавица описалась. Фрума всех учит, где ей своей внучкой заняться. Пусть теперь полюбуется».

Мне помогли причесаться. Особенно старательно закрепили на голове атласный бант и посадили на самом виду посреди веранды. А за спиной на веревке развесили мою мокрую простыню. Так я сидела до обеда с пышным бантом в волосах, и все бегали на меня смотреть.

О этот ехидный прищур, с которым глядят на жалкого одиночку.

1953 год. Я вхожу в класс, а в дверях стоит девочка (и опять память услужливо подсказывает ее фамилию – Журавлева) и глядит на меня с тем самым прищуром. Я иду к своей

парте, каждой клеточкой чувствуя, что происходит нечто. Но что? Сажусь за парту и вижу, что в моем ряду пусто. Я в ряду одна, а в двух других сидят по трое за каждой партой. Каждого входившего в класс Журавлева спрашивала, указывая на меня: «Ты за нее или за нас?» Я была единственной еврейкой в классе. За меня никого не было. Все были против. Сидели плечом к плечу, возбужденные от собственного единодушия и сплоченности...

Начались уроки. Учителя сменяли друг друга, но ни один ни о чем не спросил. Все шло как обычно. И только классная руководительница с особым рвением рассказывала о государстве Израиль, и тогда все, дружно повернувшись, глядели на меня.

Потекли дни, и каждый раз после уроков я ждала, что меня изобьют. Я знала, что в классе договаривались об этом. И, когда меня подкараулили и обступили, я испытала облегчение: наконец-то. Девочки образовали круг и швыряли меня друг другу, как мяч, не давая опомниться. Особой боли я не чувствовала и страха тоже, а только тупую покорность и удивление, что это происходит со мной. Дома я ничего не сказала. Боялась, что меня начнут провожать и встречать, и весь класс увидит и поймет, что я трушу.

Все кончилось само собой: умер Сталин.

Однажды рано утром в нашу дверь забарабанили, и отчим с вытаращенными от страха глазами бросился отпирать. Едва он отпер, его сгреб в объятия грузный полуодетый сосед по квартире. «Оправдали врачей. Оправдали, – приговаривал он, тиская отчима. – Мы спасены, милый мой, дорогой».

В этот день моя классная руководительница не пришла. У нее от огорчения началась краснуха. Все расселись по своим местам, и школьная жизнь пошла своим ходом.

Умер Сталин. Рассеянно и не спеша я делала уроки под звуки траурной музыки. Мой дед лежал с инфарктом. Его кормили с ложечки и подавали судно, но, услышав о смерти Сталина, он поднялся и стоял навтыжку, держась за спинку стула и постанывая. И никто не посмел ему перечить. «Почему?» – спрашивала я себя. Неужели и дедушка так потрясен? Ведь я слышала, как он, старый бундовец, нехорошо говорил о Сталине. Даже назвал его однажды главным виновником всех еврейских несчастий. Почему и для него это такое горе? Вот он стоит, слегка пошатываясь, и слезы катятся по впалым щекам.

Все жили так, будто настал конец света и не сегодня-завтра все рухнет. Полное затмение. И мне было немного стыдно за странное возбуждение и любопытство, которое я испытывала в те дни.

* * *

Почему, еще не зная утрат, я все детство боялась за своих близких, особенно за деда? Когда садились в транспорт, я всегда стремилась пропустить его вперед, опасаясь, что он не успеет сесть и двери захлопнутся, прищемив ему ногу. Я никогда не жаловалась ему на дворовых ребят, потому что боялась, что он вступится за меня, и его обидят. Он был худенький, двигался легко и всегда занимал удивительно мало места. До сих пор не понимаю, откуда такая грация и деликатность у еврея-самоучки, выросшего в нищей многодетной семье, в которой он рано стал единственным добытчиком? Он говорил тихо, но с сильным еврейским акцентом, имел ярко выраженную еврейскую внешность и всегда привлекал к себе внимание. Я особенно боялась за него, когда началось «дело врачей». Однажды он провожал меня к учительнице музыки. Мы шли по улице, и он тихо напевал. Встречный мужчина грубо задел его плечом и просипел: «Пой, пой, жидовский нос. Скоро не так запоеешь». Помню свой тогдашний ужас, потому что я, маленькая, не пережившая ни одного погрома и вряд ли знавшая о них тогда, без труда вообразила всеобщую ненависть и готовность к рукопашной. Что ж это такое, как не врожденная память о чужих кошмарах? Будто до нынешней жизни прожила другую жизнь и, может быть, не одну, а несколько. Не оттого ли, слушая какой-нибудь русский романс, вдруг

затоскуешь по старому усадебному быту, по разным его подробностям, которые, начни перечислять, покажутся литературой, а неназванные ощущаются остро, живо, как собственное прошлое?

Не оттого ли, когда слышу: «Пречистенка», «Остоженка», – сердце сжимается от тоски по старой Москве, хоть и не звались так московские улицы на моей памяти. И живи я тогда, не в Москве бы жить мне, а где-нибудь в черте оседлости.

А где-то на стыке моего и чужого опыта сохранилось воспоминание (воспоминание ли?) об эвакуации из Москвы: вокзал, толпа и папа в какой-то лохматой куртке держит меня высоко над головой, чтобы мама и бабушка, которых он потерял, увидели. Я плыву и плыву над людскими головами, и вдруг пронзительный бабушкин крик: «Ларочка-а-а!». Что было дальше – не помню.

Память дискретна: вспышка и снова темно. Вспышка – и я вижу товарный вагон, печку-буржуйку, возле которой суетятся люди: бабушка чистит печеную картошку, перекладывая ее из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает мне. Я откусываю прямо из бабушкиных рук. Изображение снова гаснет, а когда вспыхивает, вижу, как бегаю по вечерней куйбышевской улице во время воздушной тревоги, пытаюсь поймать, сжать а ладонях мечущиеся лучи прожектора. Мне не удается, и я, скинув варежки, ловлю и ловлю их голыми руками.

Но могу ли я помнить все это, если мне было тогда полтора-два года? И все же граница между чужим и собственным опытом иногда столь подвижна и неопределима, что и не знаешь, где свой, где чужой.

Потому, вероятно, еще и не зная утрат, я всегда жила так, будто знала их в какой-то прежней жизни. И любую устойчивость, стабильность принимала не как должное, а как редкое везенье и поблажку. И чем дальше жила, чем больше в эту жизнь вращалась, тем становилась уязвимее.

С раннего детства жизнь одергивала меня, уча оглядке. Но мыслимо ли научиться недоверию, когда лишь доверие позволяет жить? Лишь веря, что воды не затопят нас, ветры не сдуют с лица земли, ближний не нанесет удар в спину, можно дышать, детей растить и спать ночами. А в детстве полон доверия к каждому, готов каждому открыться. И так хорошо, когда в двух шагах живет подружка и можно то и дело бегать друг к другу.

Мы сидим в моей комнате, жуем пряники. Я читаю подружке свой стишок про ненавистную всему классу учительницу рукоделия. Я только вчера его сочинила, и мне не терпелось поделиться:

*Гром гремит, земля трясется,
Видно, Поленька несется
На высоких каблуках,
С рукоделием в руках.
Вызывает ученицу,
Ставит сразу единицу.
Единица не плоха,
Ученица – ха, ха, ха.*

Наташа смеется. «Перепиши мне. Я сестре прочту», – просит она. Я переписываю стихи, а она стоит за моей спиной, жуя пряник.

На следующий день в нашем классе – пионерский сбор. Я только недавно вступила в пионеры, и меня недавно выбрали звеньевой. Я была счастлива и то и дело гладила новенькую нашивку на рукаве формы. В середине сбора моя подружка Наташа, староста класса, подняла руку, аккуратно поставив локоть на парту.

– Что, Наташа? – обратилась к ней учительница.

– Миллер стишок написала про Полину Николаевну. Пусть прочтет.

– Прочти, – обратилась ко мне учительница. Я молча глядела на Наташу.

Наташа смотрела прямо перед собой. Потом поднялась, вынула из кармана аккуратно свернутый листочек, который я накануне ей вручила, и сказала: «Если она не хочет, прочту я».

Когда она прочла, девочки захихикали, да и учительница с трудом сдерживала улыбку. Наташа обвела всех спокойным взглядом. «Я думаю, всем ясно, – произнесла она, – что после этого Миллер не может оставаться звеньевой».

Класс притих. Учительница в растерянности переводила взгляд с меня на Наташу. Наташа села и, порывшись в портфеле, достала пенал. Открыв пенал, она извлекла из него бритву и направилась к моей парте.

– Встань, – обратилась она ко мне, – надо срезать нашивку.

– Оставь, Наташа, она сделает это дома, – произнесла наконец учительница. Наташа вернулась на свое место, убрала бритву в пенал, пенал в портфель, опустила крышку парты и положила на парту локти. Сбор продолжался.

Мое лицо горело. Во рту было сухо. Я никак не могла осознать случившееся и найти этому определение. Простое слово «предательство» пришло не сразу.

Анна Васильевна с Олимпа

В пятом классе мы начали изучать мифы Древней Греции. Храмы, битвы, боги, чьи имена я запоминала с необыкновенной легкостью, меня завораживали. Единственную трудность представляла хронология: XII в. до н. э., V в. до н. э. Я до рези в глазах вглядывалась в эти цифры, буквы, точки, но усвоить их не могла. Что значит ДО НАШЕЙ ЭРЫ? Я и нашу эру с трудом себе представляла. Воображение отказывалось мне помочь. Написали бы просто – ОЧЕНЬ ДАВНО. Разве этого недостаточно? Но и датам не удалось отбить у меня любовь к древнегреческим мифам. Тем более что преподавала их Анна Васильевна. Когда она – высокая, статная, с огромным пучком пепельных волос на затылке – впервые вошла в наш класс своей величественной походкой, мне показалось, что она спустилась с Олимпа. Что такое Олимп, я уже знала – сперва от мамы, а позже от Жени, который короткое время был маминым мужем. Кандидат философских наук, он очень красочно и бурно рассказывал мне про войну титанов и богов, про огненную колесницу Фаэтона, про веселого козлоногого Пана и его несчастную любовь к нимфе. Анна Васильевна говорила о том же, но совсем иначе – негромко, медленно, спокойно, как и следовало жительнице Олимпа. Когда она в своем неизменном длинном темно-вишневом платье и большой белой шали бесшумно двигалась между рядами и, не прерывая повествования, подходила к доске, чтоб записать имя очередного бога или героя, все глаза были устремлены на нее. Кронос, глотавший своих детей, Зевс, низвергнувший Кроноса, Гера, верховная богиня и жена Зевса, – обо всех она говорила так, что сомнений не оставалось: она была там. Но кем она там была – в том непредставимом веке до нашей эры? Герой? Вряд ли. Уж больно Гера мстительна и ревнива. В конце концов я придумала ей роль таинственной безымянной пришельницы с Олимпа, стоявшей выше всех верховных богов и безучастной к их играм, страстям и битвам. Единственное, что не соответствовало ее величественному облику, – это неожиданно приветливая и ласковая улыбка, которую каждый мечтал заслужить. Все свое домашнее время я тратила на историю, а на уроке изо всех сил тянула руку (чего делать не полагалось) или старалась перехватить взгляд учительницы.

Но однажды Анна Васильевна не пришла. Нам сказали, что она заболела, и заменили историю физкультурой. Не пришла она и на следующий урок, и через урок. Жизнь потеряла краски. Вызнав каким-то образом ее адрес, я отправилась к ней домой. Как я на это решилась, сама не знаю. Держа в руках бумажку с адресом, я отыскала нужный переулок (благо он оказался неподалеку), вошла во двор и, увидев там тетеньку, развешивающую на веревке белье, показала свою бумажку. Она молча кивнула в сторону деревянного флигеля, но, едва я стала подниматься по ступенькам, крикнула: «Вниз!» Неужели в подвал? На лестнице пахло кошачьей мочой, а в кухне жареным луком. «Где тут Анна Васильевна?» – спросила я у тени, скользнувшей по темному коридору. «Сюда, пожалуйста», – юным голосом ответила тень и повела меня за собой. Скоро мы оказались в узкой комнате, где царил полумрак. На кровати лежала женщина с разметанными по подушке волосами. «Кто пришел, Аня?», – услышала я слабый голос Анны Васильевны. Я назвалась. «А-а-а, очень рада, проходи, садись. Яблоко хочешь? Анечка! Принеси яблоко». Девушка метнулась к буфету. «Это моя дочь Анечка. А я вот слегла с пневмонией». «С чем?» – спросила я, радуясь непонятному слову как возможности поддержать беседу. «С пневмонией, с воспалением легких». – «А вы скоро придете?» – «Как только встану на ноги. А ты пока читай. Хочешь, дам тебе книжку про Троянскую войну?» «Спасибо, не надо, – зачем-то отказалась я. – У нас дома много книг про Древний мир. Мамин муж – философ. Он все знает». – «А-а-а, ну тогда другое дело». Анна Васильевна поглядела на дочь и улыбнулась. Видя, как ей трудно говорить, я стала прощаться. Анечка сунула мне в руку яблоко и повела по коридору. «У мамы глаза болят, поэтому мы в комнате света не зажигаем», – сказала она на прощанье.

Поднявшись все по той же вонючей и шатучей лестнице, я оказалась на свету. Домой шла медленно, припоминая все случившееся. Что, собственно, меня так поразило? Убогое жилище? Да мы все жили примерно одинаково: в коммуналках, среди чада и смрада, с мышами и крысами. Но Анна Васильевна – величественная гордая обитательница Олимпа, самая верховная богиня. Могла ли я подумать, что и она живет в подвальной конуре? Могла ли я представить, что именно оттуда она каждый раз приходила к нам, чтоб рассказать о подвигах Геракла, о Зевсе, Гере, Гебе...

*Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила, —*

читала она на уроке своим глубоким грудным голосом. Не в силах расстаться с мыслью об эллинском происхождении Анны Васильевны, я решила сделать ее Персефоной, живущей в царстве Аида, или по крайней мере Деметрой, спустившейся в Тартар, чтоб навестить дочь. Но, как я ни пыталась приучить себя к этой новой версии, ничего не получалось: грязный двор, сырой подвал, вонючий коридор, полутемное жилище никак не вязались со звучными греческими именами.

В конце четверти открылась дверь и вошла Анна Васильевна – спокойная, статная, все в том же темно-вишневом платье, с белой шалью на плечах. Она улыбнулась нам своей удивительной улыбкой и сказала, что мы начнем новую тему. И вновь замелькали имена: Приам, Парис, Гекуба.

1997

* * *

Я малолетка. Я в Клину.
Я у Чайковского в плену.
Я тереблю промокший, мятый
Платочек. Плачу я над Пятой
Симфонией. Пластинку нам
Поставили. За дверью гам.
В музее людно. День воскресный.
А музыка с горы отвесной
Столкнула, снова вознесла.
Я плакала. Душа росла.

2011

4. Мама, папа, Пастернак

Из повести «Мама»



Мама, 1942 год

* * *

Я так ждала родительского дня
И чтобы мама забрала меня
Из группы. Мы в лесу гамак повесим.
Я буду петь. Я знаю много песен.
Читать стихи ей буду без конца.
Я маму жду. Я не уйду с крыльца.
Ей – с шишками еловыми корзинка,
Венок, букет и булки половинка.
Вон меж стволами золото волос.
Ах, мама, твой ребенок не подрос.
Так и бегу с подарком припасенным
Тебе навстречу в платьице казенном.

* * *

А мама собирается на бал.
И жемчуг бел, и цвет помады ал,
На стуле серебрится чернобурка —
Ее не любит мамина дочурка.
Берет не любит, что с распялки снят,
И платье из панбархата до пят.
Ведь, значит, мама *из* дому уходит
И дочкин праздник *из* дому уводит.
Не надо было маму отпускать.
Ведь где, скажи, теперь ее искать?

Старинные часы на гардеробе. Те самые, из моего детства: склоненная над книгой бронзовая женщина, тонкая рука, подпирающая щеку. Все то же. Только циферблат без стрелок. Часы сломаны. Они стоят в квартире моей мамы, которая недавно умерла. Совсем недавно. Еще живет в комнатах ее запах. В прихожей стоят тапки, хранящие форму ее ступни с подагрической косточкой. Возле зеркала – золотистое колечко ее волос и расческа, которой она провела по волосам, уезжая в больницу. Рядом обручальное кольцо и часы, что так беспомощно болтались последнее время на ее исхудавшей, посиневшей от укулов руке. Тупо брожу по квартире. Со дня маминой смерти прошла всего неделя...

Я еще не жила в этом мире без мамы. Жила с ней, подле нее, отдаляясь, приближаясь, терзаясь несхожестью душ, тоскуя по детству, когда ни с кем не было так хорошо и празднично, как с ней. Делаю первые шаги в мире, где ее нет. Она приходит только ночью, садится возле меня, и мы вместе смотрим старые снимки. «А это помнишь когда было?» – «Помню. После ноябрьской демонстрации. Малый Каменный мост». – «Сколько тебе тут лет, девочка?» – «Девять, наверное». Поднимаю голову, а ее уже нет. Бегу, зову и просыпаюсь.

Разбираю книги. На многих дарственные надписи писателей, художников, актеров – всех тех, с кем мама встречалась, у кого брала интервью, работая в журнале «Красноармеец» в воен-

ные и первые послевоенные годы: «На память Изабелле о первых наших встречах. Вас. Качалов, 1944 г.»; «Белле Румер (мамина девичья фамилия) с любовью. Мих. Жаров, 1945 г.». Вот тоненький «Василий Теркин», «карманная» книжечка, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1942 году. На титульном листе – надпись: «Изабелле Вениаминовне, замученной редакционными невзгодами, – с пожеланием всего лучшего. А. Твардовский. 14.7.1943».

Вот сборник стихов Степана Щипачева с посвящением: «Милой Белочке. Пусть эта книга когда-нибудь и потом напомнит об этих днях, о нашей редакции и об авторе этого творения. Ст. Щипачев. 26.5.44».

Миниатюрная рассыпающаяся книжка Анны Ахматовой, изданная в 1921 году. На титульном листе под строгим названием ANNO MCM XXI надпись: «И. В. Румер на память о встрече – Ахматова 22 апреля 1946 г. Москва».

Скромное военное издание «Железного потока» с посвящением, сделанным старческим неровным почерком: «Т-щу Румер Изабелле Вениаминовне, прекрасному редактору, перед настойчивостью ее никто не устоит. На память А. Серафимович. Москва 10.12.44».

Английские народные баллады: «Дорогому «Красноармейцу» Изабелле от всей души». С. Маршак 1942 г.».

Журнал «Красноармеец», в котором мама работала до 1946 года, – это огромный дом с колоннами, который все называли ЦДКА. Это большая круглая площадь Коммуны. Это газетный киоск возле троллейбусной остановки, где почему-то иногда продавали кукольную посуду, непреходящую мечту моего детства. Непреходящую не потому, что мечта не воплощалась, а потому, что маленькие алюминиевые вилки легко гнулись, ложки легко ломались, тарелки легко терялись. Все приходило в негодность, еще не успев надоесть, и я снова тянула маму к газетному ларьку. Она покупала мне новый набор, и мы шли к маме на работу, где я проводила целый день, когда меня некуда было деть и не с кем было оставить. Я доставала из маминой сумки целлулоидного голыша, строила для него дом из толстых подшивок журнала «Красноармеец» в красном кожаном переплете и кормила его из новой посуды.

Журнал «Красноармеец» – это черный кожаный диван, на котором маме иногда удавалось уложить меня днем поспать. Журнал «Красноармеец» – это мамин начальник Виктор Васильевич, болезненный, тихий, в гимнастерке и валенках. Виктор Васильевич и его вечная шутка: «Ну что, черноглазая, опять глаза не промыла?»

Журнал «Красноармеец» – это макет Сталинградской битвы на первом этаже. Объемный макет в человеческий рост, куда мне однажды разрешили войти. Скинув тапки, я шагнула за барьер, внутрь макета, и оказалась среди огня и дыма. Боязливо оглянулась и увидела у самых своих ног окровавленного солдата с гранатой в руке. Не помня себя от страха, я торопливо, боясь что-нибудь нарушить, засемила прочь, к маме.

«Красноармеец» – это странные таинственные разговоры о самоубийстве секретарши Леночки, которая повесилась в приемной своего начальника. Это страшная новость о том, что начальника посадили. Начальник этот был главнее Виктора Васильевича. Я всегда думала, что он начальник всего дома с колоннами и даже всей круглой площади. Звали его Василий Иванович. Его кабинет находился возле макета Сталинградской битвы. Большой кабинет и большая приемная. Но мы с мамой никогда не ждали в приемной. Мама весело открывала массивную черную дверь и, пропустив меня вперед, входила следом. А Василий Иванович вставал нам навстречу, широко улыбался, брал мамину тонкую руку в обе свои и усаживал маму в кресло. Я любила ходить к нему, особенно накануне Нового года, потому что тогда уж я непременно получала новенький, пахнущий типографской краской пригласительный билет на елку. Пригласительный билет с профилем Сталина и кремлевской башней на обложке. И вдруг Василий Иванович исчез. Мы с мамой больше никогда не подходили к его кабинету на первом этаже. Много лет спустя, придя домой из школы, я увидела за столом очень худого, лысоватого человека с ввалившимися щеками. Он встал мне навстречу и улыбнулся. Господи, да это же Васи-

лий Иванович. Неужели он? После его ухода я засыпала маму вопросами, припомнив загадочные рассказы о Леночке. Мама нехотя и скупно объяснила, что Леночку несколько раз вызывали в какое-то важное учреждение и расспрашивали о начальнике. Она возвращалась на работу измученная и в слезах. Когда начальника арестовали, она повесилась.

Маму уволили из «Красноармейца» вскоре после ареста Василия Ивановича. Что такое «уволители» я плохо понимала. Но помню, как мама вернулась с работы непривычно рано и позвонила Верке, своей давней подруге: «Ты знаешь, я вышла на улицу, перекинула пальто через руку, поглядела вокруг, и мне захотелось кричать». Я с опаской смотрела на маму, которая почти не говорила со мной.

Как же так? Как же можно, чтоб маму выгнали из дома с колоннами, из нашего «Красноармейца» одну на улицу? «Ты знаешь, говоря по-эзоповски, на этот дом надо бомбу сбросить», – сказала я маме. Я помнила, что есть некий «эзоповский» язык, которым иногда пользовалась мама, разговаривая в моем присутствии с кем-нибудь из взрослых, и решила, что пришло мое время говорить на этом языке.

Много лет спустя, не помню почему, мы с мамой приехали в ЦДКА, и пожилая гардеробщица, увидев маму, всплеснула руками: «Белочка, да ты ли это?» Они расцеловались, поговорили. А когда мама отошла, гардеробщица сказала мне: «Какая она красавица была. Многие по ней вздыхали. Она и сейчас хорошая, но в те-то годы...»

Снимки, снимки, снимки. Вот мама молоденькая в гимнастерке, вот она в ушанке и шинели. Вот ее пропуск на беспрепятственный проход по Москве во время воздушной тревоги. Вот она с папой перед его уходом на фронт. Это их последняя фотография. Они улыбаются друг другу. На папе военная форма. На маме шерстяная кофточка, которую я помню до мельчайших подробностей: коричневая, с бежевым воротником и бежевыми манжетами. Кофта была длинная, уютная, и мама любила носить ее в морозы. Я даже помню ее на ощупь, потому что часто, уставая, тянула маму за бежевый манжет и ныла: «Пойдем домой».

Мама часто таскала меня с собой. Иногда потому, что не знала, куда меня деть. Иногда просто так, «для веселья». Меня так и прозвали – «Белкин хвост».

Куда и к кому только не ездила мама, спецкор «Красноармейца», самого популярного и читаемого в те годы журнала: к Калинин, Вышинскому, Туполеву, Ал. Толстому, Эренбургу, Гр. Александрову, Л. Орловой, Целиковской, Руслановой, Мих. Жарову. Мы ездили к Папанину на дачу, где я впервые в жизни каталась на машине, большой, черной, неуклюжей. Мы ехали по ухабистой, грязной проселочной дороге. Папанин сидел за рулем, а мы с мамой подпрыгивали на заднем сиденье. Когда мы особенно высоко подпрыгнули, Папанин обернулся и весело спросил меня: «Ну, что, мартышка, совсем жопку отбила?» Черная машина и слово «жопка», произнесенное знаменитым дядей, были самыми сильными впечатлениями этой поездки. Папанина я помню смутно, но хорошо помню, что он пригласил нас остаться на обед, который уже подавали в просторной столовой. Помню, что удивительно вкусно пахло едой и что мне очень хотелось есть. Помню свою досаду на маму, которая неизвестно почему отказалась остаться и увела меня, голодную, домой, накормив по дороге бутербродами. Помню смуглый мамин кулачок, которым она наподдала мне на улице за то, что я слишком настойчиво и громко требовала, чтоб мы остались обедать.

Обычно я вела себя тихо, но иногда подавала голос, и не всегда удачно. «Ваша фамилия Толстой, потому что вы толстый?» – спросила я большого, грузного Ал. Толстого. Толстой без улыбки посмотрел на меня и молча протянул мне конфету, а маме – сложенные трубочкой странички, написанные для «Красноармейца». Однако голос, поданный мною в проходной Кремля, помог мне пройти к Ворошилову вместе с мамой. Охранники сами догнали маму и попросили взять с собой громко плачущего ребенка. Так я оказалась в кабинете Ворошилова. «Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папи с винтовкой на посту!» – декламировала я, стоя на столе в кабинете Ворошилова. Я говорила «папи» с гордостью, так как знала от домаш-

них, что папа мой погиб на фронте. Однажды поздно вечером я слышала сквозь сон, как мама рассказывала бабушке, что кто-то вошел в редакцию и сказал: «Белла, иди скорей. Тебя какой-то мужчина ждет внизу. Сказал – позовите Беллу. Скажите, что ее ждет Миллер». Представь, хочу бежать вниз, а ноги не идут», – говорила мама. «Спускаюсь по лестнице, а ноги ватные. Понимаю, что бред, что Миши нет в живых, что это не Миша, а брат его, а все-таки думаю – а вдруг, а вдруг. Спускаюсь вниз, а там Аркадий. Я так и упала на стул возле него без сил».

С той поры и во мне поселилось это «вдруг». А вдруг папа жив, и я его случайно встречу где-нибудь в толпе, на улице, в транспорте. Я стала сочинять бесконечные истории о нашей случайной встрече.

...«Ларка, иди скорей. К вам Сталин приехал», – кричали мне ребята с нашего двора. Бегу к дому. У подъезда машина. В подъезд входит высокий, прямой, моложавый старик в генеральской форме – Игнатьев, автор книги «Пятьдесят лет в строю». Личная машина (редкость по тем временам), генеральская форма, военная выправка, высокий рост – конечно же Сталин. Про нашу маму всегда ходили легенды: к ней ездил Сталин, а сама она актриса – яркая, рыжая, курит, на рояле играет. «Умнице и чаровнице Белочке от молодого душой ее поклонника», – размашистым почерком написал Игнатьев свою книгу, подаренную маме.

Я любила ходить с мамой к Маршаку и к Агнии Барто, потому что там мне давали посмотреть грудку красивых детских книжек. Некоторые из них были совсем новые и вкусно пахли краской. Я их не столько читала, сколько нюхала. Однажды Агния Барто позвонила нам на Полянку и продиктовала маме свое новое стихотворение, которое начиналось словами: «У меня родился брат...» Стихотворение называлось «Имя», и было оно о том, как брата назвали Иосифом в честь вождя. Я выучила стихи наизусть и очень выразительно прочла их на школьном утреннике, посвященном дню рождения Сталина. Барто жила в Лаврушинском переулке, по соседству с нами, и мы с мамой ходили к ней пешком тихими замоскворецкими переулками.

Мы ходили пешком в Дом правительства – большой серый дом, расположенный между Большим и Малым Каменными мостами. Шли по Большой Полянке через мост мимо кинотеатра «Ударник» в ворота. В этом доме жил Александр Серафимович Серафимович, с которым за годы работы в «Красноармейце» подружилась мама... Это был очень старый человек с рыжими веснушками на руках. Он всегда ходил в валенках, а дома возле ног его всегда лежала большая строгая собака, из-за которой я боялась быстро ходить и громко говорить. В кабинете Серафимовича были двери с матовыми стеклами. Мне нравилось, упершись лбом в стекло, пытаться разглядеть, что там делается за дверьми. Александр Серафимович что-то говорил мне слабым старческим голосом. Бодрая моложавая жена его Фекла Родионовна поила нас чаем с чем-нибудь вкусным. А потом мы с мамой брали узелок с чистым бельем и шли в ванную комнату купаться. В ванной комнате нашей коммунальной квартиры на Полянке лежал хлам и бегали крысы. А здесь все сверкало, аппетитно гудела колонка. Мама терла мне спину и приговаривала: «Одни косточки – настоящий Кащей Бессмертный». А потом смывала с меня мыло со словами: «С Ларочки вода, с Ларочки худоба, чтоб здоровенькой была, чтоб маму любила».

На прощанье Александр Серафимович дарил мне мои любимые коробочки из-под папирос. И самой любимой была коробочка с изображением цыган на крышке: пестрые фигурки поющих цыган, а впереди один из них в ослепительно-белой сорочке с гармошкой.

Однажды мама водила меня в цыганский театр «Ромэн» на пьесу, которая называлась, кажется, «Чудесная башмачница». Я все ждала, что увижу нарядных цыган с папиросной коробки, а увидела старого башмачника, которого обижала молодая цыганка, его жена, и даже швыряла в него обувные колодки. Я плакала, жалела старика. А на следующий день мама привезла меня в какой-то дом и уже у самой двери сказала: «Мы пришли в гости к Ляле Черной, которая вчера играла жену башмачника». «Как?! К той грубиянке, которая обижала старика? Нет, нет, ни за что. Я ее ненавижу», – кричала я, вырываясь из маминых рук. Мама крепко держала меня и испуганно шептала: «Ларочка, золотце, подожди, не кричи. Это хорошая тетя.

Она просто играла такую роль». На шум вышла миловидная женщина в длинном нарядном халате. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила она, видя, как я молча, но иступленно вырываюсь, пытаюсь убежать. Растерянная и смущенная, мама рассказала ей, в чем дело. Женщина рассмеялась и принесла мне целую горсть конфет. Но я не сдалась. Тогда она присела возле меня на корточки и стала шептать мне на ушко, как она ненавидит эту башмачницу, как не любит ее играть и как ее заставляют. Я слушала и оттаивала. Женщина незаметно расстегнула мне пальто, взяла за руку, провела в комнату, усадила на диван и поставила рядом блюдце с конфетами, которые я сосредоточенно ела, пока они с мамой беседовали...

Давно исчезли маршруты моего детства, но у памяти свои законы, которые позволяют нам с мамой снова сесть в старый звонкий трамвай с кондуктором и проделать долгий зимний путь в Лефортово к маминому будущему мужу. Мы садимся у окна: я спереди, она сзади. Дышим на заиндевшее стекло, отогревая кружочек для смотрения. И мама, наклонившись к самому уху, принимается за наше обычное занятие: рассказывает, вернее играет, очередной спектакль. Сегодня это «Пигмалион». Мама играет все роли, меняя голос, выражение лица и, как я поняла позже, подправляя на ходу оригинал, чтоб получилось трогательнее, интереснее и понятней. «Вот ваши туфли, и вот», – в бешенстве кричит Элиза. «Элиза, вы дура», – холодно и невозмутимо отвечает Хиггинс. По дороге обратно из Лефортова домой Элиза и Хиггинс мирятся. Хеппи-энд. И мой нетерпеливый вопрос: «Что дальше?» Дальше «Школа злословия», а потом в сотый раз мой любимый спектакль «Давным-давно». «Пусть я зовусь юнцом безусым», – поет мама. Я знала все реплики и песни и все же просила маму сыграть спектакль сначала до конца без пропусков и сокращений. Позже, увидев эти пьесы в театре, я ревниво и придирчиво следила за сюжетом и актерами. Мне казалось, что мама все делала лучше. Единственное, чего она не могла, – это изобразить постепенно гаснущую люстру и медленно раздвигающийся занавес. И за это волшебство я навеки полюбила театр. Когда я была маленькой, поездки с мамой были лакомством, праздником. Это потом мне стало в тягость всюду ездить с мамой, подчиняться ее воле, прерывая собственные занятия, бросая книги, друзей. А не поехать означало обидеть маму, увидеть, как она ушла, обиженно закусив нижнюю губу. Не поехать означало долго жить под гнетом ее обиды, под током высокого напряжения. Но в раннем детстве я была маминым хвостиком. А зимой и маминой грелкой вдобавок. Она сажала меня к себе на колени, и я грела ее пушистой белой шубой. Мы долго ехали с Большой Полянки мимо кинотеатра «Ударник», мимо Дома правительства, мимо библиотеки Ленина. И сидя у мамы на коленях, я громко по складам читала вывески: «Па-мир-ка-хер-ская, бли-бли-о-те-ка».

Несколько лет спустя я совершила свое первое самостоятельное путешествие по тому же маршруту от дома до Пушкинской площади, где был расположен Радиокомитет, куда удалось устроиться маме по ходатайству Эренбурга. Мама долго готовила меня к этому путешествию, водила на остановку, с которой мне предстояло уехать, объясняла, где сойти и на какой скамейке в сквере сидеть и ждать ее. Но настал великий день, я пошла на ту остановку, на которой привыкла встречать маму после работы, села в троллейбус и долго ехала в противоположном направлении. А заметив это, стала тихо плакать. Сердобольная женщина расспросила меня обо всем, взяла за руку, вывела из троллейбуса, перевела на другую сторону и посадила в нужный троллейбус. Я приехала к маме, но с большим опозданием. Она судорожно прижимала меня к себе, тормошила и плакала: «Ведь я тебе все объяснила, дрянцо ты этакое, шимпанзе беззубое. Золотце мое ненаглядное».

...Мама, где ты? Куда ты делась? Как это может быть, что тебя нет?

«Девочка моя, золотце мое ненаглядное, – шепчешь ты, прижимая меня к себе, и тихо плачешь, отвернувшись от соседок по больничной палате. – Что тебе сказал врач?»

Что сказал врач? Врач сказал: «Ваша мать – умирающая больная. Ходите почаще».

– Врач сказал, что проведут курс лечения, и тебе сразу станет легче, – говорю я вслух. – Только тебе надо набраться терпения. Лечение тяжелое. От него слабость и тошнота.

– Да, такая слабость, что голову поднять нет сил. И волосы лезут страшно.

Ну ничего. Пусть лезут. Лишь бы мама у меня осталась. «Тяжело дышать», – говоришь ты. Серое лицо, бескровные губы – ты ли это?

Ты – золотистые волосы, яркие глаза. Тебе так шли длинные серьги, пестрые платья. Ты любила праздники, новогоднюю ночь, бенгальские огни, музыку, танцы. Ты любила в новогоднюю ночь ездить из гостей в гости, неожиданно появляться в длинном вечернем платье с конфетти в волосах, произносить шуточный тост, танцевать игривый танец и, сопровождая себя на рояле, петь любимую песенку: «Нашел я чудный кабачок, кабачок. Вино там стоит пятачок, пятачок».

Ты была нарасхват. Все приходило в движение, когда ты появлялась. «Белла, станцую? Беллочка, твое здоровье!» – несло со всех сторон.

Взгляды, взгляды, взгляды. На тебя всегда смотрели в транспорте, на улице, в театре. Была ли ты красивой? Не знаю. Когда как. Ты часто была измученной, усталой. «Расчешись. На кого ты похожа!» – просила тебя бабушка. «Оставь, мама. У меня нет сил». Ты часто рассказывала, как во время очередной чистки на партсобрании в Радиокomitee кто-то сказал: «Посмотрите, в каком виде коммунистка Фаддеева приходит на работу. Почему она так взлохмачена? Пора присмотреться к этой лохматости». Ты и на радио работала с утра до вечера, стуча на машинке, правя написанное, отвечая на вопросы радиослушателей, приглашая кого-то на запись. «Ну что вы, Белла, это совсем не туда пошло. Совсем не туда, – твердила на ломаном русском языке твоя начальница финка Сайми, возвращая тебе твою статью. – Надо сократить».

«Невольный сын эфира», – говорила ты о себе. Помню, что я всегда удивлялась, почему сын и откуда ты взяла эти слова.

Вот маленький снимок, на котором мы с тобой сфотографированы после ноябрьской демонстрации на Малом Каменном мосту. На обороте карандашом написано: «1949». Рядом с нами твоя начальница и еще кто-то. Я любила ходить с тобой на демонстрации. Пестрая, разноязыкая колонна иностранцев, поющих песни на разных языках. «Ларочка, – говорил мне влюбленный в тебя высокий, стройный швед Сикстен, – хочешь, я тебе куплю палька, такая длинна-длинна палька, две палька кататься зимой?»

Все пели, и мы с тобой пели: «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист...» Вот они – ноты моего детства, пожелтевшие разрозненные листки. Песни времен войны, изданные на серой бумаге в 1945 году. «Смерть немецким оккупантам» – напечатано на обложке сверху. «Стеклография ЦДКА» – напечатано снизу. «Американская солдатская песня» – посередине той страницы, где про «чудный кабачок».

Вот ноты, казавшиеся мне столь таинственными в детстве: на обложке, – белое лицо, похожее на маску, трагически сдвинутые темные брови, белое жабо. Сверху белыми буквами на черном фоне: «Песни Вергинского». «Ах, солнечным, солнечным маем, на пляже встречаясь тайком, с Лулу мы как дети играем, мы солнцем пьяны, как вином», – поешь ты, сидя за нашим стареньким «Беккером». Окно нараспашку. По комнате летает тополиный пух. За окном цветет сирень. Необычно теплый май. Твой день рождения. Комната полна гостей. От ветра качнулась занавеска. Нотный лист упал на твои смуглые худые пальцы. Кто-то подхватил его и поставил на пюпитр. «Ну погоди, ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик пай. Ведь любовь наша только шуточка. Ее выдумал глупый май...»

Сегодня снова май. Скоро день твоего рождения. Всюду продают сирень – твои цветы.

* * *

Приходит Верочка-Верушка,
Чудная мамина подружка.
Она несет большой букет.
(Сегодня маме тридцать лет.)
Несет большой букет сирени,
А он подобен белой пене,
Такая пышная сирень.
Я с белым бантом набекрень
Бегу... Гори, гори, не гасни,
Тот миг... И розочку на масле
Пытаюсь сделать для гостей...
Из тех пределов нет вестей,
Из тех времен, где дед мой мудрый
Поет и сахарную пудру
Неспешно сыплет на пирог.
И сор цветочный на порог
Летит. И грудой белой пены
Сирень загородила стены.
...

май 1983 г.

* * *

Маме

1.

Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Я то и дело к тебе возвращаюсь
Утром и вечером, днем, среди ночи,
Выбрав дорогу, какая короче.
Я говорю тебе что-то про внуков,
Глажу твою исхудавшую руку.
Ты говоришь, что ждала и скучала...
Наш разговор без конца и начала.

2.

О память – роскошь и мученье,
Мое исполни порученье:
Внезапный соверши набег
Туда, где прошлогодний снег
Еще идет; туда, где мама
Еще жива; где я упрямо

Не верю, что она умрет,
Где у ворот больничных лед
Еще лежит; где до капли,
До горя целых две недели.

3.

Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.

4.

А за окном твоей палаты
Случались дивные закаты,
Стояло дерево без кроны,
Летали галки и вороны.
Начало марта, хмарь, ненастье,
И ты мне говорила: «Счастье
Смотреть в окно на стаю эту».
Вот счастье есть, а мамы нету

* * *

Если память жива, если память жива,
То на мамином платье светлы кружева,
И магнолия в рыжих ее волосах,
И минувшее время на хрупких часах.
Меж холмами и морем летят поезда,
В южном небе вечернем пылает звезда,
Возле пенистой кромки под самой звездой
Я стою рядом с мамой моей молодой.

Папа Миша

Года в четыре мне очень нравилось играть с фотографией, на которой я, годовалая, сижу на руках у отца. Нравилось мять эту карточку, разглаживать, рисовать на ней цветными карандашами. Фотографию отбирали, но я снова находила ее и мучила.



Дома мне говорили: «Папа Миша пошел на фронт добровольцем. У него было слабое зрение. Он погиб, подорвавшись на mine». «Папа Миша тебя очень любил, – говорила бабушка. – Он держал тебя бережно, как хрустальную вазу. У него были длинные, тонкие, музыкальные пальцы».

Когда я стала старше, то пожалела, что исчеркала фотографию, на которой папа держит меня своими «длинными, тонкими, музыкальными пальцами». Я так долго рассматривала

его руки на снимке, что, мне начинало казаться, будто пальцы вздрагивают. Интересно было изучать его лицо, коротко стриженные волосы, очки, улыбку, себя в каком-то комбинезоне с пуговками, вазу, зеркало, ковер – весь далекий неведомый фон младенческой, довоенной жизни, в которой папа Миша держал меня как хрустальную вазу и придумывал мне всякие имена: Ларчик-самоварчик, Лариска-матриска, Ларчонок.

Что еще у нас осталось от той жизни? Вот карточка, где мама с папой на Черном море. Это – до меня. Мама в широкополой соломенной шляпе, смуглая, в полосатом купальнике. Папа худой, очкастый. Оба лежат у самого берега и смеются: волны, брызги, морская пена. На карточке застыли потеки и капли светло-зеленой масляной краски. Наверное, следы довоенного ремонта на Большой Полянке, где жила моя семья.

Я подолгу изучала все отцовские фото. Вот маленькое фото на удостоверении газеты «Тагильский рабочий» со штампом 1934 года.

Вот фотография, где он снят в военной форме. Отец сидит, а мама стоит рядом. Они смотрят друг на друга и улыбаются.

Когда я повзрослела, наши книжные шкафы на Полянке стали таинственным миром, в котором я пропадала часами. На форзаце многих книг было написано «М. Миллер».

Эти книги казались мне загадочными, как и все связанное со странными, хотя и привычными словами «папа Миша». Загадочными были «Илиада» и «Одиссея» – толстые, громадные тома с фантастическими картинками; маленькие сборники стихов со странными названиями «Белая стая», «Зеленый Вертоград», «Иверни». Причудливые наименования издательств – ОГИЗ, ГОСЛИТ, ГРИФ, АЛКОНОСТ – только добавляли таинственности книгам. Вот том в темном переплете. На обложке – ни слова. На форзаце сверху – гирлянда роз с шипами, а ниже написано шрифтом с буквой ять: Александр Блок, «Земля в снегу», и совсем внизу – «Третий сборник стихов» изд-во журнала «Золотое руно». В середине страницы была стерта какая-то карандашная надпись. Я долго пыталась прочесть, что там было написано, и наконец разобрала: «Стихи на бумаге. Снегу больше, чем земли, а бумаги – чем стихов». Кто сделал эту надпись и кто стер, я не знаю. Но надпись эта волновала меня в детстве едва ли не больше, чем сами стихи. Хотя и стихи я перечитывала по многу раз, особенно те, рядом с которыми были карандашные пометки: черточки, галочки, скобки. «Ты твердо знаешь, в книгах сказки, а в жизни только проза есть», – читала я строки, отчеркнутые карандашом.

Однажды я увидела драгоценные книги, сложенные штабелями на полу: мама ждала букиниста, чтоб продать кое-что, готовясь к переезду с Полянки. Это было в 1952 году. Я в последний раз листала «Илиаду», «Одиссею», жутковатый альбом Босха, книгу, посвященную не помню какому юбилею Театра сатиры. Я любила ее за обложку, украшенную смеющимися лицами всей труппы. Несколько дней книги лежали на полу, и я присаживалась рядом с ними на корточки и листала, листала...

О папе мне мало рассказывали дома. Я знала, что он любил стихи, что был застенчив, худ и высок, носил очки, которые я пыталась сдернуть с него, когда он брал меня на руки. Он не позволял, и я громко кричала. Тогда, чтоб меня не расстраивать, он специально покупал дешевые чашки и, когда я пыталась сорвать с него очки, подсовывал мне чашку, которую я разбивала вдребезги, визжа от восторга.

Как странно было читать свое имя в его письмах с фронта: «Вот разобьем фашистов, и я вернусь к Ларчонку».

Одно время мне казалось, что папа жив, и я настойчиво вглядывалась в лица прохожих, надеясь увидеть его в толпе. Странно, что мне так не хватало его. Почти ни у кого из девочек нашего класса не было отца. Моя семья была даже больше, чем у многих: мама, бабушка, дедушка. Существовали папины сестры и брат, с которыми мы, правда, виделись редко. И все-таки я ждала отца, искала в толпе, сочиняла истории о нем. Мне не хватало его всегда – и

особенно остро, когда случались ссоры в семье, когда маму уволили с работы, когда мы ходили с ней по улицам и читали объявления о найме, когда меня дразнили во дворе...

Я любила бывать в доме отца на Арбате, где после войны жили его родные, в длинном доме с круглой башней – бывшем доме Моссельпрома. Я и сейчас показываю детям этот дом, в котором уже давно не живет никто из моих родственников. «Смотрите, вон дом папы Миши», – говорю я им. Отец мне никогда не снился в детстве и впервые приснился лет пять назад. Мне очень многое хотелось сказать ему, но губы не слушались, потому что нам было отпущено мало времени: он был ранен в висок. Из раны тонкой струйкой шла кровь. Кто-то хлопотал возле него, пытаясь остановить кровь, но кровь шла и шла, и становилось ясно, что рана смертельна. Он был бледен, но безмерно счастлив нашей встрече. Он держал мою руку и спрашивал о чем-то слабым голосом. Я хотела ответить, но внезапно проснулась. Пробуждение было страшным, потому что не стало отца, которого я ждала всю жизнь, дождалась и снова потеряла, так и не успев ничего сказать ему. Этот сон долго не отпускал меня.

И вот, спустя тридцать шесть лет после смерти отца, в 1978 году я случайно встретила с человеком, который был с отцом на фронте и говорил с ним накануне его гибели. Это был Наум Мельман (Мельников), который до войны тоже учился в Литинституте. Он рассказал мне об отце то, чего я не знала. Он рассказал мне, что познакомился с отцом в Куйбышеве во время войны, что отец рвался на фронт, но его не брали из-за плохого зрения; что ему в конце концов в обход всех комиссий удалось попасть в армейскую газету, где работал Мельман. Отец был помощником ответственного секретаря и большую часть времени проводил в типографии. Работы было много. Когда же выпадала свободная минутка, он любил что-нибудь напевать себе под нос или читать вслух стихи. Стихов он знал великое множество и мог читать их часами. «Жил он стихами и музыкой, а точнее в стихах и музыке, а еще точнее – казалось, и стихи, и музыка писались для него одного», – рассказывал мне Наум Дмитриевич.

И еще он жил мамой, которую любил безумно. Эта любовь стоила ему жизни. Однажды, узнав, что с фронта в Москву идет машина, отец и один из его друзей решили съездить в Москву, чтоб повидаться с родными. Командировки в Москву были делом обычным для редакции. А в тот момент их отлучка могла пройти незамеченной, потому что в типографию попала бомба, и газета временно не выходила. Отец как человек безнадежно штатский не видел в этой мальчишеской затее ничего страшного. Приехав в Москву, папа не сразу разыскал маму, которая, работая в журнале «Красноармеец», часто ездила в командировки. Отец пробыл в Москве три или четыре дня. Из Москвы в Ядрин, где жили его родители и сестры, полетело счастливое письмо: «Мои дорогие! Творятся чудеса – пишу вам из самой Москвы!.. А рядом со мной сидит как вы думаете кто? Беллочка!..» Это письмо я прочитала совсем недавно. Его передала мне незадолго до своей смерти сестра отца, с которой он очень дружил. У мамы же были сложные отношения с его родными, и поэтому я виделась с ними нечасто.



Мама Бэлла и папа Миша, 1941 год

Так постепенно отец начал возвращаться ко мне. Он возвращался через рассказы Мельмана и других людей, с которыми учился в Литинституте, работал в Литгазете или служил в армии.

«Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях, – написал об отце один из его лучших друзей-сокурсников. – Перечитываю теперь книжки поэтов, которых когда-то читали вместе, и передо мною встает образ «первооткрывателя» – совсем еще юного Миши Миллера. Всегда думаю о нем с обожанием и признательностью... Живописью он увлекался самозабвенно».

«Он был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть. Замечу при этом, вкус к поэзии у него был безупреч-

ный. А Пастернаку он готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно», – так писал другой его приятель по институту.

А Наум Дмитриевич рассказывал мне: «В день моего рождения Миша подарил мне книгу стихов Пастернака в серо-голубом супере. Я не хотел брать, потому что это была единственная книга, которую он взял на фронт. «Бери, – настаивал он. – Из этой книги я все помню наизусть, а ты нет»».

Отец возвращался ко мне и через письма, которые дала мне моя тетья, через ее рассказы о любимом младшем брате Меличке. Она была смертельно больна, настоящее воспринимала туго, зато прошлое помнила до мельчайших деталей. И, когда она говорила об отце, казалось, что он жив и скоро вернется.

Спустя много лет я шла по его следу. Беседовала с теми, кто знал его в разные годы. Говорила и с Анатолием Михайловичем Медниковым – с ним отец пережил самое страшное время в своей жизни. С трудом, с болью вспоминал Анатолий Михайлович то, что произошло зимой 1942 года.

Об их самовольной отлучке в Москву узнал политработник газеты и потребовал трибунала. Это было время, когда вышел указ Сталина об усилении дисциплины в армии. Отца и его приятеля судили и приговорили к смертной казни. «Трибунал заседал в большой избе, – вспоминал Мельман. – Я вижу Мишу со спины, его бритый затылок. Он в шинели без хлястика и ремня. Хлястик срезали, ремень отобрали. И очки тоже. Помню его последнее слово. Он сказал только, что хотел бы честно посмотреть в глаза дочери». После трибунала осужденных отвели в избу, которая служила тюрьмой, а через некоторое время отправили в Калужский централ. Там в камере смертников они провели девяносто дней. Камера помещалась на втором этаже и была заполнена самыми разными людьми. Каждую ночь кого-то уводили на расстрел, что часто сопровождалось истерикой и криком уходящих и остающихся.

На папу и его друга в камере смотрели с удивлением. Они занималась странным делом – читали друг другу лекции: папа своему приятелю – по литературе, музыке, кино, а тот ему – по математике и другим точным наукам. Они даже справили там день рождения папиного друга. И папа подарил ему половину своей дневной порции зерна, размоченного в воде, – единственной пищи, которая им полагалась.

Прошло три месяца, и наконец осужденных вызвали и повели на первый этаж. Они не знали, что их ждет. Сразу после приговора была послана апелляция на имя Калинина, но решение было неизвестно. С некоторых пор, чтобы избежать криков в общей камере, смертников стали уводить из нее заранее в специальную камеру на первом этаже. Конечно, заключенные знали, где эта камера. Знали об этом отец и его друг. Дорога казалась долгой. Сорок с лишним лет спустя Анатолий Михайлович рассказывал мне об этой бесконечной минуте срывающимся голосом: коридор, лестница, коридор. Все ближе и ближе ТА дверь. Заведут ли в нее или проведут мимо? Их провели мимо. Апелляцию удовлетворили: смертный приговор был заменен десятью годами с пребыванием на передовой.

Друзей отправили на фронт. Вернее, в лагерь под Йошкар-Олу, а оттуда с арестантской ротой на передовую. Их везли через Москву. Эшелон стоял в Москве несколько часов, и отцу снова, в последний раз, удалось увидеться с мамой. Это была их последняя встреча. Рассказал ли он ей, что пережил, я не знаю. И спросить не у кого. В письмах в Ядрин родителям и сестрам отец писал, что был ранен, лежал в госпитале и потому молчал. Письма, которые он писал маме с фронта, пропали. Одноделец отца говорил мне, что отец держался очень мужественно. И лишь в лагере, когда стал пухнуть с голода, стал нервничать, что его не возьмут на фронт. Но на фронт он попал и даже чудесным образом опять встретился с Мельманом. «Часть лета, всю осень, вплоть до ноября, Миша вместе с Толей (Медниковым) писали историю 326-й дивизии, – рассказывал Наум Дмитриевич. – Их любил комиссар и не считался с тем, что они осужденные. В ноябре история была написана, комиссара отозвали в Москву, а Мишу с прия-

телем отправили в резервную роту». В первом же бою отец погиб. Это произошло 26 ноября 1942 года. Ему было двадцать восемь лет.

Теперь я понимаю, почему мне так скупо рассказывали дома об отце, избегали называть имена его фронтовых друзей. Мои близкие панически боялись проговориться, боялись выболтать то, что мне не следует знать. Боялись ради меня, ради моего будущего. И с детства я слышала только одно: «Папа Миша пошел на фронт добровольцем и погиб, подорвавшись на mine». Сколько помню себя, столько помню эти слова. Много раз в детстве я представляла себе минное поле, почему-то непременно покрытое снегом, и отца, почти слепого, в очках, совсем одного, идущего через поле. И вдруг взрыв... Что дальше, я не умела вообразить. Тут я останавливалась и начинала представлять все сначала: белое поле, одинокая фигура отца, медленно идущего навстречу своей гибели. Его гибель – катастрофа моей жизни. Я потеряла родного человека, близкого мне не только по крови, но и по духу. Гадать, как бы сложилась моя жизнь, будь жив отец, дело пустое. Только случай помог мне узнать все, что я узнала, по-настоящему открыть его для себя. Случай или судьба. Я должна была пройти по следу, встретиться с теми, кто помнит отца, прочесть письма, которые не читала прежде, и через сорок три года – то «роковое» письмо, которое он написал после приговора и чудом передал из тюрьмы своим друзьям 24 февраля 1942 года. Все эти годы письмо хранилось у Даниила Данина¹⁶. Текст этого письма Даниил Семенович приводит в записках об отце, написанных по моей просьбе в мае 1985 года.

Милая Лариса!

Вы хотите, чтобы я написал то, что помню о вашем отце. Попробую. Но странно подумывать, что прошло 43 года с того дня, когда в заснеженной деревушке Дача – заовражной окраине Мещовска – мы безнадежно обнялись в минуту его насильственного ухода в неизвестность. Время стояло суровое – военная зима 1942-го. Наше наступление, начавшееся в декабре 1941-го под Москвой, остановилось. Его поступок – поездка в Москву на попутной – выглядел бы в иных обстоятельствах простительно мальчишеским порывом. Но тогда обернулся беспощадно наказуемым своеволием – «дезертирством на двое суток». Я и сейчас слышу, как откидывались обеляющие слова «на двое суток» и оставалось только лишенное смысла гибельное слово «дезертирство». Все понимали, что это значит. И потому безнадежным было прощальное объятие. Не могу уже вспомнить, через кого и как он передал нам письмо, написанное плохо очиненным карандашом на листах бумажного срыва, – семь страничек отчаяния, душевной чистоты и веры в дружбу. На тусклом конверте без марки было написано: «Данину, Мельману, Аграновичу, Григорьеву». Я приписал в нижнем правом углу конверта дату – «24 февраля 1942 г. Мещовск». Потом стал обводить синими чернилами по карандашным линиям текст, чтобы письмо в передрыгах сохранилось и почерк уцелел. Но, как вижу сейчас, успел обвести лишь три с половиной странички. Что-то помешало, а что – не помню... Допускаю, что, может быть, он сунул мне это письмо в минуту прощанья, и потому нет нужды догадываться, через кого и как он его передал нам. Адресованное четверым, оно осталось у меня, очевидно, как у старшего (мне было тогда 28 лет, Неме Мельману – 24, Жене Аграновичу и Григорьеву-Белецкому – около того)... Помню, я перечитывал это письмо после войны только однажды, когда мы с моей покойной женой – Софьей Дмитриевной Разумовской – ностальгически разбирали сохранившуюся переписку военных лет. В одной из шести трофейных немецких папочек «Зольдатен Брифе», изобретенных для подшивки писем, приходивших на фронт, я тогда нашел и Мишин выцветший конверт. Удивительно, что время его сберегло! А сейчас, как обещал Вам, нашел его во второй раз, снова перечитал, и снова – с перехваченным горлом... Но будет, наверное,

¹⁶ Данин Даниил Семенович (1914–2000) – сценарист, прозаик, литературный критик, популяризатор науки, автор книг «Добрый атом», «Резерфорд», «Нильс Бор» и других. – Сост.

правильно, если я приберегу текст того письма к концу этих коротких воспоминаний, которым невозможно придать разумной связности: время подвергает память эрозии, и то, что исчезло, не восстановить, иначе оно не было бы исчезнувшим.

...Мы познакомились летом 1938-го в редакции «Литературной газеты». Сретенка. Последний переулочек (это не по счету, а просто он так назывался). Старый доходный дом по левой стороне, если идти к Трубной. Была просторная квартира в бельэтаже, перепланированная на комнаты-клетушки. Они шли по периметру квартиры, каждая отбирая для себя одно или два окна, а вместе вырезая из квартирной площади небольшой прямоугольный зал посредине, дневного света лишенный. Там всегда горела незапомнившаяся люстра и настольная лампа освещала рабочее место молодого, чуть рыжеватого человека в углу, у двери в клетушку отдела критики. Молодой человек тоже являл собою отдел – он был собственным заведующим и единственным сотрудником у самого себя. Короче – главенствовал над перепиской газеты с читателями и графоманами. Оттого-то меня, студента-физика, и привели к нему тем летом несчастливые обстоятельства жизни.

Весною 1938-го на Челябинском тракторном был арестован мой отец-инженер. Мать вернулась в Москву. Когда я спросил ее, сколько получал отец, она назвала увесистую для студента-стипендиата сумму. Но в приступе самонадеянного благородства я сказал, что она будет иметь больше: «Возможные передачи и прочее...» Мне пришлось всерьез искать внештатную работу: не хотелось бросать университет, да и никто не принял бы меня в штат с репрессированными отцом и старшим братом (тоже инженером). Не помню, кто из литературных друзей – поэтов и критиков – надумил меня попробовать силы на критическом разборе стихов начинающих. Если память не путает, это обещало рубль или трешку за ответ на графоманское письмо. Думаю, что покойный Женя Бернштейн, почти мой однолетка, но уже известный к тому времени критик (Евгеньев), постоянно печатавшийся в «Литгазете» и со всеми знакомый, думаю, что, вероятнее всего, он порекомендовал меня, своего старого приятеля по бригаде Маяковского, «прекрасному и вдумчивому парню Мише Миллеру». Эта формула – «прекрасный и вдумчивый парень» – запала мне в память, потому что ее не раз повторяла позднее Мишина соседка по редакции – «графиня Разумовская», как он ее называл, сидевшая за стеной в отделе критики.

При первой нашей встрече, – поденщика и работодателя, – полуосвященный работодатель встал, оказался такого же роста и такой же худобы, как его будущий поденщик, приветливо сказал: «А-а, это вы!» – и протянул мне руку над неустойчивой грудой приколотых к конвертам писем. Кто-то из нас, или мы оба, совершил или совершили неловкость: груды полетела на пол. Дальше мы говорили, сидя на корточках и собирая рукописи. Может быть, поэтому, когда мы выпрямились и уселись визави, появилось чувство, будто мы уже издавна знакомы и успели надежно испытать друг друга на верность. Мы еще оставались на «вы», но уже перешли на имена. (И я до сих пор не знаю, как звали Мишу Миллера по отчеству.) Запомнились из того разговора две подробности. Одна милая, но маловажная. «Вот это – ваши золотые россыпи», – сказал Миша, накрыв ладонью собранную грудку стихов. Другая подробность была существенней и нашими улыбками не сопровождалась.

Дабы никого не подвести, – ни рекомендателя, ни работодателя, – мне надо было в какой-то форме сказать, что мой отец сидит. И для смягчения этой моей недоброкачества добавить, что дело его разбирается и, вероятно, он будет освобожден как ни в чем не виноватый... Я начал: «Миша, мне надо вас предупредить...» И тут он сразу прервал меня, понизив голос: «Я знаю, но анкету вам заполнять не нужно, только не распространяйтесь об этом...» Лишь те, кто сегодня числится в старших поколениях, могут по достоинству оценить тот его поступок. Потому что это был ПОСТУПОК, а не деталь разговора двух молодых людей.

Позднее, когда через три с половиной года судьба свела нас в редакции армейской газеты 10-й армии, в зимних Сухиничах и белом Мещовске, мы припоминали, как началась наша

дружба. Я рассказывал ему, что отец мой на свободу так и не вышел, а умер в тюремной больнице, будучи заключенным «без дела», то есть не успев дожить до возбуждения дела против него, так что следователь переслал матери даже все отцовские документы и остававшиеся при нем деньги! Миша говорил тогда, и я был с ним согласен, что это освобождает меня от обязанности упоминать в анкетах об аресте отца: «Можешь просто писать – умер в Челябинске осенью 1938 года». (Если бы Миша дожил до середины 1950-х годов, он узнал бы еще одну прихоть нашей жизни: та смерть заключенного «без дела» лишила моего отца права на посмертную реабилитацию – некого было реабилитировать, некого и не за что... Представляю, как Миша, в манере своей молчаливой вдумчивости, продержал бы минутную паузу, а потом протянул бы: «Да-а, любопытно».) В Сухиничах или Мещовске я повинился перед ним: рассказал, что в день нашего делового знакомства все-таки хотел скрыть от него вторую половину моей тогдашней семейной недоброкачественности – арест старшего брата, который, к счастью, в январе 1939-го был действительно оправдан по суду и освобожден. Миша сказал: «Мог не скрывать... вот я тебе расскажу...» Последовал его рассказ о таких же бедах той эпохи – не помню, семейных или приятельских, но разыгравшихся вокруг него самого. Тогда подобные разговоры мыслимы были только при безусловном взаимном доверии. Мы испытывали его друг к другу, хотя той весной – неразлучной, домашней, детской – дружеской связи, какая заводится в школьные или студенческие годы, между нами просто не успело возникнуть перед войной. Такая связь возникает и на войне. Она и возникла зимой 1942-го. Да вот, к несчастью, длилась всего месяца два...

(Из наших общих друзей по 10-й армии она у меня длится по сей день только с живым и здравствующим Немой Мельниковым.)

...Вернусь к освещенному столу в Последнем переулке. Зная мои обстоятельства, Миша Миллер щедро подбрасывал в мою долю «золотых россыпей» все новые письма. Вынужденный работать быстро, пока продолжались летние каникулы, чтобы наполучать денег впрок, я приходил часто – за все новыми порциями стихотворного графоманства. Выкладывал из студенческого портфеля предыдущую партию уже казенных стихов. Миша старался перехватить ее у меня еще на весу, чтобы она приземлилась среди его бумаг на нужном месте. И так повелось, что при этом разыгрывалась короткая сценка.

- Не обнаружился ли новый Пушкин? – спрашивал он с притворной надеждой в голосе.
- Пока не обнаружился, – виновато отвечал я.
- А новый Лебедев-Кумач?
- Этого сколько угодно!

В другой раз Пушкин заменялся Маяковским, Блоком, Пастернаком, а Лебедев-Кумач – Жаровым, Демьяном Бедным, кем-нибудь из молодых, дружно нами отвергаемых звонарей или старомодностей. Работодатель был доволен поденщиком – прежде всего из-за моего темпа: я ухитрялся за день умерщвлять столько надежд на поэтическую славу, что в ящиках Мишиного стола зримо таяли завалы неотвеченных писем. А это было Мише важно, потому что иные из заждавшихся признания стихотворцев писали жалобы куда угодно – вполне резонные по существу, но опасные по адресу и доносительской демагогии. Но и я, разгребатель завалов, должен был быть осторожен: жалобы мог вызвать и своевременный ответ, если бывал он избыточно лихим по тону и допускал кривотолкование по аргументации. И поначалу я нередко слышал от Миши: «Послушайте, но так же нельзя – он нокаутирует нас обоих, надо писать тоньше!» Иногда возникал спор. Миша был спорщиком тихим, однако неутомимым и неодолимым. Когда я по неопытности зарывался, он безошибочно предлагал: «Пусть рассудит графиня Разумовская». Мы приоткрывали соседствующую с его столом дверь отдела критики, и я тотчас лишался речи: он знал, что при Софье Дмитриевне Разумовской я влюбленно немел. А она, сверх того, неизменно принимала его сторону: «Слушайте Миши – он вдумчивей вас...» Или: «Господи, что вы тут написали! Снисходительный Миша вас просто портит!

«Попали бы вы в мои руки!» Миша улыбался и уже за своим столом утешающе говорил: «Ладно, все лишнее я вычеркну сам... а Туся прелесть, правда?» Мне казалось – с первой минуты, когда он нас познакомил, – что он сам немножко влюблен в эту женщину с ее легкой походкой, летящими волосами, чуть старомодной красотой и повадкой чеховской «четвертой сестры». Он всегда улыбался при Тусе, поправлял громоздкие очки, вставал, когда она, скользя мимо его стола, бросала ему что-нибудь мило-приветливое на ходу. Говорил, что безоговорочно доверяет ее вкусу, а она, в свой черед, точно то же говорила о нем. Не помню, чтобы он истинно душевно приятельствовал с кем-нибудь еще в тогдашней «Литгазете»...

Однажды в ответ на его улыбочиво-традиционное «Не обнаружился ли новый Пушкин?» я должен был весело признать: «Обнаружился!» Эту историю стоит рассказать, потому что и тут Миша совершил ПОСТУПОК... Летом 1938-го в редакцию стали приходить юмористически-безграмотные и столь же патетические стихи с пришпиленными к тетрадным листкам фотографиями автора. Он подписывался «Я. Пушкин». Такие же стихи с теми же фотопортретами он присылал в «Знамя» и «Комсомольскую правду», где они попадали порою тоже ко мне (поскольку я и там занимался ремеслом «литконсультанта» в силу тех же обстоятельств). С маленьких снимков глядело лицо бритоголового дебила, на розыгрыши не способного. На всякий случай, чтобы не пасть жертвой розыгрыша кого-нибудь из друзей-поэтов, я – по совету Миши Миллера и Анатолия Тарасенкова (моего работодателя в «Знамени») – стихов Я. Пушкина всерьез не разбирал, а только прохаживался по орфографии и нелепой рифмовке. Все звучало вполне безобидно, но, конечно, обидно. И вот стали приходить от обиженного не жалобы, а угрозы разоблачить меня как «засевшего там-то и там-то» врага народа. В ту пору это звучало вовсе не смешно. В конце концов Миша решил послать многоадресному жалобщику официальное уведомление, что консультант такой-то от работы с начинающими отстранен. (И Тарасенков в «Знамени» сделал то же самое.) Пришло ликующее письмо от Я. Пушкина – кажется, последнее. Помню, его ходила читать к Мишиному столу вся редакция. Бедняга признался, что он, действительно наделенный судьбою фамилией Пушкин, стал придумывать стихи год назад, в 1937-м, в честь столетия гибели своего однофамильца, дабы появился на свет наш, советский Пушкин! Миша спрашивал меня, не чувствую ли я себя Дантесом... В общем, история была анекдотическая и незабвенная. Но дежурная фраза Миши «Не обнаружился ли новый Пушкин?» приобрела не очень веселый смысл. И я теперь отвечал: «Слава богу, нет!» Вот то мое мнимое отстранение от работы было по всем тогдашним меркам еще одним ПОСТУПКОМ Миши Миллера. И мы не раз вспоминали его потом...

Миша легко и отзывчиво улыбался, но я совсем не помню его смеющимся или хохочущим. Отчего это было так – не знаю. Он излучал спокойную надежную порядочность. Все знали: он умный и очень цивилизованный. И нет у меня на памяти никого, кто думал или говорил бы о нем дурно. Ему должно было бы хорошо житься на свете. Но живо помню, как он становился неразговорчивым, погруженным в уныние, для посторонних необъяснимое. Вероятно, более близкие его друзья знали причины. Но его замкнутая повадка в этих случаях была такова, что я не мог решиться, ну, скажем, беззаботно обнять его за плечи и произнести что-нибудь этакое бодрящее и необязательное. Помню только, как однажды Туся Разумовская предупредила меня: «Не трогайте сегодня Мишу». И тихо объяснила, что у него неудача со статьей, которую он попытался написать по ее же просьбе. О чем – вспомнить не могу. Но суть дела была чисто психологической и состояла в том, что он, написав обещанное и даже передав свой текст Софье Дмитриевне, вдруг взял его обратно, решительно и бесповоротно. «А что, действительно получилось плохо?» – примерно так спросил я. «Не знаю, – сказала С. Д., – он не позволил мне ее прочитать!» Меня, уже начавшего тогда печататься в «Литгазете», это поразило. Оттого, наверное, и запомнилось... Может быть, так объяснялись и другие его «приступы унынья» (не знаю, как сказать лучше)? Может быть, ему, отлично понимавшему, что хорошо и что плохо в литературе, просто не давалось собственное творчество – «не давалось»

с его же собственной точки зрения? Он не дожидался чужого суда, а сам вершил его над собой? Это очень похоже на правду... Позднее – в армейской газете 10-й армии – он писал легко и непринужденно. Как все мы – пустяково-газетные тексты. Но страницы фронтовой печати не плацдарм для самовыявления в литературе! Он это прекрасно сознавал и там «не держал себя за руку».

Вот я вернулся к началу этого письма-воспоминания. И теперь окончу его печально-обещанным. Он написал нам 24 февраля 1942-го:

Мои дорогие ребята!

Приближается час нашего расставания. Может он произойти неожиданно. И потому хочется заранее сказать вам какие-то теплые, хорошие слова.

Все, что произошло, страшно. Перенесу ли я все это, не знаю – боюсь, что нет. Слишком часто ударяет обухом по голове мысль о дочке, жене, матери. Какое горе на них обрушилось! Отец, муж, сын – дезертир, преступник! Как мне доказать, что это не так? Что мне делать? Пошлют на передовые – бесславно погибну, так и не искупив преступления своей кровью. Какой уж из меня герой! Посадят – тогда уж совсем смерть. Так хотелось бы работать, «служить у вас хотя б швейцаром». Но ведь никакой работы не доверят! Одним словом – конец, страшно нелепый и неожиданный. Вот как бывает, дорогие!

Сколько бы мне ни оставалось жить, быть может, совсем немного, я всегда буду помнить вас, мои родные. Ведь вы единственные люди, которые понимают, верят – я не преступник, не авантюрист. Я несчастная жертва этого злосчастного кипнисовского бардака¹⁷, будь он трижды проклят! Я всегда буду помнить такое ваше теплое участие в эти тяжкие для меня дни, я всегда буду помнить все хорошее, что было в нашей совместной двухмесячной жизни – поезд Куйбышев – Кузнецк, твои песни, Женя, Нижний Посад, приезд Дани и еще многое, многое.

Друзья мои, дорогие! Всем, кто помнит меня, объясните, что я не преступник, что все происшедшее – страшная моя ошибка. Если у меня будет хоть какой-нибудь адрес, давайте его всем, кто захочет мне написать... Это будет единственной моей радостью в жизни. Объясните всем – я стал жертвой нашей общей любви к Москве. Я не подумал, что именно во имя этой любви не должен был совершать свой мальчишеский преступный шаг. Теперь, наверное, никогда больше Москвы не увижу.

Но главное не это. Главное – дочь, жена, мать. У меня к вам три просьбы, ребята. Быть может, одна из них слишком серьезна. И все же умоляю вас: во имя дружбы выполните и ее.

1. Напишите коллективное письмо жене. Объясните обстановку в редакции, объясните, что я не преступник. Одним словом, найдите такие слова, чтобы хоть как-то смягчить ее горе. Надеюсь на тебя, Даня, в первую очередь. Письмо лучше послать с оказией. По почте не дойдет.

2. Моя дочка остается без средств к жизни. Ребята, можете или нет, но вы должны это сделать – это и есть моя самая серьезная просьба – высылать ей по куйбышевскому адресу хотя бы триста рублей в месяц, сколько сможете. И еще одна просьба – делать это как бы от моего имени, иначе родители жены денег не примут.

3. Отвечайте на каждое письмо мне. Знакомым сообщите, что я переведен в другую часть, оттуда напишу. Родителям, сестре, брату напишите то же самое. Но если у меня другого адреса не будет, писать я не смогу, напишите им вторично, объяснив хотя бы вкратце, в чем дело. Иначе они с ума сойдут, не получая от меня писем. Если же у меня будет адрес, все письма обязательно перешлите. Поручаю это тебе, Немочка. В письме Белле напишите, что деньги я дочке буду посылать – сколько смогу. (Я имею в виду, конечно, ваши деньги.)

Вот три просьбы. Еще раз умоляю не забывать о них никогда.

¹⁷ Кинпис – фамилия главного редактора фронтовой газеты, в которой работал отец Ларисы Миллер.

Чем жить так, как мне предстоит, лучше совсем не жить. Но все же попробую. Если окажется все бессмысленным, то выход будет один. В этом случае не осуждайте меня, а поймите. И вспоминайте, был такой Миллер, в общем, неплохой малый, любил жизнь, не всякую, а именно нашу, советскую, желал счастья своей стране и всегда старался чем мог помочь строительству этого счастья, любил книги, музыку, ненавидел войну и стал нелепой жертвой ее...

Если не доживу до победы, а, наверное, не доживу, желаю вам дожить до нее и в какой-нибудь мирный день вспомнить и обо мне. И еще желаю не становиться жертвой своих мальчишеских желаний. В наше суровое время это не прощается.

Пишу какие-то розовые слова, а на душе дьявольщина, иногда кажется – мозг не выдержит.

Может случиться и это. Еще раз умоляю сделать все, о чем прошу. Не забывайте меня. Помогите и лично мне, если сможете. Уверен в вас. Крепко обнимаю, целую вас, Даня, Женя, Нема, Толя.

Ваш Миша.

Если окажетесь в М., обязат. повид. Беллу.

Вот перепечатал я это трагическое письмо с «петлей на шее», и надо бы что-то прибавить. Но остальное вы уже знаете сами. Тяжело на душе не только от воспоминаний. У меня есть ощущение нечистой совести: в памяти не сохранилось ничего, что давало бы ответ на мучительный вопрос – как мы четверо исполнили просьбы Миши? И главную из них – как долго посылали мы деньги Вам, крошечной, и как это делалось? Редакцию вскоре разогнали – все по той же причине. Мы подали коллективный заступнический рапорт начальнику политотдела армии полковнику Пономареву (думаю, что я не путаю фамилии). И тогда впервые узнали, что коллективные рапорты в армии запрещены. Была политически осуждена вся обстановка в «кипнисовском бардаке». Нас отправили в разные места. Нема Мельников попал в дивизию нашей армии. Мне пришлось уехать в резерв ПУРа¹⁸. Жене Аграновичу – не помню куда. Существенно, что уже в апреле – мае мы не были вместе. Каждый что-то делал, чтобы Мише помочь, но усилия эти были тщетны (смешно и наивно было бы полагать, что они сыграли хоть какую-нибудь роль в замене смертного приговора отправкой Миши и М. на передовую). Я связался с Маргаритой Алигер и просил ее все рассказать Фадееву (который хорошо знал Мишу), дабы А. А. что-нибудь предпринял. В 1949-м, когда меня исключали из партии за космополитизм, к мои винам была прибавлена «защита дезертира во время войны». (Это сделал отнюдь не Фадеев, а критик Даниил Романенко, который весной 1942-го расследовал всю эту историю в нашей редакции по поручению Политуправления фронта и от кого-то узнал о моей попытке привлечь к заступничеству А. А.) Помню еще, что я виделся в Москве с Беллой – раз или два. Все ей рассказал, но дружеские отношения у нас с ней почему-то не сложились. Мишиного письма я ей показывать не мог, потому что папочек «Зольдатен Брифе» – трофеев 1942 года – с собою в командировки не возил. (Кстати, такие папочки, взятые в разбитом немецком бронетранспортере под Сухиничами, были и у Миши.) И естественно, задавать вопроса о деньгах я не мог бы, а говорила ли она о них хоть что-нибудь – не помню. Боюсь, мы выполнили ту Мишину просьбу раза два-три, не больше, словом – пока были еще вместе. А может быть, и дольше, но как это происходило – уже не вспомнить.

Недавно я спросил об этом Нему Мельникова (в тот вечер, когда нашел и перечитал Мишино письмо). Ничего внятного и он припомнить не смог. Меня только утешает, что ощущения нечистой совести по этому поводу во время войны я не испытывал. Значит, что-то

¹⁸ ПУР – Политическое управление рабоче-крестьянской Красной армии.

доступное нам мы все-таки делали... А если провинились, прощенья у Миши уже не попросишь. Прошу его у Вас.

Мая '85

Д. Данин

* * *

Отцу

Письмо, послание, прошение
От потерпевшего крушение.
Письмо, послание, призыв
От гибнущего к тем, кто жив.
Из заточенья, из неволи
Сигнал смятения и боли,
Мольба, отчаяние, крик...
Я устремилась напрямик
На голос тот. Но вышли сроки,
Оставив выцветшие строки
Про горе и малютку дочь...
Мне сорок пять. И чем помочь?

* * *

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжело виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

* * *

А тогда, на начальном этапе,

Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нем ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нем без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

И всем, чем дышалось...

Когда я думаю о каком-нибудь поэте, то в памяти моей (правда, весьма слабой на стихи) прежде всего возникают не строки, а звучание, не слова, а мелодия, ритм, наиболее характерные для поэта. При мысли о Пастернаке слышу вот что: «та-та-ТА-та-та ТА-та-та та-та-ТА-та-та ТА-та...» Слова вертятся в голове, но, лишь порывшись в сборнике, могу их воспроизвести:

*Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка¹⁹...*

А иногда звучит совсем другое: «та-ТА-та-та та-та-та-ТА та-ТА-та-та та-ТА та-ТА-та...». Что это? Беру в руки книгу и, полистав, читаю:

*В московские особняки
Врывается весна нахрапом,
Вытравливает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки²⁰...*

Пастернаковская музыка богата и разнообразна, но она всегда пастернаковская, и, слыша ее, чувствую, пользуясь словами другого поэта, «сердцебиение при звуке»²¹. И вовсе не потому, что Пастернак для меня самый-самый. У меня не было с его поэзией того романа, какой был в 1971-м с Заболоцким или позже с Г. Ивановым. Напротив, я никогда не могла читать его подряд, быстро уставая от бешеного напора и густой образности. И тем не менее он часть меня.

Кто-то сказал, что невозможно по-настоящему понять поэта, не пожив в его родных краях, не подышав тем воздухом, каким дышал он. Возможно, это преувеличение, но доля истины здесь есть. Пастернаковская поэзия, его московское аканье, его многочисленные гласные, похожие на распахнутые окна, в которые «врывается весна нахрапом» или бесшумно влетает тополиный пух, – это мое московское и подмосковное детство, моя ранняя юность с ее романтикой, захлебом и мгновенными перепадами настроения.

*Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра кольшется
На окне занавеска.
Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят²²...*

¹⁹ Орывок из стихотворения Бориса Пастернака «Лето в городе».

²⁰ Орывок из стихотворения Бориса Пастернака «Земля».

²¹ Строка из стихотворения Арсения Тарковского «Как сорок лет тому назад...».

²² Орывок из стихотворения Бориса Пастернака «Лето в городе».

Летом 1954 года мы снимали дачу в Переделкине неподалеку от писательского городка, и почти каждый день я приходила на тихую улицу Павленко, чтобы там, не опасаясь машин, учиться кататься на велосипеде. Я доезжала до трансформаторной будки, неуверенно разворачивалась и ехала обратно мимо дачи Пастернака до конца аллеи. И так много часов подряд. Что я знала тогда о поэте, чью улицу изучила до мельчайших подробностей? Да ничего существенного. Только то, что он известный, что в нашем книжном шкафу стоят его сборники, что катаюсь мимо его дачи. Причем с каждым разом все ловчей, быстрее, уверенней. И в конце концов я, как птенец из гнезда, вылетела с тихой и безопасной улицы Павленко на простор, чтоб, пытаясь опередить поезд, с ветерком промчатся по откосу на станцию и встретить маму.

В том же 1954-м, когда мы с мамой прогуливались под летним дождичком, нашу тропу пересек человек в плаще и резиновых сапогах. Мама быстро сжала мне руку, как она всегда делала, когда хотела незаметно привлечь к чему-то или кому-то мое внимание. «Корней Иванович!» – крикнул человек в плаще, подойдя к забору дачи Чуковского. «Пастернак», – шепнула мама, когда мы отошли на несколько шагов. Вот, собственно, и все мои ранние впечатления, связанные с Пастернаком. Мало? Мало. Но и бесконечно много, если учесть восприимчивый полудетский возраст. Эти «мимолетности» очнулись во мне позже, когда я, сняв с нашей полки сборник, наконец-то прочла:

*Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всею далью беспредельной²³...*

Но, как выяснилось много лет спустя, в конце 1970-х, с поэзией Пастернака меня связывало нечто гораздо большее, чем полудетские впечатления. Оказывается, «сердцебиение при звуке» – это у меня от отца, которого я не знала. О любви отца к поэзии, и в особенности к Пастернаку, рассказывали мне все, с кем я о нем говорила. «Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях», – писал мне его бывший сокурсник. «Миша был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть... А Пастернаку готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно», – вспоминал другой его приятель.

Не потому ли у меня и не случился роман с Пастернаком, что отец «переболел» им еще до моего рождения, оставив мне лишь память об этой «высокой болезни»? Не потому ли я не помню стихов наизусть, что их слишком хорошо помнил отец? Настолько хорошо, что это мешало ему писать собственные, которые он никогда никому не показывал, а впоследствии уничтожил? Не завещал ли он мне, памятуя о своем горьком опыте, это странное свойство – забывая слова, помнить звук?

Поэзия Пастернака – это молодость моих родителей, безумная любовь отца к маме, любовь, толкнувшая его на гибельный шаг. Я написала об этом в воспоминаниях об отце. «Ты – благо гибельного шага», – написал Пастернак в 1949-м, но я читаю эту строку так, будто она – об отце, о любви, стоившей ему жизни.

*Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,*

²³ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Ветер».

Ты всегда рассуждаешь по-детски²⁴...

А это – о маме. О моей лукавой, взбалмошной, веселой, несчастной маме, которая любила, забравшись с ногами на диван, помечтать вслух, пофантазировать. Ну хотя бы о том, как в один прекрасный день ей, отлученной в эпоху космополитизма от журналистской работы, вдруг каким-то чудом снова удастся оказаться в своей стихии. И если во время этих грез раздавался телефонный звонок, мама, сняв трубку, произносила коротко и по-деловому: «Редакция». Конечно же, это была игра, театр для себя, без которого она не могла жить.

30 мая – день маминого рождения, праздник, который всегда отмечался пышно. Хотя бы потому, что комната была заставлена пышными букетами сирени. 30 мая – это гости, звонки, поздравления, музыка, застолье. Так было каждую весну. Так было и в 1960-м. Но на следующий день на столе, с которого еще не успели снять праздничную скатерть, появилась газета, извещавшая о смерти члена литфонда Пастернака Б. Л. Все смешалось для меня: день рождения, день смерти, ощущение праздника, чувство утраты, поздравительные звонки и звонки, несущие скорбную весть. И все это на фоне сирени – густой, белой, темной, душистой.

*И та же смесь огня и жутки
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой...
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия²⁵.*

Отец, его любовь и гибель, мамины фантазии, ее праздники, ее сирень... При чем здесь Пастернак? Да при всем. Потому-то и возникает у меня особое щемящее ностальгическое чувство, когда я попадаю в его ауру, в его звуковое поле. Именно звуковое, так как звук первичен. На этом настаивают сами поэты:

*Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись²⁶...*

*Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе²⁷...*

*Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе...
Так начинают жить стихом²⁸.*

²⁴ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Без названия».

²⁵ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Земля».

²⁶ Отрывок из стихотворения Осипа Мандельштама *Silentium*.

²⁷ Отрывок из стихотворения Владимира Набокова «Слава».

²⁸ Отрывок из стихотворения Бориса Пастернака «Так начинают. Года в два...».

«Тьма мелодий», глубины памяти, колодец времени – все это поток жизни, неиссякаемой и вечной, как стихи.

1997

5. Роман с английским

Целина 58-го года. Из повести «Север, юг, восток и запад»

Прежде чем отпустить восемнадцатилетнего заморыша на целину, мама решила его подкормить. Прослышав, что в Литве есть райский уголок по имени Паланга, мама побежала за билетами. Ночь в дороге – и мы в раю, в маленьком курортном городке местного значения. Кругом звучала нерусская речь. «Это литовский?» «Наверное», – ответила мама. Нет. Это не только литовский. Слышу знакомые интонации, но слов не понимаю. Идиш. Конечно же, идиш, к которому прибегали бабушка с дедушкой, когда не хотели, чтоб я понимала. В городке звучали идиш и литовский. И лишь изредка русский. О Паланге в России тогда почти не знали. С трудом объяснившись с пожилой литовкой, мы сняли у нее комнату на двадцать дней и побежали к морю. Желтый песчаный пляж. «Дюны», – сказала мама. Тихое-тихое море, в котором почти никто не купался. Я разделась и вошла в воду. Вода – ледяная, дно – песчаное. Я долго-долго шла и наконец решила лечь на живот и немного проплыть, ударяясь коленками о песок. Для меня, привыкшей к Черному морю, это было не купанье. Но зато можно было валяться в дюнах и гулять в огромном зеленом парке.

Решив подкормить ребенка, мама рано утром убегала на охоту и возвращалась с добычей: сырками, диковинными бутылочками разной величины, в которых были сливки, простокваша, молоко шоколадное, топленое, простое. Но и этого ей было мало. Она узнала, что существует некий частный пансион, где кормят обедами, и в назначенный час мы вошли в просторную комнату, где пахло так, что голова кружилась. Кругом звучал идиш. Две пожилые женщины разносили еду: румяные блинчики, компот, рыбу. Наконец одна из подавальщиц подошла к нашему столику и обратилась к нам на идише. «Простите, мы не знаем идиша. Мы из Москвы», – объяснила мама. «Из Москвы? Какие же вы евреи. Вы – гоим. Я вам ничего не дам. Это еврейский пансион». «Но принесите хотя бы дочке. Она голодная», – взмолилась мама. Подошла вторая подавальщица и, тихонько посоветовавшись с первой, принесла нам еду. Больше мы туда не ходили. О, как часто вспоминала я на целине палангские бутылочки с разнообразным молоком и румяные блинчики в негостеприимном пансионе.

* * *

«НЕ ПИЩАТЬ!» – крупными буквами написано на нашем вагоне. Эшелон, ожидавший нас на Рижской товарной, казался бесконечным. Меня провожали мама и Натан, который тащил мой рюкзак. На рюкзаке, как в детсадовскую эпоху, была нашивка с фамилией: на институтском собрании будущих целинников нам велели пометить вещи. Возле вагонов плескалось море людей: играли на гитаре, пели, обнимались, плакали. Мама изо всех сил старалась держаться, но, когда кто-то по соседству жалостливо сказал: «И куда таких детей гонят?» – она заплакала и уже не могла остановиться. Наконец дали команду «По вагонам», и мы полезли в свои теплушки. Задвинули огромные щиты, и эшелон тронулся. В вагоне было почти темно. Только у самого потолка гнездились узкие оконца, к которым ринулись все, пытаясь увидеть своих. Встав на какую-то выемку в стене, я тоже на мгновение пробилась к свету и вдалеке увидела маму, которая бежала, плакала и что-то кричала. За ней шел Натан с поднятой рукой. Я попыталась помахать в ответ, но сорвалась с выемки, на которой стояла. Когда глаза привыкли к полумраку, стало ясно, что в вагоне три ряда нар. Я почему-то устроилась под самым потолком, где было душно и снились кошмары. На второй день пути нам надоела темнота, мы

отодвинули щит, и в вагон хлынул свет. Перед глазами поплыли поля, леса, поселки. Однажды мы проезжали мимо густо заросшего холма, на склоне которого почему-то полыхало несметное множество костров. Тревожное и величественное зрелище. Многие ребята целый день сидели на краю вагона, свесив ноги. Состав то мчался, то еле полз, то подолгу стоял среди цветочных лугов, и тогда мы прыгивали с поезда и бежали собирать букеты цветов, похожих на подмосковные, но эти были ярче, крупнее, первобытнее. К сожалению, наша лафа скоро кончилась. Пришло начальство и приказало поставить щиты на место. Оказывается, в одном из вагонов произошло ЧП: кому-то встречным поездом оторвало ногу. Об этом несчастном случае, как и обо всех последующих (а их на целине было немало), всегда говорилось глухо и имен пострадавших не называли. Состав был огромным. В нем ехали студенты разных факультетов и курсов нашего Иняза, а может, и других вузов.

Все пять дней пути мы жили странной, ни на что не похожей жизнью. В полумраке вагона перестало существовать время. Мы не знали, где едем, когда остановимся и скоро ли тронемся снова. Однажды нас подняли среди ночи, велели взять миски и ложки и повели кормить. Спотыкаясь спросонья, хмурые и молчаливые, мы пришли в пустую столовую казарменного типа, где нам накидали в миски макароны с жилистым мясом, а в кружки плеснули компота. В следующую ночь нас разбудил чей-то вопль: «Урал!» Загрохотали щиты, и все посыпались из вагонов. Было почти темно. Не разбирая дороги, мы бежали туда, где чернела река. Вот и Урал. Не помню ни берегов, ни самой реки. Никаких зрительных впечатлений не осталось. Только ощущение мощного потока ледяной воды, окунувшись в которую я испытала восторг и ужас: ночь, чужие края, быстрое течение, из которого трудно выбраться. В воду кидались в чем попало: кто в трусах, кто в штанах и свитере. «По вагонам!» – закричали с берега, и все ринулись обратно. В вагоне долго переодевались, в полной темноте роясь в вещах и стуча зубами.

Не помню в какой географической точке мы с подружкой попали в избу, где нас угостили кислым молоком и домашним хлебом. Перед тем как усадить за стол, хозяйка в цветном переднике повела нас к бочке, из которой узорчатым черпаком набрала воду и плеснула нам на руки. Потом протянула вышитое полотенце. «Рушничок», – сказала она. Так я впервые услышала это ласковое слово. Возвращаясь в свой вагон, мы заблудились и оказались меж двух чужих эшелонов. В одном из них ехали пэтэушники, которых в те годы называли ремесленниками. «Эй, лови девок», – услышали мы. Парни засвистели, забегали. Один схватил нас за руки, другой сделал подножку. Мы повернули назад, но путь назад был тоже отрезан. Я изо всех сил дернула подругу за руку, и, не помня себя, мы нырнули под поезд. На это надо было решиться: целинные поезда были непредсказуемы и могли тронуться в любую секунду. Вынырнув с другой стороны, мы бросились искать своих. Вот и знакомые лица. Какие все хорошие, добрые, милые. Ввалившись в вагон, мы рухнули на нары, корчась от смеха и почти плача. На нас удивленно смотрели, но мы не могли остановиться.

На шестые сутки приехали. Нас встречали грузовики. На один погрузили вещи: рюкзаки, мешки с воблой, тушенкой и брикетами киселя. В другой сели сами. Дорога была ухабистой, и так подбрасывало, что казалось – еще немного, и выбросит совсем. Крепко держась за скамейку и щурясь от сильного ветра, мы орали песни:

*Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы...*

Наконец мы дома: в бескрайней степи стоит огромная, человек на сто, палатка, разделенная пополам. Одна половина – для мальчиков, другая, за тонкой перегородкой, – для девочек. Я оказалась между перегородкой и своей однокурсницей, которая громко храпела ночами. Когда же однажды она на моих глазах поймала курицу и свернула ей шею, чтоб после сварить, этот храп стал казаться мне особенно зловещим.

Итак, на три с половиной месяца у меня появился новый адрес: Сев. Казахстан, Кокчетавская обл., Красноармейский р-н, п/о Большой Изюм, Таинча, разъезд № 11, элеватор. И все это означало – бесконечная степь, ковыль, полынь, постоянно меняющиеся небесные краски, которые можно было наблюдать во всех подробностях. Что я и делала, так как мало спала, но подолгу бродила ночами. К тому же не одна, а со своим однокурсником, с которым впервые разговорилась в поезде, а подружилась на 11-м разъезде. «Сделай доброе дело, погуляй со мной», – сказала я ему в один из первых вечеров. На работу нас еще не гоняли. В палатке было тоскливо, читать не хотелось, и я чувствовала себя одинокой и неприкаянной. Мы бродили в степи. Ковыль клонился от ветра, пахло полынью, которую я срывала и нюхала, потерев между ладоней. Говорили без умолку. Оказалось, что в Москве у нас много общих знакомых, что в его доме живут наши близкие друзья, что мы любим одну и ту же музыку, одни и те же книги. Одним словом, не могли не встретиться.

*Look, Look, Look at the stars above,
Look, Look at my sweetest Love,
Oh, dear, give me a night in June, I mean it...*

Я пела эту старую английскую песенку, а он смотрел на меня сияющими голубыми глазами и смеялся. «Спой еще раз. Ты так смешно произносишь Look, Look, Look». Разлучала нас только работа. Первое время, когда зерна на элеваторе еще не было, нас посылали в колхоз полоть морковь. Увозили рано утром, привозили вечером. Обед наш состоял из тарелки молочного супа с вермишелью и кружки молока. К концу недели очень захотелось есть. Прослышав, что в Тайынше, до которой, по слухам, было 25 км, в столовой кормят бесподобными сливками, мы с подружкой надели резиновые сапоги на босу ногу (чтобы было не так жарко) и отправились. Шли семь часов, в кровь стерли ноги, под конец разулись и пришли в столовую босиком. В столовой было пусто. Взяв по стакану сливок, мы выбрали уютное место между окном с тюлевой занавеской и чудовищной копией шишкинских «Мишек». Ноги гудели, в животе было пусто. Растягивая удовольствие, мы неторопливо окунули алюминиевые ложечки в пышную белую массу и не спеша облизнули. М-м-м, какая вкуснота. Еще ложка, еще и еще. Надо сделать перерыв. После перерыва попробовали продолжить, но вскоре остановились. «Жирные сливки», – сказал я. «Да, слишком густые», – согласилась подруга. Мы смотрели на наши, потерявшие всякую привлекательность сливки и не знали, что с ними делать. Оставлять обидно. И с собой не унесешь: не было подходящей тары. Стараясь, чтоб нас не увидела тетенька из раздаточной, мы, прихрамывая, выползли из столовой. Обратный путь казался неодолимым: топтать босиком те же 25 км без мощного стимула не было сил. Выйдя на дорогу, проголосовали. Остановился грузовик. За рулем сидел молодой веселый парень. Мы плюхнулись рядом с ним в кабину и с облегчением вздохнули: слава богу, довезет. Но не тут-то было: от парня несло спиртным, а машину страшно мотало. Мы попросили его остановиться, но он нажал на газ и рванул с еще большей скоростью. Только когда подруга начала на ходу открывать дверцу, он резко затормозил. «Дуры, – кричал он нам вслед. – Психички». Часть пути мы все-таки проехали. Домой приползли затемно.

Вскоре пошло зерно, и началась работа. Работали в три смены. В нужный час собирались у конторы, и нас развозили по сушилкам, к которым подъезжали машины с зерном. В самый бойкий период грузовики шли непрерывным потоком: едва успевали разгрузить одну машину,

подъезжала другая, за ней третья и так без конца. А назавтра все сначала: проснулся, натянул сапоги с налипшим внутри зерном, надел телогрейку, взял рабочие рукавицы – и на элеватор. Вот твоя сушилка, твой бесконечный ряд машин, и начинается обычная процедура. В руки – плиту (большой совок для разгрузки зерна), ногу – на колесо, другую – за борт, и пошел махать плицей, пока не выбросишь из кузова все зерно, которое тут же попадало на ленту транспортера и, перелопаченное специальной острой лопастью, отправлялось на сушилку. Шоферы тем временем дремали в сторонке. В страдную пору им приходилось работать круглые сутки, и они пользовались любой возможностью немного отдохнуть. Мы относились к грузовикам как к живым существам: этот – любимый, этот – никакой, а этот – ненавистный. Никакой – это обычный грузовик, любимый – самосвал, который разгружается сам, без нашей помощи. Ненавистный – самосвал с изъяном, когда кузов поднимается недостаточно высоко, чтоб саморазгрузиться, но слишком высоко для того, чтобы устоять в нем. Тем более что полы в самосвалах скользкие. Стоишь в нем, машешь плицей, а сам постепенно соскальзываешь вниз и вот-вот рухнешь под транспортер, под его острую лопасть. Прошел слух, что в Тайынше именно так и случилось с кем-то из студентов. Как всегда, все было глухо. Однажды я работала в паре с длинным и тощим парнем, который, соскальзывая с дефективного самосвала, цеплялся за меня и приговаривал: «Ой, мамочки, падаю, ой, Ларисочка, держи». А ночью в палатке он кричал. Наверное ему снились самосвалы. К концу рабочего дня я не чувствовала ни рук, ни ног, ни спины.

Но стоило немного отдохнуть, и откуда-то брались силы на прогулки и даже на кино, до которого надо было пилить несколько километров по степи – оно находилось в соседней деревне. Что это было за кино! Одна афиша чего стоила – ошибки чуть ли не в каждом слове «ФОМФАРЫ ЛЮБВИ», «ЗОЛОТАЯ СИНФОНΙΑ». Помню, что буквы на афише были все крупные и цветные. Перед сеансом – танцы. Местные парни в длинных пиджаках и кепках прижимали к себе подруг и, активно работая оттопыренным локтем, с серьезным, почти застывшим лицом резво двигались по тесному предбаннику, усыпанному шелухой от семечек. Семечки лутили все: и танцующие, и стоящие у стенки. Их лутили и во время сеанса. Чем увлекательнее сюжет, тем быстрее работали челюсти. А фильмы были похожи на сон, на сладкую грезу. Смутно вспоминаю какой-то зимний горный курорт, богатый отель, счастливую любовь, юную красавицу на фигурных коньках, делающую немислимые пируэты на голубом льду. А музыка! Под какую пленительную музыку шла эта пленительная жизнь. Скинув сапоги и расстегнув телогрейки, мы с моим другом сидели в тесном деревенском кинотеатре и, замерев, глядели на экран. Да, именно такое кино нужно было показывать на 11-м разъезде. Оно было про нас. И неважно, что фильм иностранный. Все равно он был про нас, про ту жизнь, которая начнется, как только вернемся в Москву. Московские улицы, голубые троллейбусы, парк Сокольники, возле которого учились, газовая колонка в коммуналке, горячий душ, бабушкина жареная картошка – все это такая же далекая мечта и золотая симфония, как экранная страна горных курортов, шикарных отелей и пируэтов на льду.

В кромешной темноте возвращаясь из кино, мы неожиданно услышали позади себя рев мотора и чьи-то крики. Вскоре темноту осветили фары. Свет фар был шальным, неровным. Когда машина приблизилась, мы поняли, что в кузове люди, которые кричали и барабанили по кабине, пытаясь остановить пьяного шофера. Обезумевший грузовик, ревя и мотаясь из стороны в сторону, неумолимо приближался. Деваться было некуда. Слева и справа заборы. Между ними узкая дорожка. Мой друг прижал меня к забору и загородил собой. Машина проехала почти вплотную. След колес был возле самых его ног. Через некоторое время раздался грохот, и мотор заглох. Подойдя ближе, мы увидели разрушенный сарай и окруживших кабину пассажиров. У меня так дрожали ноги, что я едва дошла до дому.

К тому времени, а это, наверное, уже был сентябрь, нас расселили по домам. Мы, восемь девочек, жили в доме начальника элеватора Тюкавкина. Спали не раздеваясь, на тюфяках на

полу. Режим у всех был разный: одни работали утром, другие днем, третьи ночью. Когда работа начиналась в два часа ночи, нам стучала в окно предыдущая смена. Проснувшись, я первым делом пудрила в темноте нос, достав из-под подушки пудреницу. Эта процедура, наверное, заменяла мне умывание. Работая в ночную смену, я хронически не высыпалась, и к концу второй недели у меня начались слуховые галлюцинации. В хрипе и скрипе транспортера мне чудились голоса близких. «Девочка», – звала мама. «Ларочка», – кричала бабушка. В ту ночь я работала совсем одна, и мне стало страшно. Иногда удавалось вздремнуть в конторе, где была большая белая печка, к которой могло привалиться сразу несколько человек. Однажды я проснулась от того, что меня трясли за плечи. С трудом открыв глаза, я почувствовала, что спине горячо и пахнет гарью. «Горишь, горишь», – кричали мне. Я пыталась скинуть телогрейку, но пальцы не слушались. Мне помогли, и я увидела, что часть телогрейки выгорела. В выгоревшей телогрейке у меня стал совсем бывалый вид.

Но тяжелее всего приходилось вкалывать, когда пошли поезда и началась разгрузка-погрузка. Влезешь в темный и душный, наполненный зерном поезд, и плеча за плечей подбрасываешь зерно на транспортер, по которому оно уходит на просушку. Целый день пашешь, а толку чуть. Один из наших пятикурсников так устал, что не заметил, как уснул в вагоне на куче зерна. Он работал на погрузке поезда, и зерно по транспортеру бежало внутрь вагона, где нужно было равномерно раскидывать его по всем углам. Пока он спал, зерно прибывало и прибывало. Когда вернулся с обеда напарник, он с трудом откопал погребенного друга, который был почти без сознания и кашлял кровью. Как ни странно, все эти ЧП не нарушали обычного хода нашей целинной жизни, то ли потому, что начальство всегда пыталось скрыть любое происшествие, то ли в силу нашего полудетского легкомыслия. Наверное, в силу того же легкомыслия некоторые явления жизни почти не доходили до моего сознания. Мне не приходило в голову поинтересоваться, почему в тех краях жили чечены. Почему молодые чеченские парни грозились не отпустить живым ни одного москвича, почему они совершали набеги на нашу палатку: то, размахивая кнутом, проносились по ней на велосипеде, то бросали в палатку камень с привязанной к нему бритвой.

Несколько раз я работала со своей однофамилицей – миловидной молодой женщиной. На мой удивленный вопрос, откуда у нее такая фамилия, женщина ответила, что она немка с Поволжья. Мне этого вполне хватило, и не возникло ни малейшего желания узнать, почему и когда немцы оказались здесь, в Казахстане. Нет, меня в ту пору занимали совсем другие вещи: подолгу наблюдая за ночным и заревым небом, я научилась с точностью до нескольких минут определять время. Однажды, еще в пору палаточной жизни, я и мой друг несли ночную вахту (ночные дежурства возникли из-за набегов чеченов). Мы грели чайник на маленькой железной печурке, установленной возле палатки под открытым небом, заваривали цифирь и не спеша его попивали, сперва провожая, а потом встречая солнце. За три с половиной целинных месяца я настолько успела привыкнуть к простору и воздуху, что, вернувшись в Москву, задыхалась. Мне не хватало неба, степных запахов, высоких трав. Я привезла с собой веточку сухой полыни, спрятала ее в наволочке и ночами доставала и нюхала, тоскуя по степи и небу – молчаливым участникам бесконечных прогулок.

«Ты знаешь, мне кажется, я люблю тебя», – сказал мне мой друг. «А мне не кажется, я правда люблю тебя». Он робко прикоснулся губами к моим губам. Я засмеялась: «Целина – школа жизни».

Кончились летние месяцы. О, как хотелось домой. Мы считали дни, полагая, что вот-вот уедем, и вдруг, как гром среди ясного неба: остаемся до середины октября. В Москву полетели отчаянные письма. Случайно бросив взгляд на письмо, которое писала моя соседка по комнате, я увидела крупные, расплывшиеся от слез буквы: «МАМА! КАТАСТРОФА! ОСТАЕМСЯ ДО НОЯБРЯ!» Жалея домашних, я написала довольно спокойное письмо, в котором просила прислать чего-нибудь вкусенького и, главное, мое голубое платье. Через некоторое

время из Тайынши пришло извещение на посылку. За ней отправился наш однокурсник Женя, которого по состоянию здоровья сняли с работы на элеваторе и сделали почтальоном. Когда я вернулась с вечерней смены, то увидела посреди комнаты ящик и сидящего возле него Женю. Попросив у хозяйки что-нибудь острое, вскрыли посылку: в ней лежали фрукты, посланные мамой из Кисловодска. Мы разложили все по кучкам: кучка яблок, кучка груш, кучка слив. Предстояло все это поделить на восемь частей. Нет, на девять: Женя тоже ждал своей доли. Ночью мне снился мучительный сон: разрезание яблока на девять равных частей. Еще через несколько дней пришла посылка с моим голубым платьем. Как было сладко, сняв с себя постыльную рабочую робу, нырнуть в прохладный голубой шелк! Нацепив платье, я отправилась в столовую, битком набитую нашим изголодавшимся народом: давали горячие булочки. У самой раздачи стоял мой друг, по сияющим глазам которого я поняла, что не зря мерзла в легком платье. «Феноменально», – воскликнул он. Не успев понять, относилось ли это восклицание ко мне или к булочкам, которые он только что получил, я увидела в его руках пустую тарелку, а на полу, в грязной жиже, румяные булки. Все смеялись, но и сочувствовали. Булками мы в ту пору все-таки объелись – нам их купило сразу несколько человек. А вообще, есть хотелось все время. Тем более что давали одно и то же: манную кашу и макароны. Свою воблу, кисели и тушенку мы съели еще летом. Правда, я свою порцию тушенки обменяла на кисели: банку тушенки на пачку киселя. Потом мне сказали, что я продешевила, так как спокойно могла брать за банку тушенки не одну, а несколько пачек плодово-ягодного. Как странно, тушенка, которую я ненавидела, оказалась гораздо ценнее моего любимого киселя. Несмотря на усиленную физическую работу, я поправилась на три килограмма. Мой друг смеялся надо мной: «У тебя щеки сзади видно». Свое голубое платье я, кажется, надела всего один раз. Носить его было некуда. К тому же похолодало.

Где-то в начале сентября к нам приехал наш комсомольский вождь – аспирант немецкого факультета. Он собрал нас в красном уголке. «Знаю, что многие недовольны задержкой. Что вас не устраивает?» – спросил он. «Домой хотим», – закричали с места. «Это не ответ. Давайте конкретней». – «Холодно в резиновых сапогах». «Так, значит, все упирается в утепленные вещи, – произнес вождь, сделав пометку в своем блокноте. – Что еще?» Раздался нестройный хор голосов. «Не слышно. По одному». «Грузовики доски возят, – крикнул кто-то, – кладут их поперек и летят как угорелые. Недавно одному парню чуть голову не снесло». «Хорошо. Запишем: ездят машины, срубает товарищей», – подытожил аспирант. «Каша надоела», – раздался голос. «Закупим воблы». Это нас убило. Раз собираются закупать воблу, значит, застряли надолго. А может, навсегда.

Пришло извещение, что меня вызывают на почту для разговора с Москвой. В назначенный час мы с моим другом отправились на почту, то есть в просторную избу, где работала одна единственная девушка-телеграфистка. Ждали долго и почти потеряли надежду на разговор. И вдруг... Москва. Мамин голос. Вопросы, слезы: «Как ты, что ты?» Ну что расскажешь за пять минут? «Лучше ты расскажи, как там в Москве. Натан? Что Натан? Он рядом с тобой? Нет, не надо давать ему трубку. Просто передай привет». Господи, я и думать о нем забыла. Как и о чем я могла говорить с ним отсюда, из этой новой жизни, когда рядом сидит мой друг, светловолосый, голубоглазый и порывистый. «Ты похож на Вана Клиберна», – сказала я ему однажды. Он просиял, и я поняла, что попала в точку. Позже, уже в Москве, принимая участие в институтских вечерах, мой друг стремительно, как Клиберн, выбежал на сцену и исполнял те же, что и он, «Грезы любви». Клиберн был его кумиром.

Июнь, тополинный пух на улицах Москвы. I конкурс Чайковского, консерватория, вдохновенная игра молодого долговязого американца – все это так недавно и так давно. Однажды из черной тарелки, висевшей на воротах элеватора, донеслись звуки скрипки. Играл Давид Ойстрах. Открытие сезона в консерватории. Шел холодный осенний дождик, а мы стояли под худой крышей какого-то заброшенного сарая, не в силах шевельнуться. Он обнимал меня за

плечи и, наклонившись к самому моему уху, тихонько подпевал скрипке. Неужели есть консерватория, метро, телефонные звонки, тихое вечернее чтение возле настольной лампы, горячий душ? Горячий душ – предел мечтаний.

Раз в неделю мы ходили в крошечную, почти игрушечную баньку, в которой помещалось человек восемь. Остальные ждали – кто в тесном предбаннике, кто на ступеньках, кто на вольном воздухе. Одни болтали. Другие занимались делом, например синхронным переводом. Наши пятикурсники любили устраивать конкурс на самый точный и быстрый устный перевод. Мы, салаги-второкурсники, с восхищением следили за этим турниром. Глядя, как один читает самый сложный текст по-русски, а другой почти одновременно с ним говорит то же самое по-английски, я клялась себе, что, едва приеду в Москву, начну штурмовать науку: пойду в лингафонный кабинет, надену наушники, обложусь словарями и... начну шпарить как они. «Good intentions, but...»²⁹ – как говорил наш милый, добрый, почти слепой преподаватель.

Существовала тайная причина, по которой я любила банный день, – мочалка. У меня и моего друга была одна мочалка на двоих, и момент передачи ее из рук в руки являлся бессловесным подтверждением того, что я и он – одно целое, раз даже мочалка у нас общая. А в остальном баня была для меня мукой. Зная заранее, что из-за духоты мне станет дурно, я занимала место у самой двери, чтобы, когда начнет темнеть в глазах, успеть выйти в предбанник. Так я ходила туда-сюда, и мытье мое длилось долго. А о том, чтобы помыть в бане голову, и речи быть не могло. Раз я отправилась мыть волосы на речку. Речка была мелкой, узкой и прозрачной. Я встала на колени и опустила волосы в воду, а когда попробовала их намылить, обнаружила в волосах сплошные утиные перья. Подняв голову, я увидела проплывающих мимо уток. Замотав голову полотенцем, я отправилась домой. На работу ходила в платке, а после работы принималась отвоевывать у перьев прядь за прядью. Теряя терпенье, я вырывала вместе с перьями волосы, и мои толстые косы становились все тоньше и тоньше. Когда я приехала в Москву, бабушка ахнула. Мои длинные и густые волосы были ее гордостью. Наша семейная легенда гласила, что в войну, когда и без того забот хватало, бабушка сумела сохранить мои волосы: мыла их, расчесывала, заплетала. И вдруг такое зрелище. А я в восемнадцать лет чувствовала себя ветераном труда: потеряла часть волос и приобрела хронический радикулит. Этому чувству суровой бывалости отвечал и целинный гимн, сочиненный на известный мотив старинного танго нашим однокурсником.

*Я не знаю, когда в Москву вернемся,
Но скорее всего, мы здесь загнемся.
Нас не спасут ни фталазолы, ни пургены.
Нас схоронят в степи, нас схоронят в степи
аборигены.*

*Много наших крестов торчит над степью,
Ограждая поля угрюмой цепью.
И тихо вымолвил парторг, идя с погоста:
«К коммунизму дойти, к коммунизму дойти
не так уж просто».*

Эту песню мы распевали и в наш последний целинный день, трясясь в грузовике по дороге на станцию, где нас ждал не товарный состав, а обычный пассажирский поезд. Мы ринулись по вагонам, и когда я наконец выбрала себе место, то обнаружила, что потеряла рюкзак. Глянув в окно, я увидела, что он одиноко стоит на перроне. Надо было срочно за ним бежать,

²⁹ Благие намерения, но... (англ.).

но у меня не хватало решимости выйти из вагона: а вдруг поезд тронется, и я останусь. Мой друг стрелой выскочил на перрон, схватил рюкзак, и едва ступил на подножку, как мы поехали.

МЫ ЕХАЛИ ДОМОЙ. В это трудно было поверить. Все завопили УРА и бросились обниматься. Мечты начали сбываться сразу: нам выдали чистое белье. Застелив свою постель, я залезла на вторую полку и стала смотреть в окно. Начиналась жизнь, от которой дух захватывало. А еще я везла с собой деньги. Совсем небольшие, но самолично заработанные. Мне хотелось привезти их целиком, чтоб похвастаться дома, и потому за все три дня пути я не потратила ни копейки, питаюсь исключительно сгущенкой и белым хлебом. Мы с моим другом подолгу стояли в тамбуре, рисуя картинки будущей жизни.

Москва, как ее ни ждали, возникла откуда ни возьмись. На перроне толпы встречающих. Цветы, крики, стучат в окно, тянут руки. Мелькнуло мамино лицо. Или мне показалось? Господи, никак не выберешься из вагона. На спине рюкзак, в руках сумка с оставшимся хлебом и сгущенкой. Выхожу из вагона и сразу попадаю в объятия. «Девочка моя», – мама смеется и плачет. «Ущипни меня», – прошу я. «Зачем?» – «Ущипни, чтоб я поняла, что это не сон». Кто-то, не помню кто, взял мой рюкзак, и мы двинулись по перрону. Оглянувшись, я встретила глазами со своим другом, которого тискали и тормозили близкие. Ох, мы даже телефонами не обменялись. А на перроне опять звучало:

*Я не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой.
Глобус крутится-вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы ...*

1992

Фальшиводокументчица

Если на первом семестре второго курса я еще с грехом пополам посещала уроки физкультуры, то на втором решила завязать. Причина таилась в том, что две наши группы, мою и моего друга, неожиданно объединили. Это значило, что придется НА ЕГО ГЛАЗАХ скакать по залу с зажатым между лодыжек мячом, который, конечно же, будет постоянно выкатываться; прыгать через козла, непременно на нем застревая; лезть на брусья, чтоб на трясущейся ноге делать ласточку. А тут еще и учителя сменили. Если раньше у нас был молодой лысый картавый преподаватель, терпеливо приговаривающий: «Пуыгай, Миллеу, пуыгай», то на втором семестре его сменила молодящаяся дама, прозванная за свои ярко-синие спортивные брюки «синештанной». Она с нами не церемонилась, действуя по армейскому принципу «не можешь – научим, не хочешь – заставим». Посетив одно занятие, я поняла, что на второе не пойду. В часы физкультуры я торчала в библиотеке или, прильнув к щелочке в двери спортзала, наблюдала, как ловко мой друг отжимается, держит угол, крутится на брусках.

Так я дожидая до весенней сессии. И вдруг гром среди ясного неба: меня не допускают к экзаменам – нет зачета по физкультуре. Я бросилась искать «синештанную». Заглянула в спортзал, в учительскую, в столовую и наконец заметила ее синие брюки в буфете. Деликатно дождавшись, пока она дожует пирожок, я обратилась к ней с дурацким вопросом: «Как быть с зачетом?» «Не знаю», – ответила та, доставая из «глубоких штанин» пудреницу и помаду. «Но ведь меня не допускают к экзаменам». «Сама виновата», – резонно парировала «синештанная», покрывая губы толстым слоем краски. «Иди в деканат», – посоветовал мне кто-то из ребят. Подождав в приемной, я оказалась в необъятном кабинете, где за необъятным столом сидела пожилая сухая седая узкогубая деканша. «Слушаю», – произнесла она, оторвавшись от бумажек и приподняв очки. «Меня не допускают к сессии, потому что я не получила зачета по физкультуре». – «А почему не получила?» – «Не ходила». – «А почему не ходила?» Я промолчала. «Болела, что ли?» Я кивнула. «Принеси справку». – «А можно мне сдать зачет сейчас?» – «Вопрос не по адресу. Ступай к преподавателю». – «Я уже была у нее». – «И что же?» Я пожалала плечами и робко спросила: «А вы не можете распорядиться, чтоб она приняла у меня зачет?» – «А с какой стати? Ты пропускала занятия, а я прикажу ей поставить тебе зачет?!» – «Но я же хочу попробовать его сдать». – «Вот и пробовала бы раньше. Почему ты вообще пришла сюда?» – «Мне посоветовали к вам обратиться.» – «Зря посоветовали». Поняв, что разговор окончен, я снова отправилась вниз, в спортзал к «синештанной». «Можно сдать зачет?» «Какой зачет? – воскликнула та, явно получая удовольствие от моего растерянного вида. – Оценки выставлены, итоги подведены, ведомости сданы, я ухожу на пенсию. Так что теперь уж как-нибудь без меня». И снова тем же путем – коридор, лестница, приемная – в деканат. «Зачем ты опять пришла?» Я пересказала разговор с «синештанной». «Что же ты хочешь от меня? Липовых зачетов мы не ставим. Болела – носи справку. Иначе к сессии не допустим».

По дороге домой я думала только об одном: «Что сказать маме? Дальше скрывать невозможно». Как я и ожидала, мама была в бешенстве. «Как ты могла? Как посмела? Я целый год работала, как проклятая, нанимала учителей, чтобы ты поступила, а ты из-за какой-то ерунды...» Она метнулась к телефону и набрала бабушкин номер: «Мама, произошла катастрофа: эту дрянь могут выгнать из института. Не кричи, слушай и не задавай вопросов. Срочно нужна справка, что она болела. Причем серьезно, потому что пропущено много уроков. Попроси свою Полину Вульфовну. Объясни, уговори, сделай что угодно, но справка нужна срочно». Полина Вульфовна, бабушкин районный врач, добрая душа, к которой больные ходили не только с жалобами на здоровье, но и с жалобами на все на свете, написала в справке, что я, переболев гриппом, получила осложнение на сердце. Осложнение имело красивое название, которого я не помню. Получив драгоценную бумажку я, ошалев от счастья,

полетела в Сокольники. До экзаменов оставалось всего ничего, а я еще и не начинала готовиться. Только бы поскорее все это закончить, отдать справку и забыть о ней. В институте было пусто и прохладно. Занятия завершились, и лишь у доски с расписанием экзаменов толпились студенты. Мне повезло – в приемной никого не было, и деканша оказалась на месте. Войдя в кабинет, я с торжествующим видом протянула справку. Взяв ее в руки, деканша принялась внимательно изучать бумажку. «Кто тебе это дал?» – спросила она, подняв голову и вперившись в меня взглядом. Я похолодела и, чуя недоброе, решила не называть фамилию. «Там же написано». – «Написано неразборчиво. Так как фамилия?» – «Не помню». «Ты что, не знаешь фамилию своего участкового врача?» – «Это не мой врач. Когда я болела, то жила у бабушки». «Та-а-ак, – удовлетворенно протянула деканша, и ее тонкие губы растянулись в иронической улыбке. – Та-а-ак, что это за врач, мы еще выясним. Значит, ты болела гриппом и заработала осложнение. Если это так, ты должна была пропустить немало занятий и по другим предметам. Все это мы сейчас проверим». «Милочка, – обратилась она к секретарше, – достань-ка мне журнал 205-й группы и позови медсестру. Да пусть она захватит карточку Миллер».

Все происходящее казалось мне дурным сном, в котором к тому же появилось подобающее этому сну новое действующее лицо – хромая горбунья в белом халате. Она славилась тем, что каждому входящему в ее кабинет студенту ставила диагноз «злостный симулянт». Посмотрев на меня как удав на кролика, горбунья положила какую-то папку на стол деканши. Дальнейшее забыто. В памяти остался лишь самый конец сна и металлический голос, который произнес: «Ну что же. С тобой все ясно. Никаким гриппом ты не болела, никаких занятий, кроме физкультуры, не пропускала, на сердце не жаловалась. Справка твоя фальшивая и останется здесь. А ты можешь идти. Когда понадобится, пригласим». Мои ноги приросли к полу. «Что еще?» – спросила деканша. «А можно мне послезавтра сдавать экзамен?» – произнесла я, с трудом шевеля губами. Деканша хлопнула ручкой по столу и, откинувшись на спинку кресла, захохотала сатанинским смехом: «Экзамен, говоришь? Да ты же фальшиводокументчица. Тебя судить надо». Потом, перестав смеяться, деловым тоном добавила: «Завтра будет приказ об отчислении. Потом соберем общеинститутское собрание и решим, что с тобой делать дальше. Исключение из комсомола тебе обеспечено, а там посмотрим. Больше вопросов нет? Можешь идти».

Не помню, как я вышла из института, как добиралась до дому, что говорила маме. Помню только, что через некоторое время я снова оказалась на улице, но не одна, а с мамой. Мы дошли до метро, доехали до станции Сокольники, сели в нужный трамвай и сошли возле института. В кабинет декана мама вошла без меня. Я осталась ждать в самом темном углу коридора. Мамы не было целую вечность. Когда она наконец появилась, то, даже не попытавшись отыскать меня взглядом, направилась к выходу. Я двинулась за ней. Мы молча дошли до трамвайной остановки. И вдруг, повернувшись ко мне, мама ударила меня по лицу. «Дрянь, – повторяла она, рыдая, – дрянь ты этакая. Из-за тебя я валялась в ногах, по полу стелилась, на коленях ползала». Я молча смотрела на нее, и вдруг слезы хлынули у меня из глаз. Впервые за все это время я плакала, захлебываясь слезами и не могла остановиться. Подошел трамвай. Мы сели на заднее сиденье, и, обняв меня за плечи, мама зашептала: «Ну все, все, успокойся. Этой справки больше не существует. Нам повезло: во время разговора в кабинет вошла замдекана. Она оказалась очень милым человеком. Когда я упала на колени, она бросилась меня поднимать, а когда узнала, что твой отец погиб на фронте и я одна тебя растила, подбежала к столу и разорвала справку на мелкие клочки. «Пусть приходит и сдает экзамены, – сказала она, – беру все на себя». Сессию я сдала хорошо, но каждый раз возле аудитории, где проходил экзамен, появлялась похожая на призрак деканша и, улыбаясь тонкими бескровными губами, грозила мне пальцем. Как будто боялась, что я ее забуду.

1995

Роман с английским

На раннем этапе мои отношения с английским строились весьма драматично: это были сплошные незнакомства (да простят мне ахматовское слово в столь несерьезном контексте). Первая незнакомка состоялась на заре 1950-х летом в Расторгуеве, куда, как обычно, выехал детский сад, где работала бабушка. На сей раз я жила не в группе, а с бабушкой и всем «педсоставом», как тогда говорили. Среди педсостава оказалась воспитательница, знающая английский. У нее был с собой адаптированный «Оливер Твист», с помощью которого она регулярно пыталась собственного сына, а позже, по бабушкиной просьбе, и меня. Сирота Оливер не вызывал во мне ничего, кроме жалости. Но жалела я не его, а себя. Мало мне школы, на дворе лето, за калиткой визжат и возятся «воспитательские» дети, а я почему-то должна сидеть на жаркой террасе и тупо повторять: «*Work house* – рабочий дом». Вот, пожалуй, и все, что я вынесла из тех занятий.

Вторая незнакомка произошла в Москве. *Step by step* – торжественно произнес отчим название толстой потрепанной книги, по которой когда-то сам пытался учить английский, и, энергично поплевав на пальцы, перевернул страницу. Домашнее обучение началось. *This is a carpet*, – произнес он, тыча в висевший на стене ковер. *This is a table*, – сообщил он, хлопнув по столу ладонью. *Three little pigs* – объявил, указав на картинку в книге. Все слова он произносил громко и радостно, но с особым удовольствием слова с межзубным звуком, который для простоты заменял на «с» или «з». Мама была довольна: плюс к школьному я получала дополнительную порцию английского дома. Сама она, несмотря на какие-то мифические курсы Берлица, которые когда-то посещала, не могла мне помочь. Изредка произносимые ею английские слова звучали столь причудливо и вызвали у меня такое недоумение, что она виновато умолкала. Школьный же английский, породивший все эти дополнительные хлопоты, не помню совсем. Первые и последние воспоминания о нем относятся к 1953 году – году «дела врачей». «Англичанкой» в нашем 7 «Г» была Софья Наумовна – невысокая женщина с приятными чертами лица и проседью в пышных волосах. Когда началась вся эта свистопляска и газетная травля, она так нервничала, что едва могла вести урок. Мне даже казалось, что она боялась особо нахальных и злобствующих девиц (а таких в нашем классе было немало) и, заискивая перед ними, завышала им оценки. Меня Софья Наумовна в ту пору почти не замечала и редко спрашивала, но, встретив однажды на улице, назвала по имени и ласково поздоровалась.

Вот и весь мой ранний английский. И как я оказалась в инязе, сама не знаю. Впрочем, если разобраться, все объяснимо. Язык мне давался легче, чем другие предметы. Химичка звала меня «дубиной стоеросовой». Математичка, физик и учитель черчения наверняка думали так же, но отличались большей выдержкой. С историей, особенно древней, все было бы хорошо, если бы не имена и даты. А литература... О, литература – это особая статья. Я любила ее, но не школьную, не препарированную автором учебника и моей учительницей, которая за шаг влево или вправо от жесткого плана сочинения беспощадно вклеивала двойку. Сочинение и явилось тем барьером, который я не смогла взять на вступительных экзаменах на филфак МГУ.

О жаркое лето 1957-го! Прохладные металлические ступени университетской лестницы, где я сидела в полном трансе, не найдя своей фамилии среди допущенных к следующему экзамену.

О жаркое лето Всемирного фестиваля молодежи – события, абсолютно прошедшего мимо меня, потому что я, провалившись в Университет, сделала по маминой просьбе отчаянную попытку поступить в Институт иностранных языков. Экзамен, которого совсем не помню, – это экзамен по языку (опять незнакомка). Зато отлично помню, как сдавала историю, вытащив билет № 29 – («Триумфальное шествие Советской власти и поход Степана Разина

за зипунами»), – единственный, которого боялась, потому что не выучила и успела повторить лишь перед самым экзаменом, дожидаясь своей очереди в душном коридоре.

Итак, иняз. Вот когда, по логике вещей, должна наконец-то произойти моя встреча с английским. Но жизнь выше логики – или по крайней мере совсем другое дело. Иняз для меня все, что угодно, но только не постижение языка.

Иняз – это прежде всего освобождение от ненавистной школы, головокружительное чувство новизны, интеллигентные преподаватели, говорящие студентам «вы». Иняз – это многочасовые разговоры по душам с подружкой, веселая праздность и не менее веселый экзаменационный аврал. Иняз – это не столько Чосер, Шекспир и Байрон, сколько лихо распеваемые нами по-английски джазовые песенки, ради которых на наши институтские вечера рвалась вся московская золотая молодежь. Иняз – это три с половиной целинных месяца, степные просторы и долгие ночные прогулки под густыми звездами. Это любовь, которая сделала институт в Сокольниках самым счастливым, а позже самым несчастливым местом на земле.

Ну а как же английский? А как же дивные институтские преподаватели? Серьезный и умный Наер, фанатично влюбленный в язык коротышка Венгеров, темпераментная, с живыми глазами, громким смехом и постоянной сигаретой в руке Фельдман, высококлассные специалисты по стилистике и переводу Рецкер и Кунин, многочисленные американцы, вернее американские евреи, по высокоидейным соображениям переселившиеся в Россию в 1930-е годы? Неужели вся их наука прошла мимо меня? А как же мои регулярные походы в Разинку³⁰, где неотразимый Владимир Познер делал обзор новинок английской и американской литературы? Неужели все мимо? Наверное, нет. Наверное, я что-то все-таки усваивала даже помимо собственной воли. Но насколько же меньше, чем могла. Оглядываясь назад, вижу, что в студенческие годы мой роман с английским то затухал, то вспыхивал с новой силой. На первом курсе идея выучить язык казалась мне весьма оригинальной и привлекательной. И не только мне, но и моей подружке. Мы приняли твердое решение каждый день беседовать по-английски. Начали бодро. Обложившись словарями, пытались обсудить какую-то театральную постановку. Однако наши мысли и эмоции оказались настолько богаче словарного запаса, что мы постепенно перешли на русский.

Желание блеснуть совершенным знанием языка жило в каждом из моих сокурсников. «*Why not?*» («Почему нет?») – к месту и не к месту восклицал один, сопровождая вопрос усмешкой. *There is no doubt about that* («В этом нет сомнения»), – выкрикивал другой, небрежно стряхивая пепел с сигареты. Бросить какую-то случайную фразу, лихо состричь, «сорваться на английский», как у нас говорили, казалось особым шиком. Однако подобные попытки часто кончались полным конфузом. Помню, как одна наша студентка завершила свою шутку звонким *Isn't you?* Все засмеялись, но не остроте, а ошибке³¹, позорной, невозможной в стенах языкового вуза. Но... «и невозможное возможно». Блестая высокопарными, сложными и весьма книжными фразами, взятыми из учебников и книг по домашнему чтению, мы вряд ли могли без затруднения попросить поставить чайник или отреагировать на элементарное «спасибо». Вот откуда брались учителя, подобные учительнице, с которой я по окончании института работала в спецколле. Однажды к ней на урок пришли гости из Австралии. Уходя, они поблагодарили ее сердечным *Thank you*, на которое она ответила не менее сердечным и совершенно русским *Please*³². Тем не менее иняз весьма презрительно относился к МИМО, считая его на порядок ниже и рассказывая о нем уничижительные анекдоты. Хотя бы такой. Диалог между

³⁰ Так называли Библиотеку иностранной литературы, располагавшуюся в те годы на ул. Разина (ныне Варварка).

³¹ Правильно – *Are n't you*.

³² Правильно – *You're welcome*.

двумя прохожими в Нью-Йорке: «*Which watch?*» – «*Five clocks*». – «*Such much?!*» – «МИМО?» – «МИМО!»³³

Наверное, иняз действительно учил более рафинированному языку и давал более широкое и серьезное лингвистическое образование. Нам читали курс по истории языка, языкознанию, фонетике, психологии, литературе. Правда, нас также пичкали истматом, диаматом, историей партии. Много времени уходило на педагогику и практику в школе, которую я принимала как горькое лекарство. Но что было делать? Я училась на педагогическом отделении. На переводческий девочек не брали. И все же никакие истматы, никакая практика в школе, никакие изъяны в обучении не могли помешать овладеть языком тому, кто этого действительно хотел. Помню студентов старших курсов, с которыми была на целине. Помню, с каким восторгом я следила за их состязанием в синхронном переводе, когда один быстро читал весьма сложный русский текст, а другой столь же быстро вторил ему по-английски. Несмотря на некоторый академизм преподавания и явный дефицит живой разговорной речи, за пять институтских лет можно было многому научиться. Хотя бы тем необычным способом, каким когда-то учился наш преподаватель Венгеров. Говорят, что он, будучи студентом, часто приходил в преподавательское общежитие в Петровверигском и, отловив кого-нибудь из *native speakers* (носителей языка), просил разрешения тихонечко посидеть в углу и послушать живую речь. Так он погружался в естественную языковую среду.

Я тоже одно время регулярно посещала общежитие в Петровверигском. Этот факт достоин упоминания лишь потому, что ездила я туда с единственной целью – брать частные уроки у старого преподавателя нашего института Фридмана. И происходило это тогда, когда я уже кончила иняз и считалась дипломированным специалистом. Бедный славный Фридман испытывал страшные муки, занимаясь со мной. «Да вы все знаете, – говорил он, – ну зачем вам это? Я не могу брать с вас денег. Вы сами можете давать уроки». Но я была непреклонна и терзала старика целый год. Такие приступы случались со мной и позже, и тогда я принималась ездить через всю Москву, чтоб брать уроки у своих бывших преподавателей. Но это все потом. А в годы, предназначенные для учебы, я не только не лезла из кожи вон, но даже не отличалась особым прилежанием. Однажды после урока по домашнему чтению (мы тогда читали «Трое в лодке» Джером Джерома) молодая симпатичная преподавательница подозвала меня и деликатно попросила не смеяться так откровенно на уроке, читая заданную на дом главу: «Ведь сразу видно, что вы только что открыли книгу». Нет, я не была плохой студенткой, но все делала от сих до сих: учила требуемый список выражений, грамматику, статьи из *Moscow News*, политический словарь. Иногда в период очередного наплыва чувств к английскому сидела в лингафонном кабинете, слушая отрывки из классики в исполнении английских актеров и чтецов, и даже запоминала кое-что наизусть. Например, знаменитое *Bells* Эдгара По или не помню чье стихотворение, начинающееся словами *Do you remember an inn, Miranda? Do you remember an inn*³⁴? Но все это было как во сне. Слишком много другого происходило со мной в те годы: дружба навеки, любовь до гроба, крах того и другого, да еще этот постоянный поиск смысла жизни. Ну не в изучении же языка он, в самом-то деле. Так все и шло, пока не случилось нечто, заставившее меня очнуться. На одном из старших курсов, подойдя к преподавательнице, чтоб попросить ее поставить подпись под каким-то документом, я вдруг поняла, что не знаю, как это сказать по-английски. Испытав чувство физического к себе отвращения, я решила немедленно начать новую жизнь.

И начала. Следуя примеру некоторых моих однокурсников, принялась охотиться на живых носителей языка, чтоб, устранив дефицит живой разговорной речи, общаться с ними в неформальной обстановке. Моей первой добычей стала сестра знаменитого скрипача Иегуди

³³ Обыгрывается неправильная грамматика английского языка.

³⁴ Стихотворение Хилэр Беллок.

Менухина – пианистка, приехавшая вместе с ним на гастроли. Муж этой дамы имел собственную психиатрическую клинику не то в Штатах, не то в Англии, и она попросила меня сопровождать ее в одну из московских психбольниц, где ей обещали встречу с главным врачом. Войдя в больницу, не помню какую, мы были сразу же остановлены грубым окриком. Некто в белом халате принялся на нас орать, заявив, что мы вошли не в ту дверь. Моя спутница заволновалась: *What does he want? What does he want?* («Что он хочет?») Услышав английскую речь, бедняга замер с открытым ртом. Воспользовавшись паузой, я объяснила ему, кто мы и зачем пришли. Дальше все происходило как в плохом кино: кланяясь и улыбаясь, человек в белом халате повел нас в кабинет главного врача. Он преобразился столь стремительно, что на него было больно смотреть. *How nasty*, – твердила гостья, следуя за нами. – *It's all because I am a foreigner. How nasty*. («До чего противно! Это все из-за того, что я иностранка».)

Следующей моей добычей была американская чета, приехавшая на международный онкологический конгресс: хирург Норман и его жена Милдред. Я познакомилась с ними, регистрируя участников конгресса в гостинице «Украина». Миниатюрная Милдред постоянно рассказывала о своих четырех детях, а долговязый Норман, увешанный фото и киноаппаратами, хотел знать все. Заметив возле Белорусского вокзала бабулю с огромным грузом на спине, потребовал: «Лариса, пойдите и спросите, что у нее в мешке». И был очень разочарован, когда я сказала, что это неудобно. Увидев спящего на улице пьяного, достал фотоаппарат и попытался его сфотографировать, вызвав праведный гнев патриотически настроенных прохожих. К моему великому смущению, шнуруя башмак, он поставил ногу на сиденье автобуса, а к моему восторгу – удивительно чисто и красиво насвистывал фортепианный концерт Грига и разную прочую классику. Когда мы прощались, они оба признались, что, не понимая, как можно работать бесплатно, поначалу опасались, не из КГБ ли я. Однако, узнав меня получше, успокоились. Расстались мы большими друзьями, и несколько лет рядом я получала от них рождественские открытки с изображением всей семьи и собаки. Но это все были встречи кратковременные и мимолетные.

Самым значительным событием в моей «английской» жизни оказалась работа на британской торговой выставке в Сокольниках в 1961 году. Это была моя первая официально оформленная деятельность, за которую по истечении двух недель я даже получила зарплату. Придя на стенд с надписью «Электроника», я оказалась в обществе очень милых джентльменов. Помню трех: длинного худого Джеффа, изящного мистера Виллоуби и плотного пожилого господина семитского вида. Сентиментальный Джефф без конца всему умилялся: то березам в парке, то голубям возле Университета, то моей косе. Маленький, в добротной серой тройке и с трубкой во рту мистер Виллоуби был постоянно одержим желанием попутешествовать по России и завороченно твердил: «Омск, Томск, Минск». Эта страсть привела его однажды на Белорусский вокзал, где он, поддавшись дорожной лихорадке, сел в электричку и проехал несколько остановок. О своем приключении он рассказывал с гордостью десятилетнего мальчика, сбегавшего из дома. Пожилой джентльмен семитского вида все время пытался со мной уединиться, чтоб выяснить, как живут евреи в СССР. Однажды ему удалось загнать меня в угол и закрыть собой все пути к отступлению: «Говорят, у вас в стране сильный антисемитизм. Говорят, евреям трудно получить высшее образование. Это так?» «Но вы же видите, – ответила я, пытаясь выбраться из засады, – я же учусь». И тут раздался насмешливый голос мистера Виллоуби: *Russian girls know all the answers*. («Русские девушки знают ответы на все вопросы».)

Однажды, раздавая буклеты посетителям выставки, я заметила на себе чей-то внимательный взгляд. Думая, что человек ждет буклета, подошла к нему и услышала отчетливый шепот: «Вас будут ждать в шесть пятнадцать на скамейке возле павильона». Не вполне осознав, что случилось, я поняла, что послушаться нельзя, и ровно в шесть пятнадцать была в указанном месте.

К великому моему изумлению, на скамейке сидел Толя Агапов, наш недавний выпускник, с которым три года назад мы были вместе на целине. У меня отлегло от сердца: добродушный, широколицый, с ямочками на щеках, улыбчивый Толя вряд ли мог представлять опасность. Он и правда говорил со мной дружески и, как мне казалось, откровенно. Выяснилось, что Толя по распределению попал в КГБ и, сидя со мной на скамейке, выполнял свои прямые обязанности. Он расспрашивал меня о «моих» англичанах: о чем говорим, куда ходим. Когда я забыла упомянуть прогулку с Джеффом на Ленинские горы, он мне о ней напомнил. «Раз ты и так все знаешь, зачем же спрашивать?» – удивилась я. «Затем, чтобы ты чувствовала ответственность», – без улыбки пояснил он. «А вообще будь осторожна. Это же такое дело... еще влипнешь», – понизив голос, доверительно сообщил Толя. Несколько лет спустя я узнала, что он сперва запил, а потом покончил с собой. Самоубийство никак не вязалось с его обликом. Видимо, работа в органах не вязалась с ним еще больше.

В день закрытия выставки меня вызвали в специальную комнату и велели написать отчет, то есть письменно изложить то, что я прежде рассказала Толе. «О великий могучий русский язык» язык родного КГБ, ревниво оберегавшего меня от слишком активного общения по-английски. «О великий могучий», на который требовалось перевести незамысловатые английские диалоги. Подобный опыт сильно охладил мой пыл и поубавил желания общаться с англоязычными. И все же работа на выставке стала моей первой настоящей ВСТРЕЧЕЙ с английским. Я увидела, что на этом языке острят, грустят, сентиментальничают, заказывают еду в кафе, восторгаются балетом, рассказывают о семье и кошке. Причем вовсе не по тем скучным матрицам, что существовали в наших учебниках. И не на старомодном, хоть и красивом английском Диккенса и Голсуорси, которых мы штудировали на уроке. Существовал живой язык, и я с головой в него окунулась.

Воспоминания об этом были столь яркими, что спустя восемь лет я, несмотря ни на что, снова согласилась поработать в Сокольниках. Мне позвонили и сказали, что срочно требуется переводчица на уже открывшуюся международную выставку. На следующий же день я была в знакомом парке и в знакомом павильоне. Но, как известно, нельзя дважды ступить в тот же поток. На сей раз моим хозяином, именно хозяином, оказался молодой высокий плечистый немец, живущий в Штатах и представляющий американскую фирму. Он встретил меня весьма сухо и, коротко ознакомив с экспонатами, сел читать газету. Каждое трудовое утро начиналось с того, что мой хозяин с брезгливым видом проводил пальцем по столу и аппаратуре и подносил палец к моим глазам. Убедившись, что я не собираюсь делать надлежащих выводов, наконец изрек: «Лариса, в ваши обязанности входит вытирать пыль, подметать и готовить кофе». Попроси он иначе, я бы, может, и согласилась, но этот тон... «Меня прислали сюда как переводчицу», – ответила я. «Кто прислал? КГБ?» – вскинулся он. – Одну убрали, проштрафилась, плохо доносила. Вместо нее прислали другую. Будете отрицать?» «Я и не знала, что пришла на чье-то место», – начала я, но поняла, что оправдываться бесполезно. А он продолжал, все больше распаляясь: «Скажете, в этих стенах нет микрофонов? Нам все объяснили, когда мы сюда ехали. Раз, два, три, четыре, пять, – неожиданно закричал он, оглядывая потолок и стены, – я не хочу в вашу Сибирь. Слышите? Я вас не боюсь». И снова обращаясь ко мне: «Почему вы разрешили вашему правительству ввести в Чехословакию войска?» «Меня никто не спрашивал», – ответила я. «Надо, чтоб спрашивал», – парировал он. «А вас спрашивали, когда в Германии уничтожали евреев?» Он осекся и, помолчав, мрачно сказал: «*The nation went mad*» («Народ сошел с ума»). Было видно, что мой вопрос его задел. Он стал объяснять, что, хотя тогда и не жил, на нем тоже лежит груз вины, который невозможно сбросить. С этого дня мой немец стал со мной немного любезней, разговорчивей и даже изредка позволял себе улыбнуться. Тем не менее каждое утро приветствовал меня одним и тем же вопросом: «*Writing reports?*» («Пишете отчеты?»). Что касается этих самых *reports*, то мне не пришлось их писать до самого последнего дня. «Почему от вас не поступило ни единого отчета?» – осведомились у

меня, пригласив в ту же комнату, где я была в 1961-м. «Но мне никто не говорил», – ответила я. И это было чистой правдой: я появилась на выставке с опозданием, и со мной позабыли провести инструктаж. Так что мой единственный отчет состоял из короткой информации о фирме, ее экспонатах и ее представителях.

Пока я писала, в комнату вбежала переводчица с соседнего стенда. Ее щеки пылали, на глазах были слезы, а в дрожащей руке – лист бумаги. Из ее сбивчивого рассказа я поняла, что к ней на стенд подбросили письмо с просьбой о политическом убежище. Все оживились, задвигались, кто-то вышел, кто-то вошел, куда-то позвонили. Я поспешила поставить точку и исчезнуть. «Все. С выставками покончено, – решила я. – И на что они мне дались? Мало ли других возможностей?»

Через год или два я познакомилась с двумя очень милыми англичанками – аспирантками моего старшего друга, ленинградского профессора В. А. Майнулова. Одну звали Цинция, другую Венди. Цинция занималась Волошиным, а Венди Багрицким. Цинция ленилась говорить по-русски и с облегчением переходила на английский, а трудолюбивая Венди пользовалась малейшей возможностью поупражняться в русском. Я подружилась с обеими, но Цинция уехала раньше, а Венди пробыла еще несколько месяцев. Она охотно приходила ко мне в гости и приезжала на дачу в Востряково. Дружба с ней была для меня подарком. Впервые я могла говорить не просто с живым носителем языка, но с человеком, близким по интересам. Наконец-то я получила возможность беседовать по-английски (мы договорились часть времени пользоваться русским, часть английским) о том, что меня действительно волновало: о литературе, театре, образовании, традициях.

Но, к великому сожалению, и этот опыт кончился плачевно. Моего мужа неожиданно вызвали на работе в первый отдел, где огромный молодой человек, Эдик с Лубянки, объяснив, что Венди не просто аспирантка, и очень настойчиво «попросил» контакты не прекращать и обо всем сообщать. Нам оставалось одно: немедленно предупредить нашу знакомую, что она в черном списке. Но как это сделать? Всюду глаза и уши. Наконец мне явилась счастливая мысль пригласить ее туда, где она наверняка не была и где вряд ли нас будут подслушивать, – в баню. Встретившись у кинотеатра «Метрополь», мы отправились в Центральные бани. «Блестящая идея», – хвалила я себя, входя внутрь. Но в раздевалке рядом с нами пристроилась моложавая блондинка, которая, как мне казалось, ловила каждое наше слово (чтоб не привлечь к себе излишнего внимания мы говорили по-русски). Это меня насторожило, и я решила отложить важное сообщение до парной. Но и в парилке разговора не получилось. Моя гостья, ошеломленная жаром, паром, видом распаренных тел и шлепающих по ним веников, побледнела и стала медленно оседать. Я подхватила ее и вывела прочь. Усадив бедную девушку на скамью и дав ей немного отдышаться, я ошеломила ее еще раз, и куда сильнее, чем прежде. Слушая мой рассказ, она потрясенно повторяла лишь одно: «*No, oh no*». Потом на возбужденном и торопливом английском принялась шепотом переспрашивать, благодарить и сокрушаться: «Значит, меня больше сюда не пустят, никогда не пустят». Мы тепло простились, понимая, что прощаемся навсегда. И лишь недавно, двадцать два года спустя, мы снова случайно нашли друг друга. Я получила от Венди длинное и подробное письмо, в котором она сообщала, что преподает русский в Ноттингемском университете, пишет статьи и книги о русской литературе, среди них – книга о поэзии Анны Ахматовой, прекрасно помнит наши беседы и прогулки в Востряковском лесу, моего трехлетнего сына и ленивые вареники моей гостеприимной бабушки.

Безоблачного романа с английским не получалось. И не только потому, что то и дело появлялся «третий лишний», но и по причинам чисто внутренним: долгие поиски смысла жизни привели к тому, что я начала писать стихи и все связанное с английским рассматривала как помеху. В особенности спецшколу, куда попала по распределению после института. Школа грозила съесть меня с потрохами: подготовка к урокам, дети, которых надо ублажать, учить и держать в узде, педсоветы, тетради. И так каждый день. Однажды, когда я выходила из школы,

меня окликнула скромная и не очень молодая женщина. «Простите, – робко сказала она, – но мой Филипок уже неделю встает ни свет ни заря и повторяет стихотворение, которое вы ему задали. Прошу вас, спросите его, он совсем извелся». Господи, как я могла о нем забыть? Не помню, как дожила до следующего дня и, едва переступив порог класса, вызвала лопухого второклашку к доске. Тот, волнуясь, проглатывая слова, торопясь и спотыкаясь, прочел свой стишок и получил пятерку. Глядя, как он несет дневник с драгоценной отметкой, как бережно кладет его на парту, глядя на его счастливые глаза и пылающие уши, я с ужасом думала: «А что было бы, если бы его мать не решилась ко мне подойти? Надо срочно бежать отсюда, пока не наломала дров». Уйти из школы помогла завуч. Выдержав войну с РОНО, она добилась моего досрочного освобождения. А на прощание сказала: «Что ж, иди, нам транзитники не нужны. Но помни: не смогла работать в школе – не сможешь писать стихи». С таким приговором я вышла из дверей школы, места моего боевого крещения.

Вся дальнейшая служба была вечерней: вечерние городские курсы, заочный политехнический институт и, наконец, вечернее отделение истфака МГУ. Круг замкнулся: я снова оказалась в старом здании на Моховой. Но на этот раз не в роли провалившейся абитуриентки, а в роли преподавателя. Передо мной стоял красивый темноволосый и темноглазый юноша, мой студент, и, слегка заикаясь, упрямо твердил: «Я не могу вернуться домой без зачета. Мама не переживет. Она сердечница». «Но я не могу поставить вам зачет. Вы ничего не знаете», – не менее упрямо повторяла я. «Нет, я не уйду, я не могу». «Хорошо, давайте зачетку, – сдалась я, – поставлю зачет. Но не вам, а вашей маме. Вам поставлю, когда подготовитесь. Зачет действителен, только если проставлен в ведомость. Так что советую учить». Студент растерянно молчал. Он не ожидал такого поворота. А я гордилась тем, как ловко вышла из положения, не уронив высокого звания учителя и не проявив излишнего занудства.

Что такое иностранный язык в неязыковом вузе? Топики да тысячи. Топики – это шаблонные темы типа «Мой город», «Моя семья», «Мой рабочий день». А тысячи – это тысяча знаков, то есть необходимое количество страниц специального текста, которые студент обязан прочесть и перевести. Тоска смертная. Я пыталась оживить процесс, занимаясь на уроке живой разговорной речью и покупая для этой цели веселые книжки в магазине «Дружба» на улице Горького. Забавно было видеть, как постепенно меняется отношение ко мне моих студентов. Когда я впервые к ним пришла, они, смерив меня насмешливым взглядом, (я выглядела моложе многих из них), решили со мной не церемониться: пропускали уроки, опаздывали, во время занятий переговаривались вслух. Но, убедившись, что дело поставлено серьезно и есть шанс что-то выучить, преобразились. Оказывается, в каждом лентяе сидит потенциальный труженик и энтузиаст. Надо только его оттуда извлечь. Кончилось тем, что в небольшую аудиторию набивалась куча народу. Приходили даже студенты из других групп. Как справиться с такой оравой? И выгнать жалко. Главное – держать темп: вопрос, ответ, еще вопрос, чтение короткого текста, проверка понимания, импровизированная беседа, чтение по ролям, снова вопрос. После одного такого занятия ко мне подошла полная раскрасневшаяся студентка и одобрительно сказала: «Фу, сто потов сошло. Так и похудеть можно». Однако в 1972 году моя служебная деятельность полностью завершилась. Как говорится, по семейным обстоятельствам.

Казалось, роман с английским подошел к концу. Но к концу подошел лишь роман «служебный», а настоящий только завязался. Причем завязался так, как ему и следовало – с самых азов, со считалочек, со сказок Матушки Гусыни и Братца Кролика, с абсурдных и сентиментальных песенок, с рифмовок и небылиц, с летающей свиньи и прыгающей выше луны коровы, со старухи, которая жила в башмаке, и с кривого человечка, купившего кошку за кривой полтинник; с ярких картинок, на которых добродушный пекарь печет пироги и пончики, а мальчик Джек, сунув пальчик в рождественский пирог, достает из него сливу. Вот он, младенческий английский, естественный и необходимый, как молочный зуб.

*Pussy-cat, pussy-cat
Where have you been?
I've been to London
To look at the Queen.*

Где ты была сегодня, киска?
У королевы, у английской.

(пер С. Маршака.)

Вот когда я наконец-то встретила со «старой доброй Англией», где вечерами крошка Вилли-Винки бегают по уютным улицам в ночной сорочке и проверяет, все ли дети в постели в столь поздний час. Вот она – «старая добрая Англия», в которую я так сильно опоздала и в которой мне надо было бы оказаться много лет назад, когда я была ребенком и вместо всех этих рифмовок и считалок учила текст про Таню-революционерку, песню про Ленина, а позже – политический словарь, необходимый для обстоятельного разговора на тему «СССР – оплот мира на земле».

Вот когда я наконец-то добралась до того английского, с которого начинал маленький Володя Набоков. «Особенно мне нравилось, – пишет писатель в «Других берегах», – когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собой крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз». Все точно. Именно о таком Голивоге я читала своим детям и даже показывала диафильм, который мне удалось купить на Пушкинской. Да, это была уже не столько моя встреча с английским, сколько встреча моих детей. Ради них я сколотила детские группы, с которыми вела занятия почти десять лет, *step by step* (шаг за шагом) продвигаясь от считалок и рифмовок к стихам Байрона, от сказок Братца Кролика к сказкам Киплингa, от пьесы про рыжую курицу к пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», которую мои ученики разыграли на Новый год, приготовив для этой постановки специальные парики и костюмы. Мы прошли долгий путь от песенки про старого Макдональда до мюзиклов *My fair Lady* и *Jesus Christ – superstar*.

Мы пошли бы и дальше, но наступил злосчастный 1983-й. В том году я решила начать подготовку к английским новогодним праздникам в ноябре и даже выбрала для своей старшей группы пьесу Бернарда Шоу *Augustus does his bit*. Помню, как, читая пьесу и умирая со смеху, предвкушала, как будут смеяться мои дети. Но оказалось не до смеха. 17 ноября 1983 года к нам пришли с обыском. Забрав кое-какие материалы, связанные с правозащитной деятельностью мужа, они на всякий случай унесли все мои английские кассеты и многое другое. Обыск длился до восьми вечера, а в семь в дверь позвонили ученики, которых я не имела возможности предупредить о случившемся, так как к телефону нас не допускали. Конечно, сотрудники с ними побеседовали и записали все данные. Урок все-таки состоялся, но оказался последним. Родители ребят решили не рисковать, что вполне естественно. Так завершился и этот этап моего романа.

А дальше... дальше – 1989 год и первая в жизни поездка в страну, где говорят по-английски. Правда, не в Старый свет, а в Новый, напористый и деловитый. Путешествие в «старую добрую Англию», которой нет, а может, никогда и не было, еще только предстоит. Если даже оно и не осуществится, то останется мечтой. А что за роман без мечты и печали?

1994

УРОК АНГЛИЙСКОГО

А будущее все невероятней,
Его уже почти что не осталось,
А прошлое – оно все необъятней,
/Жила-была, вернее, жить пыталась/,
Все тащим за собой его и тащим,
Все чаще повторяем «был», чем «буду» ...
Не лучше ль толковать о настоящем:
Как убираю со стола посуду,
Хожу, гуляю, сплю, тружусь на ниве...
– На поле? – Нет, на ниве просвещения:
Вот английский глагол в инфинитиве —
– Скучает он и жаждет превращения.
То stand – стоять. Глаголу не стоитя,
Зеленая тоска стоять во фрунте,
Ему бы все меняться да струиться
Он улетит, ей-Богу, только дуньте.
А вот и крылья – shall и will – глядите,
Вот подхватили и несут далеко...
Летите, окрыленные, летите,
Гляжу во след, с тоскою вперив око
В те дали, в то немислимое фьюче,
Которого предельно не хватает...
Учу словцу, которое летуче,
И временам, что вечно улетают.

1998

* * *

Посвящаю Вале и Ларисе Резникам

Нет, послушай, когда я работала в школе,
Я стишок задала второкласснику Коле
И забыла спросить. Ну а он весь урок
Повторял про себя эти несколько строк.
Повторял про себя и шептал их соседу.
Но не вспомнила я ни во вторник, ни в среду.
А однажды пришла ко мне Колина мать
И, смущаясь, сказала: «Не может он спать.
То ночами зубрит, то проснётся с рассветом».
Не приди она, я б не узнала об этом.
Боже, сколько же их – тех неведомых Коль,
Кому я причинила нечаянно боль.

2011

Колыбель висит над бездной

Постепенно все сходило на нет. Даже та культурная жизнь, которая еще теплилась в начале 1970-х, казалась далеким сном в конце десятилетия. Одним из последних всплесков явились квартирные выставки подпольных художников в 1975 году.

Весело и жутко было ходить по «крамольным» адресам, подниматься на лифте в чью-то квартиру или спускаться в очередной подвал, чтоб увидеть множество самых разных полотен, среди которых были и настоящие шедевры. Весело, потому что, несмотря на бульдозер, прущий на художников в Беляеве³⁵, они пробились к зрителю, даже самой плохонькой своей картиной утверждая: «Живу. Пишу. Свободен». Жутко оттого, что было ясно: все это скоро прикроют. Так и случилось. Вспоминаются эти выставки как праздник, как яркий весенний день среди стойких морозов.

То было странное время «квартирной» культуры: спектаклей, лекций, концертов.

В 1976-м мы познакомились с Петром Старчиком, который незадолго до того вышел из казанской спецпсихбольницы, куда попал за распространение «антисоветских» листовок. В той же больнице Петя начал сочинять песни на стихи самых разных поэтов: Цветаевой, Мандельштама, Белого, Шаламова и многих, многих известных и малоизвестных авторов. Выйдя на волю, он пел дома и у друзей. Эти песни, исполняемые хриплым, низким, далеко не «вокальным» голосом, долго не отпускали. Петя был самоучкой. Он как умел аккомпанировал себе на рояле, гитаре, цитре, наверное, нарушая какие-то законы гармонии и исполнительского мастерства и заставляя морщиться профессионалов. Но в том, что он делал, было столько трагизма, душевной боли, страсти, что его песни убеждали и запоминались. В полузадушенном, сумеречном, холодеющем мире он разложил костер и поддерживал жар, которого не хватало всем.

Но где бы, что бы ни вспыхивало и даже ни тлело – пламя ли, свечечка, – все было видно с лубянской колокольни. Ее быстрые, бесшумные, как тени, пожарные в сером поспедали всюду.

Однажды мы с Петром собрались посмотреть картины художника Максима Дубаха, одного из участников квартирных выставок. По дороге заехали в милицию, куда Старчика в очередной раз пригласили для беседы. «Это на пять минут, – сказал Петр. – Они опять повторят, что мои песни мешают соседям, которые якобы жалуются. Это они-то жалуются! Первый этаж и единственные соседи – семья глухонемых».

Приехали в наше общее (мы живем рядом) 127-е отделение милиции. Петя зашел внутрь, а мы (жена Петра Саида, я, мой муж Боря, его брат Алик, Петины дети Петя и Марина) остались на улице. Немного подождав, решили подняться на второй этаж. Вскоре к нам подошел низкорослый крепкий мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами. «Здесь стоять нельзя. Ждите внизу», – сказал он тоном, не терпящим возражений. Неожиданно в коридор вышел Петр в сопровождении нескольких человек. Лицо его горело. Быстро пройдя в другой конец коридора, они скрылись в одном из кабинетов. Видимо, именно это нам и не положено было видеть. На помощь крепкому дяде появился такой же. Они заняли все пространство от стены до стены, тесня нас и не давая пройти: «Назад, назад, вниз, пожалуйста. Пройдемте вниз. Быстренько!» Происходило что-то непредвиденное. Мы спустились вниз и побежали к другому входу. Там, во дворе милиции, стояла карета скорой помощи. Сомнений не было: это за Петром. Вскоре вышел и он в сопровождении санитаров и милицейского начальства. Жена и дети бросились к нему. Боря и Алик быстро подошли к тому, кто казался главным. «Имейте в виду,

³⁵ Имеется в виду так называемая Бульдозерная выставка – одна из самых известных выставок неофициального искусства в СССР. Выставка проходила на открытом воздухе в Беляеве 15 сентября 1974 года и была жестко разогнана властями с привлечением милиции, поливальных машин и бульдозеров.

этим делом занимается академик Сахаров. Все будет известно Леониду Ильичу Брежневу», – громко сказал Боря. «Кто такие? – вскинулся тот. – Пройдите наверх!» И их увели на второй этаж, где сотрудники КГБ проверили у них документы и записали данные, пригрозив дурными последствиями за вмешательство.

А в это время санитары, взяв Петра под руки, повели к машине. Дети и Саида цеплялись за него, не давая идти. «Петр Петрович, ну Петр Петрович!» – повторяли люди в белых халатах, подталкивая его к машине. Сумев наконец оторвать Петра от жены и плачущих детей, они затолкали его в карету скорой помощи и сели сами. Машина тронулась. Дети закричали, Саида бежала следом, но, немного пробежав, остановилась. На ней не было лица. Возле ворот какой-то милиционер пытался завести мотоцикл. «У, гад!» – срывающимся голосом крикнула Саида и, взяв кусок глины, швырнула в милиционера. Он оглянулся, и я увидела на его молодом лице растерянность и смущение. Меня била нервная дрожь. Вечером того же дня, 15 сентября 1976 года, я написала стихи:

*Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рождаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.*

Позже Петя написал музыку на эти стихи, и они стали песней. Произошла катастрофа: на наших глазах среди бела дня схватили и увезли в психбольницу Петра Старчика, чтобы держать взаперти не дни, не месяцы, а годы, может быть, всегда. Так это бывало в подобных случаях. Первые недели Петру удавалось передавать на волю короткие записки, из которых мы узнали, что он в палате, где койки стоят почти вплотную, где санитары прилюдно избивают больных, где душевнобольной сосед гасит об него окурки. Позже Петр показывал нам руки со следами ожогов. Через некоторое время записки сделались сумбурными и невнятными, почерк неразборчивым. Стало ясно – началось «лечение». Впоследствии он рассказывал: после каждого укола подступала тошнота, шла обильная слюна, мутнело сознание, притуплялась память, появлялись вялость и безразличие.

Петр Старчик должен был перестать существовать как личность.

И вдруг случилось чудо. Международная кампания в защиту Старчика, к которой, кажется, удалось подключить самого президента Франции, неожиданно помогла. Петра перестали колоть, перевели на более легкий режим в другое отделение, куда ему друзья передали гитару и транзистор. Однажды, включив приемник и покрутив ручку, Петр неожиданно услышал... собственный голос. Он не поверил своим ушам, решив, что и впрямь свихнулся. Но то действительно был его голос: по западному радио звучали песни Старчика. Те самые – о лагерях и тюрьмах, белых и красных, уехавших и оставшихся, одним словом о России, о страшной ее судьбе. Те самые, крамольные, за которые он попал в эти стены.

15 ноября к нашему дому подъехала машина. За рулем, как и в тот несчастный день ровно два месяца назад, сидел Алик. Но сегодня все было иначе. «Лариса!» – крикнули с улицы. Я выглянула и увидела Петра, который, задрав голову, с печальной улыбкой смотрел на наши

окна. Возле него стояла Саида. Алик запирает машину. Через минуту они входили в двери нашей квартиры. Петр был худ и бледен. На нем болталось свободное черное пальто, которое Саиде кто-то дал для него. «С плеча самого Михаила Чехова, актера», – сказал Петя. Мы расцеловались. Он выглядел немного растерянным. Походил по квартире, постоял у кровати, где спал мой младший сын, шепнул: «Как вырос». Было видно, что он с трудом привыкает к воле, к домашней обстановке.

В тот день валом валили друзья. Не умолкал телефон, не запирались двери. А Петр пел и пел: и старое, и новое, сочиненное в больнице. Тогда он впервые исполнил одну из лучших своих песен на слова Александра Кочеткова – «Балладу о прокуренном вагоне». Эти стихи были напечатаны в только что вышедшем альманахе «День поэзии», который мы передали ему в больницу.

«С любимыми не расставайтесь», – пел Петр. «С любимыми не расставайтесь», – вторила ему Саида. «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них...» Голоса сливались, разлучались и соединялись снова, заполняя пространство. «И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг...» Мелодия была стремительна и неудержима, как летящий по рельсам состав. Голоса звучали обреченно, будто в предчувствии близкого крушения. Песня-заклинание, песня-мольба надрывала душу. Плакали все.³⁶

Через пять лет после этой истории на одной из пресс-конференций французский журналист спросил советского чиновника Загладина: «Правда ли, что в вашей стране сажают в психбольницу за исполнение песен в собственном доме?». «За исполнение песен в собственном доме» – слова из обращения к президенту Франции Валери Жискар-д'Эстену, написанного Борей в защиту Старчика и среди прочих переданного на Запад.

* * *

Конец 1970-х. Разгром Хельсинкской группы. Аресты, аресты, аресты... Новое десятилетие началось с высылки Сахарова. Никто не знал, что будет со страной, а я к тому же не знала, как это отразится на жизни нашей семьи, ведь Борю связывали с Андреем Дмитриевичем долгие дружественные отношения. Это не могло остаться без последствий. Каждый обычный мирный день казался чудом.

*Благие вести у меня,
Есть у меня благие вести:
Еще мы целы и на месте
К концу сбесившегося дня.
На тверди, где судьба лиха
И не щадит ни уз, ни крова,
Еще искать способны слово,
Всего лишь слово для стиха.*

Март 1982-го. Меня вызывают на Лубянку. «Ваш муж Борис Альтшулер вам постоянно лжет, – заявляет молодой стриженный ежиком следователь. – Его связывают «вы сами понимаете с кем» (он ни разу не произнес страшного имени) отнюдь не научные интересы, а общая подрывная антисоветская деятельность. Существуют лишь два варианта: в двухнедельный срок покинуть страну или... – последовала выразительная пауза, а потом он с удовольствием отче-

³⁶ Песня «С любимыми не расставайтесь», исп. Петр и Саида Старчик, запись 1976 года – http://larisamiller.ru/pesni_starchik_18.mp3

канил: – Или ваш муж не увидит своих детей десять-пятнадцать лет». «А третьего пути нет?» – тупо спросила я, до той поры не задавшая ни единого вопроса. Следователь расхохотался, откинув голову. «Скажите спасибо за выбор, который вам предоставили», – отсмеявшись, сказал он.

В мае на вторичной беседе все тот же следователь невозмутимо изрек: «Об отъезде забудьте. Это был маневр, проверка вашей реакции. Вы никогда не уедете. Лучше объясните мужу, что ему дан последний шанс. Дальше пусть пеняет на себя». Что это были за «маневр» и «проверка», можно было только гадать.

Той весной Борю уволили с работы, потом стали привлекать «за тунеядство», и через несколько месяцев он устроился дворником в ДЭЗ неподалеку от дома, где проработал пять лет – до июля 1987 года, когда вернувшийся из ссылки Сахаров взял его на работу в Физический институт Академии наук.³⁷

17 ноября 1983 года. Девять утра. Звонок в дверь. «Кто?» – «Откройте. Из ДЭЗа». Называют фамилию начальницы Бори. Открываю. Оттеснив меня, в коридор вошли восемь здоровых мужчин. «Грабители!» – мгновенно решила я и попыталась не дать им закрыть за собой дверь. Один из них, видимо старший, предъявил удостоверение, которого я не разглядела, но тут же почему-то поняла – КГБ. «Мы обязаны провести у вас обыск», – заявил он. «Но мне надо уходить. Меня ждут, – наивно возразила я. – Нужно хотя бы предупредить, что не приду». Я бросилась к телефону, подняла трубку. Один из восьми тут же оказался рядом со мной и нажал на рычаг: «Звонить нельзя. Дома кто-нибудь есть?» – «Да. Дети». – «Будите». Я подняла детей. Они быстро оделись и с любопытством следили за происходящим. Мне удалось каким-то чудом убедить главного, что старшему сыну нужно идти на занятия. Сын, поняв мои знаки, побежал на участок, где папа работал дворником. Боря успел позвонить разным людям и передать свою записную книжку в надежные руки, а потом пришел домой. Следом за ним появился его брат Алик. Вскоре пришел наш друг и сосед писатель Юрий Карабчиевский. Ему, как и Алику, немедленно были заданы все полагающиеся вопросы (фамилия, кем приходится хозяевам квартиры, цель визита). Он знал, что до конца обыска его не выпустят, и пришел, чтоб коротать с нами этот бесконечно длинный день. Присутствие Юры и Алика, непринужденный разговор и шутки – как это было важно тогда! Обыск длился до вечера. «Уведут его или нет?» – стучало в мозгу.

Безучастно смотрела я, как восемь мужчин роются в вещах, книгах, рукописях, записных книжках, как они аккуратно снимают с металлической подставки перекидной календарь с моими пометками. Но, когда, выйдя в коридор, я увидела, что один из них залез в карман моего пальто и, вытащив черновик, принялся его читать, я взорвалась: «Что вы делаете?! Я даже мужу не показываю черновики!» В ответ он молча положил мои бумажки обратно в карман.

Они унесли массу книг: Мандельштама, Набокова, Цветаеву, машинописный экземпляр романа Феликса Розинера «Некто Финкельмайер», три пишущих машинки, кассеты с записями классической музыки, текстов на английском и песен Феликса и Старчика...

1990

³⁷ Подробнее об этих «приключениях» см. в главе 3.3. статьи «Ноу-хау» в книге «Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове» / М.: «Практика», 1996. – Б. Альшулер.

[Дополнение 2010 г

В этот же период КГБ распространило про меня в писательских кругах «достоверные» сведения, что я уехала в Израиль. Я узнала об этом много позже, в том числе от Маргариты Алигер. А поскольку с нами тогда мало кто решался общаться, то многие в это поверили. И даже в 2008 году «Литгазета» в большом перечне своих авторов с указанием их места жительства написала «Лариса Миллер – Израиль», правда, через неделю напечатала с извинениями мое письмо-опровержение. Такой отголосок событий четверть вековой давности означает, наверно, только то, что в свое время, в начале 1980-х, эти «сведения» обо мне распространялись не только устно, но и были занесены во все базы данных, включая базу данных авторов «Литгазеты». Вот это мое письмо в «ЛГ» с извинением редакции, опубликованное в номере за 27 февраля – 4 марта 2008 г.:

*«Главному редактору «ЛГ»
Ю. Полякову*

Уважаемый Юрий Михайлович!

Я являюсь постоянным автором вашей газеты и всю жизнь живу в Москве, за исключением двух лет эвакуации в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Поэтому я с большим удивлением прочла в «Литературной газете» (№ 7, 20–26.02.2008) в статье П. Хохловского «Кота в мешке не утаишь!», в том её месте, где перечисляются имена и местожительство членов Союза российских писателей, публиковавшихся в «ЛГ», следующее: «Лариса Миллер (Израиль)». Я дважды – в 1990 и 1997 гг. – примерно по месяцу была в Израиле у друзей. Я восхищаюсь этой страной. Но я не мыслю и никогда не мыслила себя вне России, вне ауры русского языка. Так было всегда, в том числе и в самые трудные времена.

*С уважением,
Лариса МИЛЛЕР,
МОСКВА.*

«ЛГ» приносит извинения своему давнему автору и читателям за невольную ошибку, вызванную техническими причинами.»^{38]}

³⁸ См. материал «Где живет Лариса Миллер» – http://www.larisamiller.ru/gde_zhivot.html

Компромисс между жизнью и смертью

«Мегаполис-Экспресс», 4.10.1990

Перед вами ответ поэта Ларисы Миллер на опубликованную в Известиях 8 сентября этого года в рубрике «Вся Америка» статью «Компромисс между идеалами и реальностью?» знаменитой Джойс Кэрол Оутс, автора известных во всем мире романа «Ангел света» и множества рассказов. В двух словах, статья в «Известиях» – попытка сопоставить процессы демократизации в СССР и США. Передавая свое письмо нам, Лариса сказала:

– Мегаполис-Экспресс – международная газета, я надеюсь, через нее мой ответ дойдет до адресата быстрее...

Дорогая Джойс Кэрол Оутс!

Прочитала Вашу статью в газете Известия от 8 сентября 1990 года и почувствовала, что не могу на нее не ответить. Но прежде представлюсь. Я родилась перед самой войной, москвичка, член Союза писателей, пишу стихи.

Теперь о главном. Вы пишете: «...многие американцы, включая и меня, с иронией отмечают, что Советский Союз начал экспериментировать с демократизацией своей системы правления как раз в то время, когда наша «демократия» становится более консервативной – особенно в отношении цензуры и агитации противников аборттов.»

«Экспериментировать с демократизацией» – те ли это слова, когда речь идет о судорожных, порой трагических попытках целого народа выбраться из пропасти, в которой он оказался 73 года назад? Попытка сблизить проблемы нашей истерзанной страны с проблемами вашей, где демократия, как Вы заметили, «становится более консервативной», вызывает протест. Нам еще только (дай Бог) предстоит узнать, что такое демократия и её проблемы.

Прошлое нашей страны с 17-го года – это ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И ПЛАНОМЕРНАЯ ВОЙНА ГОСУДАРСТВА С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ. Сейчас спорят о том, 40 или 70 миллионов погибло. Речь идет не о погибших на фронтах второй мировой войны, а о жертвах террора, искусственно созданного голода, насильственного переселения народов.

Вот только один штрих. 30-е годы. Принудительная коллективизация, особенно трудно проходящая на Украине, которую за это наказали голодом. Целые регионы были оцеплены войсками, охранявшими элеваторы, полные зерна. Умерло несколько миллионов человек (снова миллионы!). Люди пробирались в соседние области, чтобы добыть хоть какое-то пропитание для умирающих детей. Возвращались на крышах поездов. Так вот, были сформированы специальные отряды, вооруженные крюками, ими зацепляли людей и сбрасывали их на землю с проносящихся мимо поездов. Трупы, лежащие вдоль железнодорожных путей, стали частью пейзажа. Это было 60 лет назад, но безумие тоталитаризма, который сейчас называют командно-административной системой, продолжается до сих пор.

Цитирую: «Ваши соотечественники отважились на смелый и благородный эксперимент под руководством Михаила Горбачева, бесспорно, одного из наиболее блестящих мировых лидеров нашего века.»

Вашему оптимизму можно позавидовать. Сразу видно, что Вы живете за тысячи километров от этих экспериментов. Наше сегодня – это драка из-за буханки хлеба. На моих глазах в очереди за сахаром доведенные до отчаяния люди свалили кассу и избили кассира.

Еще цитата: «И потому сам факт, что где-то в мире люди по своей собственной воле хотят превзойти худшие из американских ценностей: современную еду, поп-культуру, эфемерную моду – или очень грустно, или очень смешно, – зависит от человека.» Да, в Москве появился «Макдональдс» с огромной (не виданной Вами) очередью. У нас проводятся конкурсы красоты, свирепствуют рок-группы. Но не этим определяется жизнь. Наша повседневность – это

отсутствие самого необходимого: продуктов, лекарств, школьных тетрадей, детских колготок. Абсолютно пустые полки магазинов. Уверена, Вы никогда в жизни не видели такого. Бог с ними, с поп-культурой и модой. Поверьте, людям здесь не до них. Газету «Известия», в которой напечатана Ваша статья, читает вся страна, и Ваше замечание о «современной еде», как худшей из «американских ценностей», увы, кажется кощунством, как и замечание о «провале капитализма». К кому Вы обращаетесь? Не к той ли пожилой женщине из московского поселка, которая рассказывала, как искала пенициллин для своего полуторагодовалого внука (он обварился кипятком и с тяжелыми ожогами лежал в больнице). «Всю Москву объездила. В ногах валялась», – плача говорила она. Лекарств нет не только в аптеках, но и в больницах.

Или, может быть, Вы обращаетесь к жителям зараженных радиацией областей Белоруссии, которые вот уже четыре с половиной года ждут переселения в безопасные районы, а им вместо этого ежемесячно платят 15 рублей «гробовых», как у нас говорят.

Наше сегодня – это грудные дети, зараженные СПИДом в больнице города Элиста. Нет одноразовых шприцев – об этом тоже пишут третий год. А случаи заражения повторились еще в нескольких больницах.

Вот истинное лицо перестройки, которую Вы назвали «смелым и благородным экспериментом». Нет, здесь скорее уместны слова «театр абсурда».

Весна 1988 года, сумгаитский погром (Азербайджан). Его нечеловеческие жестокости не умещаются в сознании. Но не был объявлен траур, а расследование этих ужасных убийств Москва спустила на тормозах. Результат попустительства – новые вспышки насилия, десятки тысяч беженцев, людей, выброшенных из жизни, потерявших близких, дом, работу. И для помощи им опять же НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Налицо сознательное, глубоко аморальное бездействие власти. Отсюда чувство полной незащищенности.

Да, гласность. Да, можно говорить и писать о чем угодно (почти). Но и случиться может всё что угодно. Я видела их совсем близко – веселых и жестоких мальчиков из общества «Память», которые устроили антисемитский дебош на собрании прогрессивной писательской ассоциации «Апрель» в январе этого года, слышала их угрозы: «В следующий раз мы придём с автоматом». Главное, что потрясает, – их уверенность в своей полной безнаказанности. И боюсь, что они не ошибаются...

Под нажимом общественности было возбуждено уголовное дело против их лидера. Сейчас в Москве проходит суд, но непонятно, кто кого судит: зал битком набит «мальчиками», которые выкрикивают угрозы в адрес евреев, оскорбляют свидетелей, аплодируя каждому слову своего вожака, превратившего скамью подсудимых в трибуну. И какая-то почти иррациональная неспособность (нежелание?) органов власти справиться с ситуацией. Повторяю: то, что происходит в стране, иначе, как «театром абсурда», не назовешь. Ваши проблемы – проблемы ЖИЗНИ, наши – ВЫЖИВАНИЯ. Вы живете в обществе ПОТРЕБЛЕНИЯ, мы – в обществе ИСТРЕБЛЕНИЯ. «Какой же путь лучше?» – спрашиваете Вы в конце своей статьи. Задайте этот вопрос тысячам отчаявшихся людей в очереди у американского посольства в Москве.

Мы с Вами с разных планет, что очень грустно, так как планета у нас все же одна.

С уважением, Лариса Миллер.

* * *

Надоели хмарь и хаос,
Бред, творящийся без пауз,
Оказаться бы на стрит,

Что витринами пестрит,
Где ни путчей и ни драки,
Ни блуждания во мраке,
Где лужайка и газон
И в поступках есть резон.
Матерясь, ломая ноги,
По нечищенной дороге,
По заснеженным путям
Все идем ко всем чертям.

1994

* * *

Оживление в больничке,
Поутру запели птички,
Принесли благую весть
К нам в палату номер шесть.
Весть о том, что скоро лето.
Скоро станет больше света,
Больше радости для глаз
Даже в Кащенко у нас.
Даже в нашем заведении
Станет радостнее бденье
И еще бессвязней бред
Тех, кто солнышком согрет.

1994

Из эссе «Фермата», Флоренция, 1995

...Вечером мы идем в гости. Хозяйка дома – художница, гречанка – давно живет в Италии. У нее две юные дочери – тоненькие, с точеными лицами. Обе учатся музыке: одна играет на скрипке, другая на флейте. Галя предупредила меня, что хозяйка дома придерживается левых убеждений. Беседуя со мной, она выражает надежду, что если в России победят коммунисты, то наконец-то кончится хаос и воцарится порядок. Я не спорю. Не хватало еще, приехав в Италию, говорить о российской политике.

Собираются гости. Пришло семейство: муж, жена, малолетняя дочь и сын-даун. Он казался подростком, но выяснилось, что ему двадцать два года. Подойдя ко мне, он представился: «Горький». Заметив мой недоуменный взгляд, Галя тихонько объяснила, что, поскольку здесь все левые, пролетарский писатель Горький, в честь которого назвали парня, – их кумир. На прощанье мне устроили экскурсию по квартире. Дому, где живет гречанка, почти два века. Просторные комнаты с лепными потолками, изразцовыми каменными полами, массивными стенами и арками вместо дверей больше походили на залы дворца. А на древних стенах – фото работников Коминтерна, открытки с изображением красного знамени с Лениным-Сталиным в профиль. На столе – музыкальный ящик, исполняющий «Интернационал». И все это – в волшебном городе, на тихой улице, в старинном доме, в квартире, где живет утонченная, артистичная, красивая семья. Загадки странного мира. Non capisce. Не понимаю...

1997

Homo normalis

Знаете, какое слово (речь идёт о словах цензурных) чаще всего употребляется в нашей аномальной стране? «Нормально». «Ну как кино?», – спрашиваете вы. А вам в ответ: «Нормально». «Как отдохнул?» «Нормально» «Как дела?» «Нормально» «Как ты сегодня спала?», – спросила я приятельницу, живущую в доме напротив. «Нормально», – ответила она. «Неужели? Разве ты не слышала дикий стук среди ночи?» «Слышала, конечно. Пришлось встать и задраить все окна.» «Но душно ведь. Жара-то какая». «Да нет, нормально. А кто это стучит по ночам, не знаешь?», – лениво поинтересовалась она. Как не знать? Знаю, конечно. Это пенсионер с шестого этажа соседнего дома. Говорит, что жильцы хотят известить его: то газ пустят, то какие-то химикаты возле двери рассыпят, то ещё что-нибудь придумают. А соседей подучило КГБ. Он сам в этой системе когда-то работал. А как на пенсию вышел, так бывшие коллеги и начали его травить. Всё это он рассказал нам, когда мы, измученные еженощным многочасовым грохотом, узнали номер его квартиры и пришли к нему в гости. Мы собирались уладить всё мирно, но он, услышав по какому поводу мы пожаловали, истерично закричал: «А мне как быть? Кто обо мне-то подумает? Меня травят газом, облучают, мучают. Что же мне по – вашему делать? Молча терпеть? Вот я беру эту кастрюлю... Идите, идите сюда. Смотрите. Беру кастрюлю и стучу по ней вот этим железным прутком.» Он вышел на балкон и, предъявив орудие пыток, принялся издавать те до отвращения знакомые звуки, от которых по ночам хотелось уснуть вечным сном. Никакие уговоры, мольбы и угрозы не действовали. Старичок был непреклонен. Он вышел на тропу войны и не собирался с неё сворачивать. Спасла нас красивая и бойкая жительница одного из соседних домов. Она оказалась тем редким экземпляром, который не собирался становиться жертвой безумного старичка. Ей удалось то, что не удавалось ни участковому, ни врачу. Не тратя лишних слов, она метнула на него гневный взгляд и доходчиво объяснила: «Ещё раз кувалдой по кастрюле ударишь, убью. Понял?» «Уберите её! Она меня убьёт!», – закричал старичок. С той поры мы его не слышали. Может, в больницу лёг, может, родственники к себе взяли.

Но, как сказал поэт, покой нам только снится. А вернее, даже и не снится. Чтоб видеть сны, надо спать. А с этим опять возникли проблемы. Старичка сменил петушок. Поселившись на лоджии второго этажа соседнего дома, он принялся каждую ночь устраивать окрестному люду весёлую побудку. «Ку-ка-ре-ку!», – орал он в три пятнадцать ночи. «Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку-у-у!», – повторял он для тех, кто ещё не вполне проснулся. Покукарекав до пол восьмого, петушок умолкал. Жил он вдвоём с одинокой старушкой, которая получила его в подарок. «Ну и что из того, что он спать мешает? У меня вот машины под окнами воняют и орут... И кому жаловаться? Кто меня слушать будет?... Да куда ж я его уберу? В квартиру? Он у меня и так днём в квартире, а ночью я его на лоджию выставляю, чтоб ему душно не было. Вот холода наступят, тогда он в ванной спать будет. Правда, петя? Ах ты, мой миленький», – обратилась она к петушку, который важно расхаживал по квартире. «Сейчас мы гулять пойдём, погоди немного». Она взяла его на руки и принялась гладить, как кошку: «У меня кроме него и нет никого. Вот так вдвоём и живём». Гулял петя на газоне перед домом. Бабуля надевала на него цветную попонку, сапожки и выводила на поводке подышать свежим воздухом.

«Ну и что? – скажете вы, – нормально!» Конечно, нормально. Нормальная нежность одинокой старушки к единственному живому существу. А что петушок никому спать не давал, так на то он и петух, чтоб на заре кукарекать. Не надо деревенскую живность в городе держать? Так он не живность, а член семьи. И, между прочим, старушка пошла нам навстречу и, не дожидаясь холодов, поместила петю ночевать в ванной комнате. Если ты с людьми по-людски обращаешься, то и они ответят тем же. Хотя, как сказать. Это зависит от степени вменяемости. Вот старичок на доброе слово не отзывался. Болезнь слишком далеко зашла.

Между прочим, на бездушном механистическом Западе, всё решается просто. Тебе мешают спать? Шумят в неположенное время? Звони в полицию, и дело с концом. Приедут и оштрафуют нарушителя спокойствия. И не надо тебе ходить в соседний дом, вести душещипательные беседы, выслушивать историю чьей-то жизни, искать подход, входить в положение, устанавливать степень вменяемости. Это не твои проблемы. Есть закон и службы, следящие за его соблюдением. И никаких тебе петушков, больных старичков и одиноких старушек. Не твоё это дело. «Нормально», – говорите вы. Опять «нормально». И у нас нормально, и у них. То ли слово такое ёмкое, то ли вам просто-напросто всё до фени.

Я вот недавно рассказ отнесла в одну редакцию. А когда через неделю позвонила, чтоб узнать впечатление, редактор ответил... догадайтесь что. Правильно. «Нормально, – сказал он, – нормальный рассказ». «Хорошо это или плохо? – недоумевала я, – пойдёт рассказ или нет? И что есть норма? Кто её устанавливал? Какую эмоциональную окраску имеет это слово?» А, может, никакой не имеет? Может, нас так долго и настойчиво «удивляли» в родном отечестве, что мы уже ничему не удивляемся и тупо повторяем: «Нормально»? А, может, это своего рода заклинание, русский вариант японского «ОМ»? Произнёс и полегчало.

«Как живёте?», – спрашиваю я свою пожилую знакомую, блокадницу. «Нормально», – отвечает она. А дня через два вижу как она убирает в сумку бутылки, найденные возле пивного ларька. «Что поделаешь? Пенсия-то маленькая», – оправдывалась она, смутившись тем, что я застала её за таким занятием.

Нет, нас нельзя удивить. Стреляют? Нормально. Мы даже с детьми и собачками гулять ходим к Белому Дому, когда там пули свистят. Такое вот семейное мероприятие.

По вечерам смотрим по телевизору, как из обстреливаемых районов Чечни народ бежит. Те же россияне. Старики, женщины, дети. Они давят друг друга, падают на колючую проволоку. Кому-то плохо. А этой старой женщине уже хорошо. Она умерла, отмучилась. Вот только старику, потерявшему жену, плохо. Он стоит над умершей и растерянно повторяет: «Умерла, умерла...».

Посмотрим эти картинки и ляжем спать. А завтра на вопрос: «Как жизнь?» ответим: «Нормально». А что ещё можно сказать? Ведь всё это действительно стало нашим повседневным фоном, привычными буднями.

Когда-то много лет назад я смотрела фильм про бесстрашного революционера Камо, который умело симулировал безумие. И всё же он ничего не мог поделать со своими зрачками, которые расширились, когда ему причиняли боль. Такая реакция есть верный признак нормы.

Интересно, больно ли нам, когда мы видим чужую боль? Расширяются ли наши зрачки? Если да, то это тот редкий случай, когда слово «нормально» будет вполне уместным.

1999

Времена группы Simple. Советы учителя

«Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют...» – писала Ахматова, намекая на то, что на этом свете его уж точно нет. Разве что на том. Хочу возразить. Чтоб найти уют, совсем не обязательно отправляться в лучший мир. Достаточно просто начать изучать какой-нибудь иностранный язык. «Хэлло!» – «Хэлло!» – «Как вас зовут?» – «Анна» – «Откуда вы родом?» – «Из Франции». – «Вы туристка?» – «Нет, я студентка. Я приехала в Лондон изучать английский». – «Вам нравится Лондон?» – «Да. Лондон – очень большой и интересный город. В нем много прекрасных парков, театров и ресторанов. Я хорошо провожу время».

Последуйте примеру Анны, начните изучать язык, и вы не сходя с места окажетесь в безмятежном и уютном мире. Конечно, и в нем не все так гладко. Бывает, что ломается машина или заболевает горло. Но эти неполадки не нарушают гармонии и длятся ровно столько, сколько требуется для усвоения нужной лексики. «У меня сломалась машина», – сообщает А. «Почему бы тебе не отвезти ее в гараж?» – советует Б. «У меня болит горло», – канючит А. «Тебе надо обратиться к врачу», – говорит умница Б. «Замечательная мысль!», – восклицает А., и все встает на свои места. Подобные накладки только подчеркивают уют того мира, в котором случаются. Мира, где все происходит на фоне ясного неба, а дождь идет лишь для того, чтоб мы усвоили нужный оборот. Усвоили – и снова ясно.

«Мой рабочий день» – так называется наш следующий текст: «Я встаю в семь утра, делаю зарядку, умываюсь и одеваюсь. Потом завтракаю. На завтрак ем яйцо всмятку и пью чай. Я выхожу из дома в восемь часов и сажусь на автобус. Мне требуется полчаса, чтоб добраться до работы. На работе я отвечаю на письма, перевожу статьи и обсуждаю с коллегами важные дела. Я возвращаюсь домой в шесть часов вечера, ужинаю и смотрю телевизор. Обычно я ложусь спать в 11 часов». Поставьте, пожалуйста, вопросы к тексту. Неважно, что вам все ясно. В этом уютном мире вопросы задаются не потому, что необходимо узнать ответ, а потому, что надо усвоить вопросительную форму. Вот вы опять пропустили вспомогательный глагол do. Повнимательней, пожалуйста. Здесь порядок слов в предложении равен мировому порядку, а пропущенный глагол или неправильно употребленное время порождают хаос. Достаточно исправить ошибку, и воцарится порядок.

Этот мир интернационален. Его населяют разномастные люди. Вон сколько их на картинках. «Откуда ты родом?», – спрашивают они друг друга. «Из Бразилии», – отвечает один. «Из Италии», – говорит второй. «Из Индии», – сообщает третий. И все улыбаются. Все довольны. Все существуют по принципу, провозглашенному котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно».

Но вот в чем закавыка: чем быстрее вы усвоите тонкости языка, чем стремительней обогатится ваш словарь, тем изощреннее станет мир, тем меньше будет в нем уюта. Вот уже и модальные глаголы пошли, всякие там «должен, можешь, обязан, вынужден»: «Не хочу, но должен. Не могу, но вынужден». И небо уже не то: задымленное, темное. Потому что из огромной заводской трубы идет дым, иллюстрирующий текст про загрязнение окружающей среды. А на следующей странице изображен изможденный тип с безумным взглядом. В тексте сказано, что его жена пострадала в автомобильной катастрофе и врачам не удалось ее спасти. Она умерла прямо на операционном столе. «Вы виноваты в ее смерти, и вы заплатите за это», – воскликнул убитый горем муж и пошел взрывать машины докторов. Четверо врачей погибло, пятого удалось спасти. Окруженный полицейскими бедняга террорист подорвал себя сам. С помощью этой жутковатой истории нам предлагают учить сослагательное наклонение: «Если бы женщина была внимательнее, она бы не попала в аварию; если бы она не умерла во время операции, ее муж не стал бы мстить врачам; если бы полиция не выследила террориста, жертв было бы больше». Но зачем нам читать по-английски про то, что случилось в маленьком аме-

риканском городке? Нам и на родной земле хватает взрывов, смертей, аварий, катастроф. Мы уже всем этим по горло сыты (fed up, как говорят англичане).

Нет уж, лучше вернемся к началу, к наклонению изъяснительному и временам группы Simple, к чистым беспримесным краскам, к бесконфликтному существованию, к примитивным сюжетам типа «Мой отпуск»: «Летом я поеду к морю. Я буду купаться и загорать. Я люблю плавать. По вечерам я буду гулять в парке и ходить в кино». Обойдемся без сложносочиненных и сложноподчиненных. Обойдемся без тонкостей и обиняков. Да здравствует мир примитивный, как рыночный коврик, начальный мир чужого языка, terra incognita, по которой мы делаем первые робкие шаги. Ну как еще взрослый человек несенильного возраста может впасть в детство? Только так, уча иностранный, повторяя за учителем или за кассетой: «Хэлло! Как живешь?» – «Прекрасно. А ты?» – «Я тоже.» – «Как жена?» – «Хорошо». – «Как дети?» – «Отлично!» – «Прекрасная погода, не правда ли? Сияет солнце и поют птицы. Поедем завтра за город?» – «Хорошая идея. До завтра!».

«Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют?». Он здесь, в учебнике с надписью «Элементарный курс английского (или какого-нибудь другого) языка». Учи язык. И мой тебе совет: не спеши, растягивай удовольствие, подольше оставайся в том пространстве, где мама готовит ужин, папа читает газету, малыш играет с кошкой, а кошка – с бабушкиным клубком. Счастливо! Bye-bye!

2000

Островок безопасности

В вагоне было полно народу. На Курской стало еще больше: вошли люди с тюками, чемоданами. Мне повезло: я сидела. А напротив меня сидели мать с дочерью. Они тихо беседовали. Не знаю почему, но мне все время хотелось наблюдать за ними, и я была рада, когда толпа поредела.

Мать казалась немолодой и усталой, а девочка-подросток как-то странно произносила слова и слегка дергала головой. Я не слышала, что она говорила, но видела, как неестественно двигались ее губы и плыл взгляд. Если бы не это, девочку можно было бы назвать хорошенькой. Но вовсе не особенности ее внешности привлекли мое внимание, а то, как мать и дочь общались. Им было хорошо вдвоем. Они держались за руки и разговаривали, наклонившись друг к другу. В какой-то момент женщина достала из сумки книгу и что-то показала девочке. Обе засмеялись. И казалось, что все это происходит не в душном переполненном вагоне в час пик, а в тихой комнате при уютном свете настольной лампы. Повяло чем-то давно забытым, далеким послевоенным детством, когда долгими зимними вечерами мама читала мне вслух, бабушка штопала, а дедушка дремал, прикрыв лицо газетой.

Не странно ли, что в те, отнюдь не идиллические, времена могло быть хорошо и покойно? Но идиллических времен не бывает. Тем более в России. И наверное, что бы ни происходило вокруг, главное – микрокосмос. Никакого открытия тут нет, но до чего же это трудно – создать и сохранить островок безопасности, если не безопасности, то тепла и доверия, среди огромного, бурлящего, чреватого катаклизмами мира. Выходя из вагона, я в последний раз оглянулась на такой островок, образованный двумя не самыми счастливыми людьми. Унося с собой частицу их ауры, я шла и улыбалась, почти не замечая ни толчеи, ни шума.

1995

6. Стихи 1988–1999 годов

* * *

О том и об этом, но только без глянца,
Без грима и без ритуального танца.
О зле и добре, красоте и увечье...
Из нежных волокон душа человечья,
Из нежных волокон и грубого хлама...
Мы все прихожане снесённого храма,
Который, трудясь, воздвигали веками,
Чтоб после разрушить своими руками.

1988

* * *

Давайте отменим вселенскую гонку.
Давайте прокрутим назад киноплёнку.
Пусть нас обратно к истокам снесет,
Покуда пространство совсем не всосет,
Заставив в безвременьи ждать воплощенья.
Нам нету пощады и нету прощенья.
Нам было пространство и время дано,
А мы показали плохое кино.
За то, что плохое кино показали,
Достойны того, чтобы нас наказали.
Коль ленты не в силах придумать иной,
Пусть длится безмолвие в вечность длинной.

1988

* * *

В эпицентре тоски и страданья,
Где – затихни – услышишь рыданье,
В двух шагах от кровавой резни,
Неустанной и злобной грызни,
Возле пропасти, возле пожара,
На шершавой поверхности шара
Ставим стены, ребёнка растим
И страницами книг шелестим.

1988

* * *

Срывание масок, сдиранье бинтов
Под скрежет разболтанных старых винтов.
Во зло ли всё это, во благо?
Куда ты летишь, колымага?
Давно мы загнали своих лошадей.
Во всём, говорят, виноват иудей.
Кого мы ещё не назвали
Из тех, кто виновен в развале?
Летит колымага, а в ней мордобой.
Виновен картавый, виновен рябой.
Трясут и мотают телегу,
Летящую в пропасть с разбегу.

1989

* * *

*Ренэ Герра, ставшему символом
возвращения России в Россию*

Неужели Россия, и впрямь подбрев,
Поклонилась могилам на Сент-Женевьев?
Неужели связует невидимый мост
С Соловецкой землёй эмигрантский погост?
На чужбине – часовня и крест, и плита,
А в Гулаге родном – немота, мерзлота,
Да коряги, да пни, да глухая тропа,
Где ни тронь, ни копни – черепа, черепа.

1990

* * *

Слишком много и крови, и поту...
Не пора ли свести к анекдоту
Разговор о российском житье?
Чем растрачивать душу в нытье
И тянуть заунывную ноту,
И мусолить проклятый вопрос,
Лучше долго смеяться до слёз
Над собой, над своею бедою,
Что, попав в анекдот с бороною,

Принимал его слишком всерьёз.

1992

* * *

В ночной тиши гуляет ветер...
Господь грядущий день наметил
Вчерне, чтоб набело вот-вот
Пересоздать, и будет светел
Через минуту небосвод,
И вспыхнет он полоской алой...
Возможно ль жить без идеала,
Без абсолюта, без того
Неоспоримого начала —
Для всей вселенной одного,
Без веры, будто в мире этом
Безумном, горестном, отпетом
Должно каким-то светлым днем,
Как в детстве, все сойтись с ответом,
Что дан в задачнике моем.

1993

* * *

Опять минуты роковые.
Опять всей тяжестью на вые
Стоит История сама
И сводит смертного с ума.
И гнёт деревья вековые.

И снова некогда дышать
И надо срочно поспешать
В необходимом направлень,
Осуществляя становлень
И помогая разрушать.

А что до жизни до самой —
То до нее ли, милый мой?
И думать не моги об этом:
Мятеж весной, реформы – летом,
И перевыборы зимой.

1993

* * *

В этой области скорби и плача,
Где эмблемою – череп и кол,
Мы привыкли, что наша задача
Наименьшее выбрать из зол.

Мы усвоили: только лишь крестный,
Крестный путь и достоин и свят,
В канцелярии нашей небесной
Канцелярские крысы сидят.

Ты спроси их: «Нельзя ли без муки?
Надоело, что вечно тоска».
Отмахнутся они от доуки,
Станут пальцем крутить у виска.

1993

* * *

Устаревшее – «сквозь слёз»,
Современное – «сквозь слёзы» —
Лишь одна метаморфоза
Среди тьмы метаморфоз.

Все меняется, течет.
Что такое «штука», «стольник»
Разумеет каждый школьник,
И детсадовец сечет.

Знают, что «тяжелый рок»
Это вовсе не судьбина,
А звучащая лавина,
Звуков бешеных поток.

От скрежещущих колес,
Вздутых цен и дутых акций, —
Обалдев от всех новаций,
Улыбаемся сквозь слёз.

1993

* * *

Не стоит жить иль всё же стоит —
Неважно. Время яму роет,
Наняв тупого алкаша.
Летай, бессмертная душа,
Пока пропойца матом кроет
Лопату, глину, тяжкий труд
И самый факт, что люди мрут...
Летай душа, какое дело
Тебе во что оденут тело
И сколько алкашу дадут.
Летай, незримая, летай,
В полёте вечность коротай,
В полёте, в невесомом танце,
Прозрачайшая из субстанций,
Не тай, летучая, не тай.

1993

* * *

Пена дней, житейский мусор,
Хлам и пена всех времен.
Но какой-нибудь продюсер
Будет ими так пленен,

Что обычную рутину
С ежедневной маетой
Переплавит он в картину,
Фонд пополнив золотой.

Будут там такие сцены
И такой волшебный сдвиг,
Что прокатчик вздует цены,
Как на громкий боевик.

...Сотворил Господь однажды
Нет, не мир, а лишь сырец,
Чтоб, томим духовной жаждой,
Мир творил земной творец.

1993

* * *

Так и маемся на воле,
Как бездомные,
То простые мучат боли,
То фантомные.

Ломит голову к ненастью,
В сердце колики...
Сядем, братья по несчастью,
Сдвинув столики.

Сдвинем столики и будем
Петь застольную,
Подарив себе и людям
Песню вольную,

Все болезненное, злое
И дремучее,
Переплавив в неземное
И певучее.

1994

* * *

А между тем, а между тем,
А между воспаленных тем
И жарких слов о том, об этом
Струится свет. И вечным светом
Озарены и ты и я,
Пропитанные злобой дня.

1994

* * *

В машинном реве тонет зов,
И вместо дивной кантилены
Звучит надсадный вой сирены
И визг безумных тормозов.
И все же надо жить и петь,
Коль петь однажды подрядился,
И надо верить, что родился,

Чтобы от счастья умереть.

1994

* * *

Кнутом и пряником. Кнутом
И сладким пряником потом.
Кнутом и сдобною ватрушкой...
А ежели кнутом и сушкой,

Кнутом и корочкой сухой?
Но вариант совсем плохой,
Когда судьба по твари кроткой –
Кнутом и плеткой, плеткой, плеткой.

1994

* * *

Откуда ты?
Как все – из мамы,
Из темноты, из старой драмы,
Из счастья пополам с бедой,
Из анекдота с бородой.
Ну а куда?
Туда куда-то,
Где все свежо: цветы и дата,
И снег, и елка в Новый год,
И кровь, и боль, и анекдот.

1996

* * *

Идут по свету дяди, тёти,
И все они в конечном счёте
Куда-нибудь придут.
Ну а душа – она в полёте,
Она ни там, ни тут,
Коль есть она. А если нету,
Придётся бедному поэту
Вот так писать в тиши:
«Людской поток течёт по свету,
Течёт – и ни души.»

1997

* * *

Всё вполне выносимо, но в общих чертах,
А в деталях... постылые эти детали!
Не от них ли мы так безнадежно устали,
И особенно те, кто сегодня в летах.

Эти ритмы попсовые над головой,
Эта дрель за стеной, что проникла в печёнки,
Уголовного вида хозяин лавчонки,
Одинокой собаки полуночный вой,

Этот ключ, что, хоть тресни, не лезет в замок,
Полутёмный подъезд и орущие краны,
Тараканы и мыши, и вновь тараканы,
В жаркой схватке с которыми всяк изнемог.

Бог деталей, я всё же не смею роптать.
То ли Ты мне шепнул, то ли выскочка – дьявол,
Что на тех, кто в мирском этом хаосе плавал
И тонул, – лишь на них снизойдёт Благодать.

1999

* * *

Made in Russia, in Russia, в России одной
Обходиться умеют без речи родной,
С матерком продираясь в тумане,
И, пускаясь в загул, не стоять за ценой,
Даже если негусто в кармане.

Made in Russia, in Russia, взгляните на швы,
Как они непрочны и небрежны, увы,
Да к тому же и нитки гнилые...
Ни приткнуться и ни приклонить головы –
Времена здесь всегда нежилые.

Наш родной неуют – навека, навека.
Хоть дрожит у хмельного умельца рука,
Когда тянет он жижу из склянки,
Он ещё молодец и при деле пока,
И не рухнул ещё со стремянки.

1999

Эти ритмы поповые над головой,
Эта дрель за стеной, что проникла в печёнки,
Уголовного вида хозяин лавчонки,
Одинокой собаки полуночный вой,

Этот ключ, что, хоть тресни, не лезет в замок,
Полутёмный подъезд и орущие краны,
Тараканы и мыши, и вновь тараканы,
В жаркой схватке с которыми всяк изнемог.

Бог деталей, я всё же не смею роптать.
То ли Ты мне шепнул, то ли выскочка – дьявол,
Что на тех, кто в мирском этом хаосе плавал
И тонул, – лишь на них снизойдёт Благодать.

1999

* * *

Made in Russia, in Russia, в России одной
Обходиться умеют без речи родной,
С матерком продираясь в тумане,
И, пускаясь в загул, не стоять за ценой,
Даже если негусто в кармане.

Made in Russia, in Russia, взгляните на швы,
Как они непрочны и небрежны, увы,
Да к тому же и нитки гнилые...
Ни приткнуться и ни приклонить головы –
Времена здесь всегда нежилые.

Наш родной неуют – навека, навека.
Хоть дрожит у хмельного умельца рука,
Когда тянет он жижу из склянки,
Он ещё молодец и при деле пока,
И не рухнул ещё со стремянки.

1999

7. Упоение заразительно

* * *

Муза. Оборотень. Чудо.
Я тебя искала всюду.
Я тебя искать бросалась –
Ты руки моей касалась.
Ты всегда была со мною –
Звуками и тишиною,
Талым снегом, почкой клейкой,
Ручейка лесного змейкой.
Без тебя ломала руки,
Ты ж была – мои разлуки,
Смех и слёзы, звук привета,
Мрак ночной и столбик света,
Что в предутреннюю пору
Проникает в дом сквозь штору.

1972

* * *

Легкий крест одиноких прогулок...
О. Мандельштам

Пишу стихи, причем по-русски,
И не хочу другой нагрузки,
Другого дела не хочу.
Вернее, мне не по плечу
Занятие иного рода.
Меня волнует время года,
Мгновенье риска, час души...
На них точу карандаши.
Карандаши. Не нож, не зубы.
Поют серебряные трубы
В соседнем жиденьком лесу,
Где я привычный крест несу
Своих лирических прогулок.
И полон каждый закоулок
Души томлением, тоской
По женской рифме и мужской.

1993

Из эссе «Путевые заметки»

...В начале 1960-х, я стала ходить в литобъединение при многотиражке «Знамя строителя». Привел меня Вадим Ковда. Собирались по четвергам на Сретенке, в Даевом переулке. Занятия вел поэт Эдуард Иодковский. Иногда он приглашал к нам гостей. Приходили Лев Шилов, Генрих Сапгир. Был у нас и Дудинцев, чей правдивый роман «Не хлебом единым» наделал тогда много шуму. Роман ругали в прессе, им зачитывались, его рвали из рук. Наши студийцы засыпали Дудинцева вопросами. Кто-то пришлый задал ему вопрос с подковыркой. Дудинцев помолчал и грустно спросил: «Зачем вам моя кровь?» Он выглядел усталым, говорил тихо, медленно, внимательно слушал стихи. «Это пока еще гаммы, но сыгранные бегло, чистенько», – сказал он о ком-то. «А это уже этюды», – отозвался он о стихах молодого человека, сравнившего лес с роялем – или рояль с лесом, в котором белые и черные стволы похожи на белые и черные клавиши.

Читал стихи немолодой учитель сельской школы Александр Дождиков, о котором говорили, что несколько лет назад он потерял жену и ребенка, живет один, писать начал совсем недавно и приезжает в наше литобъединение бог знает откуда. Дождиков читал неторопливо, задумчиво, глядя куда-то вдаль и отбивая такт рукой:

*Тяжело бытовать при Батые.
При Батые законы крутые.
А законники – конники, конники.*

Дудинцев заволновался: «О, вот это матерый волк. Это силища»...

Долгие годы мама дружила с Виктором Ефимовичем Ардовым. Мы часто бывали у него на Ордынке, а он у нас на Полянке. Однажды двенадцать моих стихов легли к нему на стол. Он их прочитал, сказал в своей шутиливой манере: «Ничаво», – и размашисто написал на клочке бумаги, который приколот к стихам: «Преображенскому, в «Юность». Сережа, по моему, мило. Почитай, а?» Через несколько дней я пришла в «Юность». Тот, с кем я говорила (вряд ли это был Преображенский), полистал мои стихи и сказал: «Сейчас пишут все. Писать надо, знаете, как будто бьете под дых, чтоб прочел – и дыхание прервалось». Я собрала свои листочки и побрела домой. Под дых не получалось. «Полосой неудач, полосой неудач / Вдоль ослепших окон заколоченных дач...» Разве это под дых? И кому все это надо? Мне-то надо. Я без этого не понимаю, что происходит со мной и вокруг. Но если это надо только мне и никому больше, то стихи ли это? И я продолжала бродить по Москве с записной книжкой и ручкой в кармане, ходить на четверги к Иодковскому, на литобъединение «Магистраль» к Григорию Михайловичу Левину.

При ЦДЛ существовала комиссия по работе с молодыми, которая устраивала семинары, чтения, обсуждения, прослушивания молодых. Активнее других нами занимались Лидия Борисовна Либединская, Нина Бялосинская и, по моему, Николай Панов. На одном из семинаров выступал раскованный и остроумный Аронов, худой и спортивный Юдахин, чья манера чтения немного напоминала евшушковскую. Читала свои детские и взрослые стихи Галина Демькина. Запомнились ее строчки о поезде, который ехал «мимо дома, мимо дыма, мимо мило и любимо...» Как-то раз Борис Слуцкий представил участникам семинара Кима и Ковалю. Сперва они пели под гитару собственные песни, а потом Коваль показывал свои картины, которые, к сожалению, плохо помню. Кажется, они были очень красочными и отнюдь не традиционными, что привело в ярость даму, сидевшую рядом со мной. Некоторое время она тихо возмущалась, а когда ее терпение лопнуло, встала и произнесла обличительную речь с

массой нелестных эпитетов в адрес художника. Ее тираду прервал старый писатель Рахтанов, который, вынув изо рта свою вечную трубку, негромко сказал: «Его картины очень красивы. Мадам, вы дура». Женщина задохнулась от негодования и вышла, хлопнув дверью...

В 1971 году поэт Сергей Дрофенко пригласил меня в «Юность», где он был заведомо поэзии, и предложил участвовать в совещании молодых литераторов. Совещание проходило в Москве и длилось пять дней. За эти пять дней я потеряла пять килограммов. Во мне осталось сорок девять, и я слегка качалась от слабости. Мне всегда было очень страшно выносить на суд стихи. По закону свинства мне выпало читать самой последней в последний пятый день. Всех участников семинара распинали на моих глазах: Леню Латынина, Люду Мигдалову, Сашу Тихомирова, Лешу Королева. Одних ругали больше, других меньше, некоторых хвалили. Но все равно были судьи – руководители семинара (поэты Василий Казин, Василий Субботин, Владимир Соколов), свидетели обвинения, свидетели защиты и подсудимый поэт, который отважно или робко читал стихи и обреченно выслушивал приговор. Четыре дня я сидела в зале, а на пятый предстала перед судом. Я прочла десять стихотворений и получила единодушное одобрение. Меня не ругали даже те, кто всегда и всех ругал. Один из участников семинара сказал: «Мы, наверное, так долго всех бранили, что устали. Оттого и хвалим». Может, и так. Но это был триумф. После семинара ко мне подошел талантливый и добрый Саша Тихомиров и, обняв за плечи, ласково сказал: «Солнышко русской поэзии». И пусть моя первая книга вышла лишь через шесть лет, а вторая – еще через десять, но у меня есть письмо Арсения Тарковского и удивительные дни 1971 года.

Тогда же я познакомилась с Николаем Васильевичем Панченко, замечательным поэтом, руководителем другого поэтического семинара на том же совещании. Владимир Соколов прочел ему мои стихи и Николай Васильевич пригласил меня к себе. С тех пор я часто приходила к нему в Крапивинский переулок с новыми стихами. Сказать, что Панченко читал каждое стихотворение внимательно, значит ничего не сказать. Он размышлял над ним, мучился, думал, откладывал и снова к нему возвращался. «Не случилось», – произносил он сокрушенно. И после паузы: «Стихотворение не случилось. Все погубило в третьей строке. В первых двух еще живет, а дальше – инерция.» Н.В. удивительно улавливал авторскую интонацию и прочитывал именно так, как писал автор. Пока он размышлял над стихами, я разглядывала полутемную, заполненную книгами и тишиной комнату, слушала воркотню голубей за окном, выходящим во двор, и с тревогой следила за выражением его лица, пытаясь угадать, что он думает. Наши встречи всегда строились одинаково. Панченко читал мои стихи, мы подробно о них говорили. Иногда разговор уходил в сторону и снова возвращался к стихам. Но я никогда не спрашивала его над чем работает он сам, не просила почитать стихи, считая себя ученицей, не смеющей беседовать с мэтром «на равных». По этой же причине, когда Тарковский читал мне свои новые стихи, я не высказывала вслух своего к ним отношения. Однажды после моего визита позвонила Татьяна Алексеевна: «Ларисочка, Вам что, не нравятся Арсюшины новые стихи?» Я растерялась: «Как? Почему?» «Но Вы ничего не сказали.» С той поры я поняла, что каждому, молодому и старому, неизвестному и прославленному – не достает внимания, душевного отклика, а главное, уверенности в себе. «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать.» Оглядываясь назад, вижу, что проходила некий путь, пытаясь найти себя и свое.

И еще вижу, что далеко неблагополучный мир, в котором жила, казался почему-то обжитым и домашним. Война, эвакуация в Куйбышев, где я, по рассказам близких, чуть не погибла в яслях от диспепсии, послевоенная убогая московская коммуналка на Полянке, класс, состоящий из пятидесяти девочек, из коих лишь у одной был жив отец; невнятные, приглушенные разговоры, во время которых мелькали малопонятные слова: посадили, космополит, ex nostras, вечно пропадающие на работе взрослые... И все же у меня был ДОМ: длинные зимние вечера, когда бабушка шила из лоскутов одежды для моей куклы, сладкое воскресное утро, когда мама

читала мне вслух, праздники, к которым готовились заранее: пекли коржи для «наполеона», следя, чтоб я не отщипнула слишком много, варили фаршированную рыбу. «Бинечка, сделай вкус», – кричала из кухни бабушка. И тогда дедушка засучивал рукава рубашки и делал «вкус», добавляя соль, пряности и нечто известное ему одному и создающее тот необыкновенный аромат, который распространялся по квартире. В понятие ДОМ входили кусты сирени, посаженные когда-то бабушкой во дворе, кучи угля возле котельной, голубятня в соседнем дворе, улицы и переулки, по которым можно было гулять и разговаривать, не повышая голоса, аромат свежего хлеба, доносящийся из соседней булочной «под навесом», таинственный запах сырого, грибного леса в вестибюле Третьяковки, куда мы, живя неподалеку, часто бегали, звонок трамваев – всех этих «аннушек» и «букашек», тихие, задумчивые вздохи троллейбуса. Все это называлось МОСКВА. Она еще оставалась такой в 50–60-е годы. По ней хотелось идти пешком. И шли. Из института через парк Сокольники, на Кузнецкий в книжный магазин, на улицу Разина в библиотеку иностранной литературы (вернее, в Разинку), чтоб послушать обзор новинок английской и американской литературы, на Цветной бульвар в студию алексеевской гимнастики. Студия располагалась в школе, рядом с которой прятался во дворе маленький, уютный, типично московский особняк, где некогда жил актер Михаил Щепкин. Я невольно пыталась заглянуть в окна особняка, надеясь увидеть картинки прошлой жизни. Нет, время определенно текло медленнее в те годы. Его хватало и на чтение, и на друзей, и на одинокие прогулки. Не покидало ощущение спиралевидного движения, постепенного роста. Все было исполнено смысла и значения. Вот загадка, которую не могу разгадать: почему в такое отнюдь не вегетарианское время мир представлялся более пригодным для жизни чем сегодня. Ведь и «оттепель» – не пастораль: наши танки в Венгрии и Чехословакии, суды над интеллигенцией, идеологическая кампания, невежество, раболопство, слепота. И все равно постоянно звучал «надежды маленький оркестрик». А позже все надломилось и рухнуло. Ощущение стабильности сменилось предчувствием близкой катастрофы. Когда я думаю о конце 70-х начале 80-х на ум приходят слова: безысходность, тупик, могильная плита. И одновременно непрерывная гонка, усталость от неподъемного быта, и главное, от невозможности воплотить задуманное. В моем случае, от невозможности выйти к читателю. Когда-то, в начале нашего знакомства Николай Васильевич Панченко сказал: «Вам не надо суетиться, Ларисочка. У ваших стихов есть ножки.» Увы, все оказалось сложнее и безнадежнее. Груда неизданного росла и росла, грозя обвалом в домашнем масштабе. Стихи, как дети, которые со временем должны покидать родителей и жить на своих путях. Узкий круг друзей и близких не спасает положения. Стихи должны выходить в мир к НЕИЗВЕСТНОМУ читателю и жить своей, НЕВЕДОМОЙ поэту, жизнью. Пыльные папки на шкафах, столах и полках – не жизнь, а кладбище стихов. Строки, строки, строки. С кем говорю? Зачем пишу?

Выходит, мой путь лежал от одного «зачем» к другому. А сегодня в 90-м и подавно не до стихов. Можно ли расслышать стихотворную строку в насадной какофонии: рынок, демократия, дефицит, коммерция, милосердие, погромы, омовцы, храм. Город, в котором живу, превратился в пустыню. Все в дефиците – воздух, еда, одежда, тишина, покой, радость. Унылые стены домов оклеены объявлениями, призывающими записаться в группу ушу, на блицкурсы иностранных языков, посетить видео салон и помочь найти собаку. «Пропала собака, – вопиют стены города, – рыжая, черная, палевая. Помогите найти. Звонить по телефону... Вознаграждение гарантируем.» Помогите, мы тоже пропали, и бездомные, бесхозные мечемся по призрачному городу при тусклом свете редких фонарей. Никогда еще мир не казался мне столь агрессивно-назойливым, взвинченным, неустроенным, угрюмым. Никогда еще не навязывал себя с такой яростью, лишая права на тишину и суверенность. Никогда еще я не чувствовала такой подключенности к абсурдным, жестоким, горьким и кровавым событиям сегодняшнего дня. Никогда еще мое занятие не казалось мне таким бессмысленным и ненужным.

Разговоры о музыке с Тарковским, чтение стихов Николаю Васильевичу Панченко, многочасовая прогулка с Григорием Левиным, шумные литобъединения, неторопливое чтение книг, всегда необходимых, всегда появлявшихся на моем столе во-время – все кажется несбыточным и невозможным сегодня. Неужели эта больная жизнь является естественным продолжением прежней? Неужели ПУТЬ продолжается и куда-то ведет? Неужели и это провальное время «не на погибель нам дано, а во спасенье?»

1991

* * *

А я люблю одну планету,
Которой и на карте нету.
Её зовут «родная речь».
Где, если что и может течь,
То шесть проточных чистых гласных,
Счастливых и на всё согласных.

2016

* * *

И через влажный сад, сбивая дождь с ветвей,
Через шумящий сад, где вспархивает птица,
Бежать вперед, назад, вперед, левой, правой,
Вслепую, наугад, чтоб с кем-то объясниться ...

Что, кроме бедных слов, останется в строках?
Твержу: «Затмение, бред, безумие, затмение ...».
Сладчайшая из чаш была в моих руках,
И ливня, и ветров не прекращалось пенье.

Лишь тот меня поймет, кто околдован был,
В ком жив хотя бы слог той повести щемящей,
Кто помнит жар и лед, кто помнит, не забыл,
Как задохнуться мог среди листвы шумящей.

1986

**Из стихотворной подборки в журнале
«Простор» (№ 5, май 1973 г., стр. 58–59)**

* * *

В старой голубятне
С навесным замком
Одинокий голубь –
Белоснежный ком.

Горемычный голубь.
Нет судьбы черней,
Чем навек зависеть
От шальных парней.

Нет судьбы печальней,
Чем под свист и ор
Познавать манящий
Голубой простор.

Да и разве можно
Высоко взлететь,
Если дом твой всё же
Запертая клеть.

1969

* * *

Дети, дети, наши дети:
Руки – тоненькие плети,
Шейка – слабый стебелёк,
Путь ваш длинен и далёк.
Уберечь бы вас, да как,
От обид и передряг.
Лето, осень. День да ночь –
Улетите гордо прочь
В неизвестность, в темноту,
Напевая на лету.

1970

* * *

Купальщиков схлынул поток.
Забвение – грустный итог
Сезонных забав и пирушек.
И к берегу стынущих вод
Сегодня никто не придёт
Для отдыха и постирушек,
Не ступит на мокрый песок
И в тот приозёрный лесок,
Где дуб и берёза с осиной
На склоне осеннего дня
Своею печалью меня
Опутали, как паутиной.

1967

* * *

И всё равно я буду помнить свет.
И в пору тьмы, и на пороге смерти
Я не скажу, что в мире света нет,
А если и скажу, то мне не верьте.
Сплошная тьма у самого лица.
Но стоит сделать два нетвёрдых шага,
И вот уж под лучом струится влага
Какого-то лесного озера.
Мираж и сон? Воображенья плод?
И ночь кругом, и свет совсем не брезжит;
Но значит, где-то день и солнце нежит,
И огненно настурция цветёт.

1971

Стихотворение, в последний момент изъятое цензурой из подборки «Простора»

* * *

Доводы, всё доводы,
Старых истин проводы,
Ушедших без следа.
В рассужденьях гибкие
Говорим с улыбкою,
Терпимы, как всегда.
Что же вы, так что же вы
Пугаете прохожего,
Срываетесь на крик?
Пожили вы, прожили,
Мы только подытожили
Ваш опыт в краткий миг.
Истинное, ложное
Распознать не сложно вам
Было бы, когда б
В те дни вы сами не жили,
Не ваши зори брезжили,
В те дальние года.

1969

Переписка с Ильей Шуховым

*«В журнал «Простор»,
Шухову Илье Ивановичу.
12 июля, 1990 г.*

Уважаемый Илья Иванович, мой знакомый сказал мне, что в мае слышал по радио Ваш рассказ об отце, где Вы подробно говорили об эпосе с публикацией в мае 1973 г. в «Просторе» моей подборки стихов. [Илья Шухов Ветер разлуки // Простор. – 1996. – № 8. – С. 12–38.]

Жаль, что я не слышала передачи. Мне очень хотелось знать, как все это было в Алма-Ате. Напишу, что происходило в Москве. Может быть, Вам это будет интересно.

Мама дала Ивану Петровичу самодельный сборник моих стихов. Через некоторое время я получила от него большое письмо, в котором он тепло отзывался о стихах и сказал, что подготовил подборку и будет ее публиковать. Это, как Вы знаете, оказалось непросто, но Иван Петрович своего добился. Он написал маме об этом. И я немного слышала о тех «претензиях», которые ему предъявляли. Но вот где-то в начале июля появляется в Л.Г. передовица за подписью «Литератор», в которой эта публикация названа «лучшей публикацией молодых поэтов» (по моему, я цитирую дословно). Это Вы, наверное, знаете. А через две недели в той же Л.Г. печатается короткая заметка под названием «Читатель недоумеваает», автор которой весьма сердито критикует «Литератора», похвалившего «декадентские, упадочнические» стихи. После этого мою первую книгу вынули из плана ред. подготовки изд-ва «Сов. Пис.», а из «Дня Поэзии» – подборку стихов.

В августе того же года я была в Коктебеле, и на пляже ко мне подошел молодой человек и представился: «Литератор». Это был Евгений Сидоров. Он сказал: «Я из-за Вас выговор получил». Там же были мои знакомые, работающие в Л.Г., – ныне покойный Кокашинский и его жена, Владимир Константинович был заместителем ответственного секретаря Л. Г. Они рассказали, что произошло. Потом это подтвердили и другие сотрудники Л. Г. Вот эта история.

После того, как появилась хвалебная передовица в Л.Г., Иван Петрович пришел к Кунаеву и, показав ему газету, сказал: «Ваш квартальный свистнул не на том перекрестке». (Я, конечно, не ручаюсь за подлинность этих слов). Кунаев возмутился и позвонил в Москву Председателю Идеологической Комиссии ЦК КПСС П. Н. Демичеву. Петр Нилович затребовал журнал, якобы ознакомился с «лучшей подборкой года» и лично (мне говорили, что такого не бывает) позвонил в Л.Г. и сделал разнос. Чаковского не было на месте, и досталось Сыромкомскому. После этого в Л.Г. срочно придумали «недоумевающего читателя», по моему, из «Караганды» и напечатали его «письмо» в следующем номере. Вот такая история 17-летней давности, еще раз показывающая, какое огромное внимание в нашей стране уделялось поэзии.

Передо мной та подборка-разворот в пятом номере «Простора». Почему на стр. 59 сверху столько белого пространства? Может быть, некоторые стихи были сняты в последний момент? До 17-го года в таких случаях писали на белом месте «не дозволено цензурою». Но так ли это здесь, не знаю.

*С уважением, Лариса Миллер.
Адрес: Москва, ...».*

* * *

«Уважаемая Лариса (извините – не знаю Вашего отчества).

Не зря, значит, в кои-то веки удалось мне прорваться на Всесоюзное радио: услышали глас мой и в первопрестольной.

Насчет истории с публикацией Ваших стихов – в общем, так все оно и было, за исключением кое-каких деталей. Отец не ходил к Кунаеву, а звонил помощнику секретаря ЦК республики по идеологии Имашеву. Тогда он (отец) и сказал те самые знаменитые слова про квартального: передай, дескать, своему шефу.

Ваше письмо я получил одновременно с бандеролью из Москвы – издательство «Детская литература» прислало только что вышедший отличный сборник «Отрочество». В нем напечатаны автобиографические повести отца «Пресновские страницы». И – в память об Иване Петровиче – я решил выслать его Вам, что и сделал 25 июля.

Очень заинтересовало меня Ваше упоминание о большом письме Ивана Петровича. Не могли бы Вы прислать мне копию, ежели это письмо у Вас сохранилось? Мне дорого все, что было написано отцом, да и, при Вашем согласии, можно было бы передать письмо в Дом-музей отца на его родине – в станице Пресновской.

Ответьте, пожалуйста, если не трудно.

Всего Вам доброго!

С признательностью. 26.07.90».

* * *

«5 окт. 1990 г.

Дорогой Илья Иванович!

Большое спасибо за книгу, которую я получила с опозданием, т. к. жила за городом до середины сентября.

Ваш отец – прекрасный прозаик. Я прочла все три повести. Самое сильное впечатление произвела, пожалуй, первая – «Колокол».

Удивительно, я знала Вашего отца, когда была маленькой. Мы даже ходили вместе в цирк, и медведи сыпали на нас опилки, т. к. мы сидели в первом ряду, а медвежата, почему-то, возились над нашей головой. Иван Петрович называл меня «чудо-девка». Я представляла себе то чудо, в котором делали пироги и которые ставили в духовку. И не вполне понимала, каким образом я походила на такое круглое чудо с дырочками и вращающейся крышкой.

В более позднем возрасте я уже Ивана Петровича не встречала. А прочитала впервые только сейчас. Спасибо!

Извините, что так задержалась с ответом. Но это все по причине не столь давнего возвращения в Москву.

Хотелось бы знать, получили ли Вы мои стихи.

С уважением

Лариса Миллер».

**Публикация в «Московском комсомольце», прозвучавшая
по радио в день юбилея автора 29 марта 1985 г.**

* * *

Да будет лёгким слог!
Да будет ветерок
Играть строкой и словом
О вечном и суровом!
Легко, легко, легко
О том, что далеко,
Легко о том, что близко.
Скажи: мгновенье риска,
Как искра на ветру,
И вспыхнут поутру
Костры по всем дорогам...
Скажи легчайшим слогом.

1981

* * *

Творились дивные дела:
На свете яблоня цвела.
Затем, венчая вечный круг,
Звучал созревших яблок стук.

Венчая круг, кончая кон,
Менялся цвет осенних крон.
О, быть бы в силах, как листва,
Жить по законам естества;

Прошелестеть и точно в срок
Слететь бесшумно, как листок,
Того не зная, что летим,
И этот путь необратим.

1975

* * *

Мой белый день, гори, гори,
Ты даришь зарево зари,

И свет, и тень, и всё подряд,
На что ни брошу беглый взгляд:
Дорогу, дерево, цветы,
И от избытка доброты
Себя сжигаешь, чтобы в дар
Мне принести закатный жар.

1981

* * *

Тончайшим сделаны пером
Судьбы картинки,
И виснут в воздухе сыром
На паутинке.
Летящим почерком своим
Дожди рисуют,
И ветер легкие, как дым,
Штрихи тасует.
...Рисуют, будто на бегу,
Почти небрежно.
Я тот рисунок сберегу,
Где смотришь нежно.
Живу, покорна и тиха.
И под сурдинку
Колелет ветер два штриха
И паутинку.

1980

* * *

Легкой поступью, с легкой душой,
С легким сердцем. Поверь, непременно
Надо легкость вводить внутривенно:
Полегчает от дозы большой.
И однажды всему вопреки
Встрепенешься, вздохнешь с облегченьем
И взлетишь. Дорожи приключеньем
И летай с чьей-то легкой руки.

1982

Из повести «А если был июнь и день рождения...» (Памяти Арсения Александровича Тарковского)

*В затонах остывают парходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И, боже мой, из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.*

Эти стихи были так не похожи на все остальные, напечатанные на той же странице журнала «Москва» (не помню номера журнала и года, но помню, что это было в начале 1960-х). Всего одно маленькое стихотворение, над которым стояло имя неизвестного мне поэта: Арсений Тарковский. Стихи запомнились. Имя тоже. Когда я хотела записать только что сочиненные строки, я подкладывала под листок бумаги журнал с любимившимся стихотворением. Для вдохновения. Я недавно начала писать стихи и по вечерам ходила в литобъединение при многотиражке «Знамя строителя». Литобъединение собиралось на Сретенке в Даевом переулке. Там читали стихи, курили, спорили, кого-то возносили до небес, кого-то ругали, приглашали в гости мэтров. Но имя Тарковского никогда не звучало. Он был еще малоизвестен³⁹.

Однажды я услышала, что при Союзе писателей открывается студия молодых литераторов. Меня пригласили в эту студию, и я с радостью пошла. Организационное собрание происходило в Малом зале Дома литераторов. Зал был набит битком. За длинным столом сидели писатели – будущие руководители семинаров. Речи, речи. По окончании собрания всем студийцам предложили подойти к спискам, висящим на доске, и посмотреть, в чей семинар они попали. Я мечтала оказаться в семинаре Давида Самойлова, но, увы, не оказалась. Я так огорчилась, что побежала к одному из организаторов студии, поэту Нине Бялосинской, с которой была знакома прежде, умоляя записать меня к Самойлову. «Не могу, – говорила Нина, – у него полно народу. Но я записала тебя к прекрасному поэту Арсению Тарковскому. Иди познакомься с ним. Вон он, пожилой, с палкой». Робея, я подошла к поэту. Тот встал, уронил палку, протянул мне руку ладонью вверх и, мягко улыбнувшись, сказал: «Здравствуйте, дитя мое». И происходило это в 1966 году. Тарковскому было пятьдесят девять лет.

На первом семинаре Тарковский произнес речь, если то, что он сказал, можно назвать речью. «Я не знаю, зачем мы здесь собрались, – говорил он с улыбкой. – Научить писать стихи нельзя. Во всяком случае, я не знаю, как это делается. Но, наверное, хорошо, если молодые люди будут ходить сюда и тем самым спасутся от тлетворного влияния улицы». Вот с такой «высокой» ноты мы начали свои занятия. На каждом семинаре кто-то читал стихи, а потом семинаристы высказывались по поводу прочитанного. Почему-то на литобъединениях было принято нападать и кусаться. Тарковского такой тон шокировал. Было видно, что ему становилось неуютно в обществе юных волчат. Тарковский не хвалил всех подряд. Вышучивал неуклюжие строки, не пропускал ни одной плохой рифмы, но никогда не делал это грубо. Если же стихи ему совсем не нравились, он говорил: «Это так далеко от меня. Это совсем мне чужое».

³⁹ В 1946 году после постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" издание первой книги Арсения Тарковского было приостановлено, а потом матрицированный набор был уничтожен.

Арсений Александрович никогда не держался мэтром, вел семинары весело и любил рассказывать, как однажды Мандельштам читал в его присутствии новые стихи:

*Довольно кукушаться! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа...*

«Почему не Антуан?» – спросил Т. «Молодой человек! У вас совсем нет слуха!» – в ужасе воскликнул Осип Эмильевич. Как я узнала много позже, Арсений Александрович рассказывал нам историю, случившуюся не с ним, а с Семеном Липкиным. «Я не обманываю, я фантазирую», – говорит герой одной детской книжки; то же самое можно сказать и про Тарковского...

А.А. был терпим. Он не любил конфронтаций, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Но он был непримирим и определен, когда речь шла о принципиальных вещах. Мой друг Феликс Розинер был свидетелем такой сцены на семинаре молодых литераторов в Красной Пахре в 1970-е годы. На общем собрании один из участников семинара вышел на трибуну и гневно заявил, что накануне вечером имярек пел под гитару антисоветские песни. «За такие песни расстреливать надо!» – кричал обличитель. И тут из зала раздался громкий голос Тарковского: «Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова».

Наступил день, когда на семинаре в ЦДЛ обсуждались мои стихи. Не помню, что мне говорили, но помню, что я была удручена. Мне казалось, что Тарковского мои стихи оставили равнодушным. Некоторое время спустя А.А. вдруг попросил меня дать ему стихи. Он сказал, что хочет повнимательнее прочесть их. Когда я пришла к нему домой через несколько дней, Тарковский был в страшном волнении. Он шел мне навстречу. Вернее не шел, а прыгал на одной ноге (он был без протеза), тяжело опираясь на палку. «Здравствуйте, детка. Я как раз пишу вам письмо. Вы чудо и прелесть, – говорил он. – И стихи ваши чудо. Вы все прочтете в моем письме. Пойдемте в комнату». Мы сели на диван. Голова моя кружилась. Мне казалось, что это сон. Арсений Александрович придвинул к себе лист бумаги и стал дописывать письмо. «Читайте». Он подал мне густо исписанный листок бумаги. Я читала и не верила своим глазам. Когда я закончила читать и посмотрела на Тарковского, он, улыбаясь своей особенной, растроганной и ироничной, улыбкой, быстро провел ладонью по моим волосам: «Все правда, детка. Вы чудо. Только пишите». Даже сейчас, вспоминая тот день, я завидую самой себе. Потом до меня доходили слухи, что А.А. читал знакомым мои стихи, носил их в журнал «Юность» и читал вслух в отделе поэзии, что он ездил в издательство «Советский писатель» на прием к заместителю главного редактора Соловьеву и пытался ускорить издание моей книги, которая лежала там без движения. Сам Т. никогда мне об этом не говорил. Разве что вскользь, без подробностей. Я не боюсь, что меня обвинят в нескромности, по нескольким причинам. Во-первых, как говорила Ахматова, беседуя с кем-то из друзей, «мы не хвастаемся. Мы просто рассказываем друг другу все подряд».

В 1970-е и 1980-е годы Тарковский нередко выступал в научных институтах, библиотеках, творческих союзах. А.А. всегда читал стоя. «Из уважения к Музе», – говорил он. В 1976 году мы с мужем купили магнитофон и приехали к Тарковскому, чтоб записать его чтение. Это была моя давняя мечта. А.А. читал долго и щедро. К сожалению, качество кассет оказалось низким, и сейчас их почти невозможно слушать. Слава богу, теперь выпущены пластинки.

Тарковский любил читать стихи других поэтов. Однажды при мне к нему пришел прощаться перед отъездом в Израиль Анатолий Якобсон⁴⁰, и они с Т. долго наперебой читали Пушкина. А.А. часто читал Тютчева, Ин. Анненского, Мандельштама, Ходасевича, Ахматову. По-моему, Тарковский очень тосковал без нее. Как-то он грустно сказал мне: «Вот нет Анны Андреевны, и некому почитать стихи». Когда Тарковский читал Ахматову, на глаза его навораживались слезы. «Ее рукой водили ангелы», – говорил он.

Тарковский любил вспоминать шутки Ахматовой. У Татьяны Алексеены даже есть записная книжка, в которую она все годы их знакомства записывала ахматовские остроты.

Как-то, придя к Тарковским в Переделкино, мы увидели у А.А. на кровати маленький сборник Георгия Иванова, изданный за рубежом. «Послушайте, какой дивный поэт!» – воскликнул Т. и, открыв книжку, прочел:

*Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны,
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.*

Потом мы долго листали сборник и читали стихи по очереди. Арсений Александрович с удовольствием читал гостям стихи и прозу Даниила Хармса из хранившегося у него самодельного сборника. Часто читал понравившиеся ему стихи молодых своих друзей: Саши Радковского, Марка Рихтермана, Миши Синельникова, позже Гены Русакова. Всех нас он опекал, пытался помочь, хотя это было непросто и не всегда ему удавалось. «Плохие времена, детка, пятидесятилетие⁴¹», – со вздохом говорил А.А. еще в начале нашего знакомства.



*А. Зорин, М. Рихтерман, М. Синельников, Л. Миллер, А. А. Тарковский, А. Радковский.
Вечер в библиотеке им. А. П. Чехова, ноябрь 1972 г. Фото А. Орлова*

⁴⁰ Анатолий Якобсон – литератор, преподаватель русского языка и литературы, активный участник правозащитного движения. В 1973 году под угрозой ареста был вынужден уехать из СССР. Несколько лет спустя покончил с собой в Израиле.

⁴¹ 50-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 г.

На моей книжной полке стоит фотография, сделанная в 1972 году в Библиотеке им. Чехова, где мы, молодые поэты Саша, Миша, Марк, Алик Зорин и я, выступали со стихами. Тарковский вел вечер. «И как это было давно!» Марк Рихтерман умер в 1980 году. Он успел увидеть в печати несколько своих стихотворений⁴².

Случилось это только благодаря усилиям Евгения Евтушенко, Арсения Александровича и его жены Татьяны Алексеевны Озерской, которая стала другом всех молодых друзей Тарковского. У Саши Радковского до сих пор нет ни одной книги и даже ни одной настоящей публикации⁴³. А те несколько стихотворений, что напечатаны, тоже, по-моему, появились в печати не без помощи Тарковского. Остальным участникам того вечера больше повезло: у нас есть книги. Хотя и урезанные, препарированные, но есть, что само по себе чудо, если учесть, что пятидесятилетие плавно перешло в шестидесяти-, а потом в шестидесятипятилетие. И все это время мы ждали, когда кончатся «праздники» и начнется жизнь. Невольно приходят на память строчки из самодельной книги никогда не печатавшегося поэта Владимира Голованова «Сентяб, октяб, нояб, декаб, кап, кап, кап...» Одно время Тарковский, которому случайно попал в руки машинописный сборник Голованова, с удовольствием угощал гостей его странными, абсурдными, смешными и горькими стихами: «А ледники ползут, как змеи, и тают, гадины, как масло...» – громко хохоча, читал А.А.

Сентяб, октяб, нояб... Шли годы. И все это выморочное время Тарковский оставался для нас заповедником, где мы находили то, что исчезало на глазах: корневую, нерушимую связь с русской и мировой Культурой, благоговейное отношение к Слову, Музыке, Жизни. Арсений Александрович не любил пафоса, и мы ему никогда не говорили высоких слов, хотя каждый из нас понимал, что такое Тарковский. Его присутствие на земле вселяло надежду. И он сам всегда призывал надеяться, не опускать рук, хотя вовсе не был оптимистом. Вот как он надписывал свои сборники: «...с надеждой добра и пожеланием счастья, в ожидании новых стихов и книги, с заветом писать во что бы то ни стало... 18.8.69», «...с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они – хлеб насущный. 7.2.1975».

Осень 1977 года. Мы с мужем едем к Тарковским в Голицыно. Я везу ему свою первую книгу, которая наконец-то после долгого ожидания вышла. Тарковский в постели. Он недавно упал, сильно ушибся и еще малоподвижен. Арсений Александрович берет книгу в руки, перелистывает страницы, кое-что читает вслух, изучает обложку и иллюстрации. Он рад моей книге, очень ждал ее появления и немало для этого сделал. Вижу, как он держит книгу своими большими сильными руками, как проводит по странице ладонью... Тогда же зашел разговор об Андрее. Арсений Александрович с грустью сказал, что Андрей давно не звонил, не появлялся и даже не знает, что отец болен и лежит в Голицыне. И – о чудо – возвращаясь в тот день из Голицына, мы оказались в вагоне метро рядом с Андреем. Я бросила случайный взгляд на рукопись, которую он читал, и увидела, что это сценарий о Моцарте. Велико было искушение сказать ему, что мы едем от отца, который болен и скучает, но мы не решились, так как не были знакомы. Я много раз встречала дочь Тарковского Марину, которая часто навещала отца. Мы подружились и иногда перезванивались. Андрея же я видела только дважды в жизни: в первый раз в Политехническом музее на вечере Арсения Александровича, второй – тогда в метро. Саша Радковский видел его чаще и говорил мне, что порой казалось, будто Арсений младше Андрея. Рядом с А.А., который часто шутил и дурачился, Андрей казался

⁴² Проведя четыре мучительных года на гемодиализе, Марк Рихтерман написал роман «И в мрачных пропастях» и много замечательных стихотворений. См. публикацию в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории». № 7. 2007.

⁴³ В 1993 году, уже после того, как этот текст был написан, в издательстве «Авиатехинформ» вышел сборник стихов Александра Радковского «Шершавая десть», а в 2003-м в киевском «FLAMINGER Год» – сборник «Одножильная скрипка».

молчаливым и серьезным. Саша видел, как они играли в шахматы. Когда А. А. проигрывал, он так расстраивался, что даже чувство юмора ему изменяло. Он требовал новых партий и играл до тех пор, пока не выигрывал. Если же не удавалось взять реванш, Тарковский долго оставался не в духе. Я не видела, как играл в шахматы А.А. с Андреем, но знаю, что он не мог равнодушно смотреть на чужую партию. Однажды в шахматы сражались мои сыновья. Я что-то рассказывала Арсению Александровичу, но увидела, что он меня не слушает и весь поглощен игрой моих детей. Младшему было тогда лет девять или десять. Он только учился играть. Ему требовалось время, чтоб обдумать ход. Но не тут-то было. А.А., передвинув на доске фигуру, требовал: «Ходи так». Но мой сын хотел ходить сам. Он поставил фигуру на место и сделал другой ход. Нелепейший, с точки зрения Арсения Александровича. «Что ты делаешь? – кричал А.А. и хватался за голову. – Кто так ходит?» Он пытался повторить свой прежний ход, но мой сын вцепился в фигуру и не отпускал. Он был почти в слезах, Тарковский – в гнев, а я – в ужасе. Положение спасла Татьяна Алексеевна. Она пришла (это было, кажется, в фойе переделкинского Дома творчества) и увела всех в парк.



Арсений Тарковский и Лариса Миллер с детьми Павликом и Илюшей. Переделкино, 1978 г.

Я почти не встречалась с Андреем, но Арсений Александрович нередко говорил о нем. Особенно во время съемок фильма «Зеркало». Да и позже. Однажды А. А. сказал мне: «Сегодня был Андрей и рассказал сон: мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева, то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова...» Сон был длинный. Я не придавала этому рассказу значения и мало что запомнила. А позже поняла, что этот сон был началом «Зеркала», моего любимого фильма. А.А. видел фильм много раз, хотя это давалось ему непросто, и он всегда имел при себе валидол. Как больно смотреть «Зеркало» теперь, когда нет ни Андрея, ни Арсения Александровича, ни Марии Ивановны – матери Андрея. Какое счастье, что остаются стихи и фильмы. Какое счастье, что остался голос Арсения Александровича. Его неповторимый, глуховатый, вибрирующий голос:

*Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была*

*Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.*

Думая о «Зеркале», особенно о последних кадрах фильма, тех, где бескрайнее поле, через которое идут то мать с детьми, то бабушка с внуками, я невольно вспоминаю маленький любительский снимок, который я видела у Арсения Александровича: по тропинке, взявшись за руки, идут отец с сыном. Снимок довоенный. Отец еще без палки, молодой, в белой рубашке с закатанными рукавами, а сын маленький, стриженный. Они сфотографированы со спины, идущими через поле солнечным летним днем.

Пишу одно, а вспоминаю другое: и драматичное, и забавное, и смешное. Вспоминаю, как летом 1972 года Тарковские приехали навестить нас в Заветы Ильича, где мы снимали дачу. Мы пошли вместе на речку, и мой старший сын, которому тогда было четыре года, завел с дядей Арсюшей разговор о том, что каждый человек похож на какое-нибудь животное. «Ну а я на кого похож?» – спросил А.А. «Ты?» Мой сын задумался, внимательно разглядывая Тарковского. «На обезьяну», – уверенно заявил он. А.А. расхохотался. По-видимому он был польщен, так как любил обезьян, считал их милашками и даже держал старую плюшевую обезьяну на своем диване. Когда мы собирались уходить с речки, мой ребенок отличился снова. Он долго следил за тем, как Тарковский пристегивает протез, а затем громко спросил: «А дядя что, разборный?» А.А. всегда запоминал чужие шутки и любил их повторять. Он не терпел котурнов и даже о драматичном и тяжелом в своей жизни умел говорить как о чем-то будничном и смешном. Однажды Тарковский рассказывал, как он со своими солдатами брал высоту. Мой муж спросил его: «А как вы поднимали солдат в атаку? Кричали? Приказывали?» «Нет, – ответил Т., – я им сказал: «Ребята, надо взять эту высоту. Если не возьмем, меня расстреляют». Даже о том, как он потерял ногу, А.А. рассказывал как о забавном эпизоде. Он уже погибал, нога загнивала, а раненых все несли и несли. Госпиталь был переполнен. Врачи не справлялись, санитары спали на ходу. Тарковского спас лежащий рядом офицер, который выхватил пистолет и, направив на вошедшего хирурга, приказал нести раненого на операцию.

Наступило лето. Месяц назад, 25 июня, был день его рождения. Первое лето без Тарковского. Первый день рождения без поэта. Но без поэта ли? Ведь я слышу его голос:

*А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женицин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливым,
И завиток волос неповторимый,
И этот поцелуй неотвратимый...*

Июль 1989

Из повести «Поговорим о странностях любви» (1990)

*Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжной землей,
Над гнойной книгою, над книгой дорогой,
Которой мучимся как музыкой и словом.*

Трудно поверить, что я росла, не зная ни этих, ни других строк Мандельштама. И не знала я ни единой цветаевской строки. Даже таких хрестоматийных, как

*Тоска по Родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой
Быть...*

Из ахматовских стихов я знала только тот, который часто слышала в детстве, потому что его любила читать мама, когда собирались гости:

*Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.*

Мама читала стихотворение, держа в руках малоформатный сборник, который ей подарила сама Ахматова вскоре после войны. Читала с выражением, с красноречивыми паузами. А прочитав, эффектным движением захлопывала книжку и бросала на диван. Вот и вся Ахматова, которую я знала. После того как мне однажды сказали, что в моих стихах есть ахматовские интонации, я даже боялась прикоснуться к ее поэзии. И лишь много позже, когда можно было не опасаться подражательности, открыла для себя Ахматову целиком.

Удивительно, начиная писать, я совершенно не была «обременена» знанием великой поэзии. Но, может быть, такое невежество необходимо, чтоб на что-то решиться. Конечно, я росла на сказках Пушкина. Даже разговаривала цитатами из этих сказок: «Дурачина ты, простофиля», – говорила я своим обидчикам. Школьницей знала наизусть многие страницы из «Горя от ума». И, влюбившись в грибоедовские строки, влюбилась в самого автора и часто бегала смотреть на его портрет, висящий в витрине книжного магазина на соседней улице Малой Якиманке. Пять раз видела пьесу «Грибоедов» и даже от избытка чувств звонила актеру Левинсону, игравшему Грибоедова⁴⁴. Позже я долгое время жила Лермонтовым. Не стихами

⁴⁴ Дополнение 2018 года. Тогда, в 1951-52 годах, я ничего не знала об авторе этой пьесы и его судьбе. И только в прошлом году прочитала воспоминания Сергея Александровича Ермолинского (1900–1984): о Булгакове, о ГУЛАГе, об условиях в

его, а «Героем нашего времени», которого читала, перечитывала и учила наизусть. Но в своих детских стихах я подражала не Пушкину, не Лермонтову, а Агнии Барто. И даже ее стихи считала своими и декламировала, как свои:

*Весна, весна на улице,
Весенние деньки
Все утро заливаются
Трамвайные звонки...*

В 1961 году, будучи студенткой, я впервые прочла Цветаеву в альманахе «Тарусские страницы». Этот сборник, едва появившись в продаже, исчез и стал раритетом. Мои сокурсники купили несколько экземпляров не то в Калуге, не то в Туле, и я оказалась одним из немногих счастливых обладателей сборника.

Тогда же я прочла напечатанные на машинке стихи Пастернака из «Доктора Живаго» и, следуя девчачьей школьной привычке к переписыванию, прилежно переписала несколько стихотворений, ничего в них не поняв и не запомнив.

Много лет спустя я, случайно познакомившись с папиным фронтовым другом, узнала, что единственной книгой, которую папа, уйдя добровольцем на фронт, взял с собой, был томик Пастернака. Вскоре там же, на фронте, он подарил ее своему приятелю на день рождения. Тот не хотел брать, зная невероятную любовь отца к Пастернаку. «Бери, бери, – говорил отец. – Я все помню наизусть. Тебе нужнее».

Отцу было тогда немногим больше, чем мне в 1961-м. Он жил тем, чего для меня в моей юности не существовало. В годы его юности (конец 1920-х и 1930-е) еще слышны были отголоски Серебряного века. Еще можно было купить у букиниста или где-то достать редкие сборники, что и делал отец. Но он погиб на фронте в 1942-м, а собранные и читанные им книги оказались задвинутыми вглубь нашего книжного шкафа томами поновее. Мама, хоть и любила стихи, редко доставала с полки отцовские книги. Она жила другими именами. Читала Щипачева, Симонова, Веру Инбер, Иосифа Уткина. Особенно его «Рыжего Мотеле».

Что же до меня, то однажды в детстве, повертев и понюхав эти рассыпающиеся сборники (мне нравился запах старых книг), я забыла о них и с головой окунулась в современность...

Я читала все стихотворные колонки в периодике, покупала уйму сборников, что-то вечно переписывала. Но отцовское наследие осталось не востребованным.

И все же мне повезло: я встретила людей, которые вернули меня к моим же истокам.

Татьяна Александровна Мартынова – геофизик, дочь старого большевика, редактора «Искры». Несмотря на то, что ей было под пятьдесят, ее почему-то все называли Таней. Оттого, наверное, что она была общительна, подвижна и удивительно легка на подъем⁴⁵. Я познако-

которых в 1946-47 годах была написана полюбившаяся мне пьеса, о встрече в Грузии с Николаем Заболоцким, когда оба они в любой момент ожидали второго ареста, о спасительном знакомстве с Татьяной Луговской, ставшей его женой. – Л.М.

⁴⁵ Т.А. Мартынова (1915–1971) – близкий друг семьи Альтшулеров с 1930-х годов. Один эпизод из жизни еще совсем юной Тани Мартыновой – студентки геологического факультета Московского университета. Арестован известный физик-теоретик, профессор МГУ Ю.Б. Румер (1901–1985), с которым родители Тани были в давних дружеских отношениях. После майских праздников 1938 года в университете проводится рутинное для того времени собрание с осуждением «вредителя». Далее цитирую по книге М.П. Кемоклидзе «Квантовый возраст»: «Собрание, осуждавшее Румера, не особенно отличалось от других таких собраний: осуждавшие осуждали, остальные молчали. В конце собрания худенькая студентка попросила слова. Ей дали слово спокойно и равнодушно. Это была Таня Мартынова. «Товарищи, – сказала Таня, – я клянусь вам, все, что здесь говорили про Юрия Борисовича Румера, неправда! Давайте подумаем сейчас вместе, давайте подумаем, что происходит...». Она говорила тихо, казалось, шепотом, от этого зал напрягся еще сильнее. Она говорила так, что ее не посмели прервать, и только когда она расплакалась, испугавшись этой жуткой тишины и скованных ужасом лиц, собрание поспешно закрыли. После этого собрания от Тани отвернулись все ее друзья по университету. Одни ждали ее ареста, другие, по-видимому, считали ее провокатором. Таню, слава богу, не тронули.». О Т.А. Мартыновой см. также в книге «Экстремальные состояния Льва

мила с ней в Москве, но подружилась в Коктебеле, куда впервые попала летом 1961 года. Однажды на тропинке, ведущей к морю, я неожиданно увидела Таню. С этой минуты моя коктебельская жизнь переменилась. «Завтра мы пойдем в горы, – заявила она, не спрашивая моего согласия. – Я постучу тебе в окно в шесть утра». И она постучала. Через пять минут мы уже были на рынке и завтракали только что купленным молоком и творогом, а еще через несколько минут поднимались по тропинке в горы.

Боже, что мне открылось! Дивный вид на море и поселок. Холмы, поросшие неведомыми мне травами. Таня, указывая на вершины, называла их странно звучащими татарскими именами. «Видишь те скалы над морем? Они похожи на волошинский профиль», – сказала она. Еще до приезда Тани я много раз слышала имя Волошина, проходила в двух шагах от его дома, видела открытую веранду, откуда доносились голоса и смех. Но жизнь моя текла мимо: пляж, дом, пляж, столовая. И вдруг: «После обеда пойдем к Марии Степановне – вдове Волошина». Волошин – имя из моего детства. Когда-то давным-давно я держала в руках его сборник в линияло-матерчатом переплете и читала золоченую надпись: «Максимилиан Волошин. Иверни. 1918 год». Запомнив имя, я не знала ни строки, ни судьбы поэта.

И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Она, не приглашая нас в комнату, усаживает тут же на веранде, садится рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать Таню о Москве. Я разглядываю древесные корни, висящие на стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла один корень и протянула его мне. «Габриак», – услышала я странное слово. Так коктебельцы называли эти фигурки. Я гладила корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной Волошиным загадочной поэтессы Черубины де Габриак. Мимо дома тек пестрый, летний людской поток, слышалась музыка, доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и терзают. Все иное: море, берег, звуки, запахи.

Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель 1961-го как девственную и безнадежно утраченную планету с еще не исчезнувшими окончательно разноцветными камушками на берегу, с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мертвой бухте.

Какую жизнь вели мы с Таней тем летом! Бегали в горы, купались гольшом в далеких безлюдных бухтах, плавали на лодке к Золотым Воротам. А главное, приходили в Дом поэта слушать рассказы Марии Степановны о Максиньке и беседовать с древними старушками, которые говорили о давно ушедшем как о вчерашнем дне. Но, увы, слушая во все уши и глядя во все глаза, я мало что понимала, так как понятия не имела о том времени, о котором шла речь. И все-таки, обладая еще почти детской памятью и вниманием к деталям, я многое запомнила на всю жизнь: волошинские неяркие акварели, конторку, стоящую возле двери, тусклое зеркало над конторкой, огромную перламутровую раковину из Индийского океана, привезенную Волошиным из дальних странствий, бесконечные книжные полки, вид из окна на море, профиль поэта. А главное, висящую на стене мастерской маску египетской царицы Таиах – ее загадочную полуулыбку. В один из своих приездов в Коктебель на диванчике под маской ночевала Таня, о чем часто с гордостью рассказывала. Где она только не ночевала в своем легком и теплом пуховом мешке, который всюду возила с собой: и в лесу, и в горах, и у моря, и в Доме поэта возле бессмертной Таиах.



Таня в Доме Волошина в Коктебеле

Однажды мне было разрешено принять участие в уборке дома. Вытирая пыль с книг, я то и дело слышала восхищенные восклицания и бормотания Тани, натолкнувшейся на очередную редкую книгу. Она тут же опускалась на табурет и принималась читать. Мне тоже хотелось восхищаться и трепетать, но я не знала чем и от чего. Тем не менее я тоже садилась на деревянные ступеньки, ведущие на галерею и в верхнюю комнату дома, и листала пожелтевшие страницы. Уборка продвигалась медленно, и за эти долгие часы в меня, кажется, на всю жизнь вьелся запах старых книг.

На следующий день в награду за труды Мария Степановна вынесла целую кипу волошинских статей и стихов и разрешила читать. И вот жарким летним днем я сидела в прохладной полукруглой комнате за столом и переписывала все подряд под насмешливым взглядом египетской царицы. Она-то знала, что я слепой щенок, который тычется во все эти мудрые строки, ничего в них не смысля.

Еще целых двенадцать лет оставалось до того дня, когда старый ленинградский профессор Виктор Андроникович Мануйлов – завсегдагай Коктебеля, лермонтовед и знаток Волошина – пригласит меня почитать стихи в Доме поэта, и строгая и резкая Мария Степановна, дослушав чтение до конца, скажет: «Спасибо. Мне стало интересней жить».



Л. Миллер и В. А. Мануйлов, 1973

Виктор Андроникович – любимец студентов и аспирантов, всегда окруженный людьми, всем необходимый, вечно занятый, с постоянной горкой писем на столе. Он неизменно излучал приветливость и радушие и по старой университетской привычке, всех, даже юных, уважительно называл по имени-отчеству. Я впервые увидела Мануйлова, когда он водил по дому гостей и что-то им тихо рассказывал, боязливо поглядывая на дверь. Позже я узнала, что он, поддавшись на уговоры, пустил в дом посетителей, нарушив запрет уставшей от летних гостей Марии Степановны. И, зная ее крутой нрав, просил их ходить на цыпочках и говорить шепотом. Когда же она все-таки появилась в дверях, он начал оправдываться, смущенно и виновато улыбаясь.

У него была замечательная внешность: младенчески-розовое лицо, смеющиеся глаза, оттопыренные уши и вечная тубетейка на лысом черепе.

Когда я попала в его поле зрения, он воскликнул: «Да вы же фаямочка, вас непременно надо писать». И повел меня к московскому художнику Валерию Всеволодовичу Каптереву, тоже завсегдатаю и патриоту Коктебеля. Каптерев жил возле рынка в маленьком белом типично коктебельском доме. Стены его комнаты были завешены простынями. «Я закрыл ими пестрые хозяйские коврики, чтоб не отвлекали», – объяснил он. Валерий Всеволодович усадил меня посередине комнаты на табурет и, вцепившись в мое лицо хищным, прищуренным глазом, принялся писать. Я же тем временем разглядывала его картины. Картон небольшого формата населяли мидии, странные рыбки, петухи небывалой расцветки, цветы – все знакомое и незнакомое, здешнее и нездешнее. Каптерев писал быстро. Он сказал, что это его первый портрет после двенадцатилетнего перерыва. Взглянув на портрет, я обомлела: передо мной была восточная красавица с нежной смуглой кожей лица, миндалевидными глазами и ломаной линией бровей. Она смотрела в пространство капризно и отчужденно, как бы говоря: «Наде-

юсь, ты понимаешь, что не имеешь ко мне ни малейшего отношения?» «Но ведь на тебе мой розовый халат в белый горошек и у тебя коса как у меня?» – с робкой надеждой задала я свой немой вопрос. Но та, на портрете, отказывалась продолжать беседу. Она уже жила своей, недоступной мне жизнью. Позже в Москве Валерий Всеволодович рассказывал, что многие молодые люди, увидев портрет, просят у него телефон юной красавицы. Я заклинала его не давать никому моего телефона, с тоской предвидя реакцию бедных поклонников.



Лариса Миллер, портрет работы В. В. Кантерева, Колыбель, 1961

Виктор Андроникович, обрадованный удачей с портретом, собрался идти со мной к скульптору Григорьеву, чтоб тот меня лепил. Но я категорически воспротивилась. Мне хватило и портрета.

Таня Мартынова, Виктор Андроникович Мануйлов, а позже Арсений Александрович Тарковский – незабвенные мои проводники в затонувший град Китеж – не знаю, как назвать разрушенный, почти уничтоженный мир, который я потом всю жизнь пыталась восстанавливать по крохам, дорожа каждой строкой, каждым штрихом, каждым упоминанием.

Таня Мартынова открыла мне истинный Коктебель – Коктебель художников, поэтов, странников.

Она познакомила меня с картинами Фалька, приведя в дом на берегу Москвы-реки, где жила его вдова. И хотя я мало разбиралась в живописи, но понимала, что дышу особым воздухом и соприкасаюсь с тем миром, который изгнан из обыденной, повседневной жизни.

Она возила меня в Мичуринец к Валентину Фердинандовичу Асмусу, своему доброму другу. И я на всю жизнь запомнила, как пожилой ученый-философ, слушая свою любимую пластинку, ходит взад-вперед по кабинету, улыбается и потирает от волнения руки. Таня показала мне комнату, в которой останавливались Гаррики (так друзья называли Генриха Густавовича Нейгауза и его жену), когда приезжали к Асмусам на дачу.

Благодаря Тане я имела случай наблюдать, как Нейгауз слушает на отчетном концерте своих учеников, то нетерпеливо отбивая костяшками пальцев такт, то напевая себе под нос, то выкрикивая с места что-то грозное и уничтожающее.

Спасибо судьбе, что я застала этих людей. Они – почти последние звенья оборванной цепи. Лишь гораздо позже я смогла в полной мере оценить, с чем соприкоснулась, и пожалеть, что так мало смыслила.

Дружба с Мануйловым длилась много лет, до самой его смерти в 1987 году. Для меня Мануйлов – это не только Коктебель, но и Ленинград и Комарово.

Году в 1973 мы всей семьей жили несколько дней у него в огромной ленинградской коммуналке, в которой ему принадлежала поделенная пополам комната непонятной формы (часть бывшей залы, наверное) с камином и лепными потолками. Странно выглядела на мраморном камине жестяная мыльница, с которой Виктор Андроникович ходил в ванную комнату умываться. Эта ванная комната была замечательна тем, что по стенам ее сверху донизу стояли полки со старыми газетами и журналами. Надо было быть Виктором Андрониковичем, чтоб многочисленные соседи не возражали против этого.

Живя у Мануйлова, я впервые прочла Ремизова, Ю. Анненкова. Я бы прочла и многое другое (книги лежали на рояле, на полу, на столах и полках), но мне было отпущено только пять дней.

Трудно себе представить, что больше не существует мануйловской комнаты на 4-й Советской. Печальная вещь – демонтаж такого мира.

Низкий поклон Виктору Андрониковичу. Как удивительно он умел слушать стихи! Он откидывался на спинку дивана и буквально внимал с видом мечтательным и счастливым. Виктор Андроникович любил разделенную радость и потому всегда приглашал «на стихи» гостей. «Отлично, отлично, – взволнованно говорил Мануйлов. – Баховская патетика». После таких слов хотелось творить чудеса. Жизнь казалась осмысленной, наполненной, беспредельной.

«Я счастливый человек, – говорил Виктор Андроникович. – Мне нечего терять: ни жены [он разошелся с ней незадолго до нашего знакомства], ни машины, ни дачи».

Однажды, уже совсем старым человеком, он застенчиво признался, что всю жизнь пишет стихи. И рассказал, что в давние годы его руку посмотрел один хиромант (Виктор Андроникович очень верил в эту науку и хорошо знал ее) и посоветовал не печатать и не показывать стихов в течение пятидесяти лет. Мануйлов последовал этому совету и выпустил свой единственный стихотворный сборник в восемьдесят лет.

Коктебель без Мануйлова. Ленинград без Мануйлова. Комарово без Мануйлова. Скучно думать об этом.

Вижу его стоящим на зимней платформе Комарово в длинном черном старомодном пальто и галошах. Снег ложится на шапку и воротник. Виктор Андроникович улыбается и машет рукой. Электричка увозит меня в Ленинград. А вечером я уеду в Москву, куда будут время от времени приходить короткие, но вдохновенные письма из Ленинграда. Летом 1961-го на пяточке перед Домом творчества, на второй день нашего знакомства, Виктор Андроникович читал мою руку. «Вы будете писать. У вас огромная тяга к самовыражению». Сказал он и многое другое. Позже я удивлялась его прозорливости, но в ту пору спала младенческим сном. Во всяком случае, на слово не откликалась, хотя на звуки откликалась уже давно. Мама рано начала таскать меня на концерты, иногда играла дома сама, и музыка часто доводила меня до слез. Я этого очень стеснялась и с ужасом вспоминала поездку в Клин, в Дом-музей Чайковского, где я прилюдно расплакалась, слушая запись Пятой симфонии. Не найдя платка, давась слезами, я в конце концов выбежала из зала.

Так действовали звуки, а слова оставались словами. Я все еще жила по эту сторону слов, не проникая в их глубины и тайны, не постигая чуда их сцепления и звукописи...

В середине 1960-х, прочтя в журнале «Москва» крошечное стихотворение «Конец навигации», я открыла для себя поэта Арсения Тарковского. Две его книги, «Перед снегом» и «Земле земное», стали настольными. Из уст Тарковского я снова услышала и наконец-то слышала Пушкина, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Цветаеву. Арсений Александрович подарил мне «Вечерние огни» Фета и двухтомник Тютчева. Помню тот зимний вечер, когда я впервые раскрыла подаренного мне Тютчева. В доме было непривычно тихо. Сын спал. Я сидела в полутемной комнате и при свете настольной лампы читала:

*Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души не витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?*

Сердце болело от этих стихов.

Знакомство с Арсением Тарковским – начало новой эпохи в моей жизни. Я недавно написала об этом и не могу здесь повторяться.

И подумать только, мне было почти тридцать лет, когда я наконец вернулась к истокам. Наконец мне стал открываться истинный ландшафт моей духовной родины, о которой я долгое время не подозревала, но с которой всегда была связана какими-то мне самой неизвестными нитями. Когда же все постепенно встало на свои места, когда, как на контурной карте, вместо едва намеченных линий появились заштрихованные территории, я поняла, что это и есть мой дом, и я жила в нем с рождения.

Как же долго я спала и как медленно просыпалась!

А проснувшись, растерялась от богатства, которое мне открылось.

В 1971 году я купила книгу Р. – М. Рильке «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи». Роден, как и Волошин, – имя из моего детства. В моем старом книжном шкафу были три отцовские книги, которые я рассматривала чаще других: большая, на грубой серой бумаге, с множеством цветных репродукций книга «Гоген на Таити», Босх, вызывавший у меня сладкий ужас, и книга о Родене, чьи скульптуры «Поцелуй», «Вечный кумир», «Данаида» пленяли и завораживали. Точные юные тела были предметом моих восторгов и грез.

Купив книгу Рильке, я буквально набросилась на эссе о творце столь любимых мною скульптур. Вот что пишет Рильке о жизни Родена: «Было детство, некое детство в бедности, темное, ищущее, неопределенное. И это детство осталось, ибо – как сказал однажды святой

Августин – куда ему деваться? Остались, может быть, все прошедшие часы, часы ожидания и заброшенности, часы сомнения и долгие часы нужды; это жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, жизнь, которая сосредоточивалась, проходя. Может быть, мы ничего о ней не знаем. Но только из подобной жизни, думается нам, возникает такое изобилие и переизбыток действия; только такая жизнь, в которой все одновременно, все бодрствует, ничего не миновало, способна сохранить силу и юность, вновь и вновь возноситься к высоким творениям»⁴⁶.

Как мне дороги эти слова о единстве, неслучайности всей жизни человеческой, которая уходит корнями невесть в какую глубину и длится долго после конца, а может, и не кончается, преобразуясь в нечто иное. «Жизнь, ничего не потерявшая и не забывшая, в которой все бодрствует, ничего не миновало».

Книга эта бесконечна и бездонна. К ней можно возвращаться снова и снова, открывая новое, незамеченное прежде. А не заметить немудрено, потому что трудно поспеть за каждым новым образом и новым поворотом мысли.

Тьму уроков извлекла я из этого чтения. Губы сводит от бесплодной попытки назвать их и обозначить. «Есть в Родене темное терпение, делающее его почти безымянным, тихая, неодолимая выдержка, нечто подобное великому терпению и доброте природы, начинающей на пустом месте, чтобы тихо и серьезно, долгой дорогой идти к изобилию. И Роден не отважился сразу делать деревья. Он начал словно бы с подземного ростка. И этот росток укрепился, пустил корень за корнем вниз, прежде чем начал маленьким побегом пробиваться вверх. Требовалось время и время. «Не нужно спешить», – говорил Роден немногим близким друзья, когда те его торопили».

Душа резонирует с каждым словом. Конечно же, это проза поэта, действующая на подкорку раньше, чем на сознание. Только поэт может сказать, что скульптуры соборов – это «крестный ход зверей и обремененных».

Только поэт способен сказать о скульптуре птицы, что «небо выросло из нее и окружало ее, на каждом из перьев складывалась и укладывалась даль, и можно было развернуть эту даль в ее необъятности».

Только поэт может дать такое описание моста: «А как великолепно мост в Севре перемахивает через реку, отступая, переводя дух, разбегаясь и снова прыгая трижды».

Если говорить о чтении, то я проживала не дни, не месяцы, а книги: Гете, Томас Манн, Цветаева, Пастернак.

Лето и ранняя осень 1971-го прошли под знаком Заболоцкого. В ту пору я жила на даче с маленьким сыном. Лето было яблочным, и, проснувшись на заре, я слушала стук яблок о землю и повторяла про себя:

*О сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей.*

Наверное, только тогда я научилась по-настоящему слышать и видеть природу, и строки Заболоцкого стали частью ее:

*Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
И лежал я в траве, и печалью, и скукой томим,
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним...*

⁴⁶ Здесь и далее – пер. В. Микушевича.

Заболоцкий буквально вел меня по земле, заставляя временами останавливаться, и, замедив, смотреть и слушать.

*Осенних листьев сохлось вещество
И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели большие ты не царь?
Кленовый лист напоминает нам янтарь...*

*Архитектура осени. Расположение в ней
Воздушного пространства, роицы, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет —
Вот то, что выберем среди других примет...*

Заболоцкий пишет «Осень» с заглавной буквы, как имя собственное. Единичность, единственность, особенность, неповторимость, значительность каждого мгновения – вот что внушает поэт каждой своей строкой...⁴⁷

В 1976 году мой приятель поэт Алексей Королев дал мне маленькую ксерокопированную книжку в матерчатом переплете с ленточкой-закладкой. Это был роман Набокова «Дар». Да, это был дар. Я читала книгу медленно, боясь, что она кончится. Читала, празднуя каждое слово, каждое сравнение, каждую строчку небывалой прозы. И, странное дело, хотелось срочно начать писать. Бывают великие таланты, которые подавляют: зачем писать, когда уже такое написано. Меня всегда подавлял Блок. Подавлял Мандельштам, которого я запоем читала в середине 1970-х. При чтении Набокова возникало ощущение неисчерпаемости Слова, Жизни и человеческих возможностей. После «Дара» я прочла «Другие берега», затем рассказы. И во всем, что читала, даже не в лучших вещах, находила крупинцы золота. Как я завидую тем, кому еще только предстоит прочесть: «Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смутением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час»...

Я сейчас снова открыла «Дар» и не могу оторваться: удивительное сочетание стремительности и обстоятельности, легкости и внимания к подробностям. А главное, необычайная новизна, свежесть языка, где все слова будто только родились. Вот кусочек прозы о главном герое, который провел утро в постели, пытаясь писать стихи: «В полдень послышался ключнувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна

⁴⁷ Дополнение 2018 года. В 1971 году я лишь краем уха слышала, что Заболоцкий сидел, а его воспоминания «История моего заключения» прочла совсем недавно. Вот одна наугад выбранная цитата: «Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали... Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке... На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водой. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая Новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наростшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни...». Добавить тут нечего: «Было всё, что быть могло, / И во что нельзя поверить...» – Л.М.

[дивная инверсия]. Шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гекза- метром автора «Москвы». Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозмож- ной, как перспектива у мастеров раннего Средневековья. Но и с этим тоже придется тебе когда- нибудь проститься...

... Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь...»

При чтении этих слов возникает чувство, что ты присутствуешь при сотворении мира, и трудно поверить, что мир, который столь конкретен, осязаем и зрим, творится лишь с помощью слов.

Вот строки о предчувствии свидания с любимой: «Ожидание ее прихода. Она всегда опаз- дывала – и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень про- хожего на тумбе пробегает, как соболев пробегает через пень. За пустырем, как персик, небо тает: вода в огнях. Венеция сквозит, – а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена».

Этот небывалый набоковский мир – плоть от плоти традиционной российской словесно- сти, имеет с ней единое кровообращение и общую дыхательную систему. Этот мир – не резуль- тат отрицания, ломки, разрушения традиций. Он при всей ошеломляющей новизне возник в том же доме, но на ином этаже, куда, перелетев через несколько лестничных пролетов, попал автор.

«От жажды умираю над ручьем»⁴⁸ – вот что я испытывала при чтении «Дара». А через год я узнала его стихи. И впечатление от лучших стихов было столь же сильным, как от прозы.⁴⁹ Поэт Набоков гораздо открытее, раннее Набокова-прозаика, которого часто обви- няют в холодности, высокомерии. Если говорить о его вершинах (а лишь по ним и стоит судить о писателе), то не миф ли его холодность? Можно ли, будучи холодным, так тосковать по Рос- сии, так поклоняться Пушкину, так боготворить отца, так чувствовать природу, так любить женщину?

Набоков многих шокирует, так как он не *comme il faut*: смеется над тем, над чем смеяться не положено, говорит о том, о чем принято молчать. Но из-за непредсказуемости его следу- ющего слова и возникает состояние невесомости, как при падении в воздушную яму, когда невольно восклицаешь: «Ах!»

Говорят, что писатель, прозаик боится белого листа, тянет время, не желая садиться за работу. Мне кажется, что Набокова белый лист притягивал, как магнит, что писать было для него наградой, праздником, великим счастьем, сладкой неизбежностью. И читать его – счастье.

Близкое чувство я испытала при чтении Синявского (Абрама Терца). Особенно его книги «Голос из хора», написанной в мордовских лагерях.

Вот послушайте: «Угостили медом. Какой у него витиеватый вкус и сколько вложено в эту зернистость, в сверкающую плотную вязкость всякого ума и таланта из полосатых пчелиных пупырышек, из цветов и воздуха! Мед для нашего рта все равно что благоуханное лето, лес в красках и пение пташек. Все напихано сюда и все сгустилось в один эликсир жизни».

⁴⁸ Вийон Ф. Баллада поэтического состязания в Блуа. Пер. И. Эренбурга.

⁴⁹ Дополнение 2018 года. В целом стихи Набокова оставили двойственное впечатление: на фоне множества откровенно слабых стихотворений – шедевры, без которых немыслима русская поэзия: «Слава», «Как я люблю тебя», «Благодарю тебя, Отчизна», «К России», «Влюбленность», «Расстрел», стихи из романа «Дар» («... всё так же на ветру, в одежде оживлённой, / к своим же Истина склоняется перстам...»). Я написала об этом эссе «И другое, другое, другое» (1994) и «И со мной моя тайна всечасно» (2016). – Л.М.

Это же стихи. Вслушайтесь в звучание слов: ВитиеВатый ВкуС, ЗерниСтоСть, Сверкающая Плотная ВяЗкость, Полосатых Пчелиных Пузичек, Благоуханное Лето, Лес, эЛиксир...

То, что я хотела бы сказать об этой прозе, сказал сам автор: «Появилось странное чувство романтической, я бы сказал, увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинаются где-то под языком, в пищевод, и с одного небольшого куса пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта». Точно так же, «переваривая и всасывая без остатка» каждое слово, я «пьянела и беспредельно оживлялась» при чтении этой книги. И причина тому – чистота и точность слова, отношение автора к обыденному и ничтожному как к драгоценному. «Закон Робинзона Крузо», сказано в книге.

Я написала уйму стихов, читая «Голос из хора». И подумать только, что такой импульс давали строки, рожденные в неволе.

«Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь, и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей... Задача иллюстрации (чуть не вырвалось – иллюминации) состоит в поддержании света, источника непрочитанной книгой. Бессильная имитировать текст, ненужная в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь...

Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, лишь приглядываясь к тому, как она мерцает».

Читая эти строки, я невольно вспоминаю, как в детстве любила читать и нюхать книгу, как подробно до каждой мелочи, помнила иллюстрации, как мой сын изучал билибинские сказки, медленно переводя взгляд с одной картинки на другую...

Книга Синявского, изданная в Лондоне в 1973 году, лишена картинок, да и не нуждается в них. Роль художника, о которой так романтично говорит Синявский, выполняет сам автор. Я вижу всё, о чем он пишет. Мне бы даже помешали иллюстрации, навязав какое-то другое видение. Слово Синявского – пластично. Оно имеет вкус, запах и цвет. И это роднит его с Набоковым.

«Голос из хора»: поводом для праздника становилось все что угодно – случайная фраза, услышанная мелодия, цвет неба, запах травы. Как же это может быть? Ведь я читаю записки заключенного. Автор сам отвечает на этот вопрос: «Вероятно, все дело в пространстве. Человечек, открытый пространству, все время стремится вдаль. Он общителен и агрессивен, ему бы все новые и новые сласти, впечатления, интересы. Но если его сжать, довести до кондиции, до минимума, душа, лишенная леса и поля, восстанавливает ландшафт из собственных неизмеримых запасов. Этим пользовались монахи. Раздай имение свое – не сбрасывание ли балласта?

Не отверженные, а погруженные. Не заключенные – а погруженные. Водоемы. Не люди – колодцы. Озера смысла...».

Сколько же успел передумать и перечувствовать человек за шесть лагерных лет. И как он щедро одарил своего читателя! По-моему, лучше Синявского о роли художника и не скажешь. В своих размышлениях о Свифте Синявский говорит: «Открытие Свифта, принципиальное для искусства, заключалось в том, что на свете нет неинтересных предметов, доколе существует художник, во все впереяющий взор с непониманием тупицы».

Эта книга заставляет жить медленнее, напряженнее и внимательнее. Недаром Синявский то и дело возвращается к разговору о детстве и детском чтении, детских книгах, о замедленном темпе жизни: «Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так

глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери – переход на взрослый язык». Я читала эту книгу «глубоко» и медленно, как в детстве.

Не могу равнодушно смотреть на полотна Борисова-Мусатова. Даже на бледные копии с его картин. Хватательный инстинкт велит что-то срочно предпринять, чтоб удержать любимое. Вот я и расставляю словесные сети:

*Осытающийся сад
И шмелиное гуденье.
Впереди, как сновиденье,
Дома белого фасад.
Сад, усадьба у пруда,
Звук рояля, шелест юбки...
Давней жизни абрис хрупкий,
Абрис зыбкий, как вода,
Лишь в душе запечатлен.
Я впитала с каплей млечной
Нежность к жизни быстротечной
Ускользящих времен...*

И такую же потребность поймать, удержать вызывают у меня картины Марка Шагала и Зинаиды Серебряковой. Их живопись – это детская улыбка на сумрачном лице века. Еще более мучительное томление духа испытываю при слушании музыки. Одним из самых сильных впечатлений было знакомство с последней сонатой Бетховена в исполнении Юдиной. Тогда же я прочла «Доктора Фаустуса» Томаса Манна и была ошарашена конгениальным описанием этой сонаты в лекции Кречмара. Было наслаждение слушать музыку и читать о ней точные, пронзительные строки Томаса Манна: «...а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничтожение, робкий испуг, испуг перед тем, что такое могло свершиться. Но до конца свершается еще многое, а под конец – в то время как этот конец наступает – в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врываются мрак, одержимость, упорство. Долго звучащий мотив, который говорит «прости» слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, – это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После печального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не «синь небес» или «будь здоров», а «о ты, синь небес!», «будь здоров, мой друг!», «зелен дольний луг» – и нет свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий глубокий взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняло крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимало ее к груди слушателя для последнего лобзания с такой болью, что глаза наполнились слезами: «по-за-будь печаль!» «Бог велик и благ!» «Все лишь сон один!» «Не кляни меня!» Затем это обрывается»⁵⁰.

«Глаза наполняются слезами» не только при слушании Бетховена, но и при чтении этих строк. Томас Манн совершил невозможное: дал словесную запись труднейшей сонаты. Я читаю его текст как партитуру. Читаю и слышу звучание конкретной музыкальной фразы. Это чудо. Прочитанные строки отозвались в моих стихах через много лет:

⁵⁰ Пер. С. Апта.

*Мой любимый рефрен: «Синь небес, синь небес».
В невесомое крен, синевы перевес
Над землей, над ее чернотой, маетой,
Я на той стороне, где летают. На той,
Где звучит и звучит мой любимый напев,
Где земля с небесами, сойтись не успеv,
Разошлись, растеклись, разбрелись – кто куда...
Ты со мною закинь в эту синь невода,
Чтобы выловить то, что нельзя уловить,
Удержать и умножить и миру явить.*

Эти лишенные четкого жанра записки – попытка объясниться в любви тем книгам и людям (пишу только об ушедших, потому что о живых писать трудно), которые сопровождали и вели меня, еще незрячую или едва прозревшую.

Пишу о времени, когда я могла сказать о себе словами Заболоцкого: «Как все меняется и как я сам меняюсь, / Лишь именем одним я называюсь...»

О тех годах, «куда [лучше Рильке не скажешь] каждое простое событие вступало словно в сопровождении ангела».

О тех годах, когда мною владело счастливое чувство пути, о головокружительных временах, когда писала: «Лететь, без усталости скользить / По золотому коридору, / И путеводна в эту пору / Осенней паутины нить. / И путеводен луч скупой, / И путеводен лист летучий, / И так живется, будто случай / Уже не властен над судьбой...».

1990

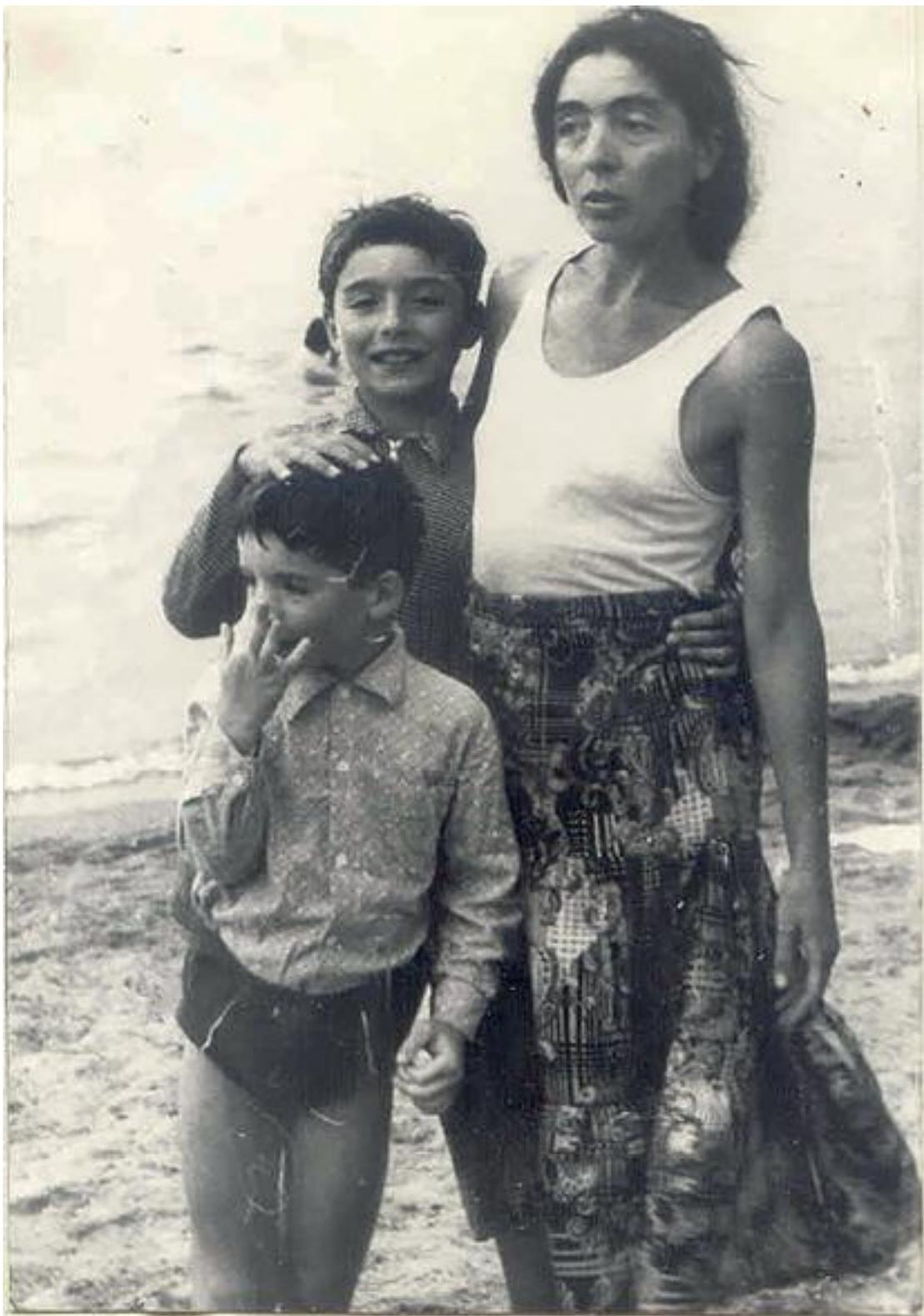


С любимой собакой Мишкой, мужем и детьми, Москва, 1990

* * *

Слова даны, чтоб вечно не хватало
Нам слов сказать, куда душа летала
И что видала там, на высоте.
Слова даны, чтоб вечно о тщете
Мы помнили и ради сладкой пытки
Не оставляли тщетные попытки.

2015



С сыновьями, Геленджик, 1978

Нетленку пишут на коленке,
Меж делом, улучив момент,

В вагоне, прислонившись к стенке
Под нудный аккомпанемент
Колёсный, пишут на обрывке.
Ей не помеха толкотня.
Её творят, снимая сливки
С земного будничного дня.

2015

* * *

Стихи – они ведь капля влаги
И жить должны не на бумаге,
Должны в воздушной жить среде,
Как полагается воде.
Стихи – они подобье вспышки,
И место им совсем не в книжке,
Где буквы чёрные мертвы, –
А средь искрящейся листвы.
Стихи – они ведь что-то вроде
Дыханья по своей природе.
Ты не пиши их, не пиши.
Ты их возьми и надыши.

2018

Упоение заразительно

О Лидии Корнеевне Чуковской можно говорить, как о писателе, авторе замечательных записок об А. А. Ахматовой, повестей «Спуск под воду», «Софья Петровна», как о поэте, недавно выпустившем свой первый! стихотворный сборник. Можно говорить о ней, как о яркой личности, о мужественном и чистом человеке, не промолчавшем тогда, когда молчали другие.

Я же в своей небольшой заметке хочу коснуться лишь одной, быть может, не самой существенной, но бесконечно для меня дорогой стороны ее личности. Я хочу говорить о ней, как о ЧИТАТЕЛЕ.

Знаете, кто в наше свихнутое время ВСЕ ЕЩЕ ЧИТАЕТ, читает в самом старомодном значении этого слова – неторопливо, вдумчиво, с полной отдачей? Очень старый и почти слепой (несколько операций на глаза) человек. Может быть, сегодня ей уже и сильная лупа не помогает и остается только просить близких почитать вслух, но еще совсем недавно Л.К. читала сама, тратя на это остатки зрения и сил, необходимых для писательского труда. По словам Елены Цезаревны – дочери Л.К., на тумбочке возле ее кровати постоянно вырастает груда книг, ждущих своей очереди. И очередь обычно доходит. Наверное, многие пишущие могут рассказать, как щедро откликнулась Лидия Корнеевна на подаренные ей книги.

В 91-м году у меня вышел небольшой сборник стихов и прозы. Л. К. Чуковская отозвалась одна из первых. Разговор был содержательным, долгим и, что меня особенно поразило, начался со стихов. Лидия Корнеевна все еще находится в сильно поредевших рядах читателей поэзии. Она сказала мне, что, открывая новую журнальную книжку, прежде всего прочитывает все стихотворные подборки. Услышав такое, я тотчас же вспомнила те страницы из ее книги Памяти детства, где речь идет о Куоккольской морской прогулке с отцом – Корнеем Ивановичем Чуковским:

«И здесь на Финском заливе ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; захожим студентам на песке у моря; друзьям – соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.

Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам.

...В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывающее его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивается, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их не произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.»

Привожу эту длинную цитату с тоской в сердце и завистью к тем временам, когда людей, «упивающихся стихами», еще не требовалось заносить в красную книгу. Уолт Уитмен сказал, что там, где существует великая поэзия, непременно существует великий читатель. В России

всегда было именно так. Что будет дальше, покажет время. И, может быть, присутствие на земле человека, которому (по собственному выражению Л. К. Чуковской)»труднее позабыть стихи, чем их помнить», есть гарантия того, что еще не все потеряно и упоение действительно заразительно.

1994

И мой Пушкин⁵¹

О Пушкине – или никак или с юмором. Никак – потому что о нём все сказано. С юмором – потому что Пушкин – «это весёлое имя». С Пушкиным у меня отношения очень давние и очень личные (как, впрочем, у всех). Начались они со сказок, которые мне с выражением читала бабушка. Её культурно-просветительская деятельность увенчалась успехом. Когда она решила научить меня, малолетку, плавать и, обхватив поперек живота, затащила в море, я принялась выкрикивать единственные ругательства, которые знала: «Дурачина ты, простофиля!». Бабушка могла быть довольна. Всё раннее детство я общалась с окружающим миром с помощью Пушкина. «Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло», – бросила я в лицо обидевшей меня подружке. Однажды Пушкин сильно меня подвел. Случилось это в первом или во втором классе. Мы написали диктант, за который я получила «четыре». «Что это за «окиян» такой?», – спросила меня учительница, раздавая тетради с диктантом, – «Где ты взяла такое написание?» «У Пушкина», – ответила я, – «... И пустили в Окиян – Так велел-де Царь Салтан.» Я была уверена, что она устыдится и поставит мне «пять», но этого не случилось.

Теперь о связи поколений. Знакомство моих детей с Пушкиным, как и моё, началось со сказок. Младший сын чуть ли не каждый день просил почитать ему «Сказку о дохлой царевне». Но, услышав однажды «Полтаву», потерял покой, требовал, чтобы ему читали поэму снова и снова и в конце концов выучил огромные куски наизусть, доказательством чему служит сохранившаяся с тех времен кассета, на которой он, трехлетний и картавящий на «р», с упоением декламирует: «...Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как Божия гроза.»

И еще о связи поколений. До войны мой отец Миша Миллер работал в отделе писем Литературной газеты. Он получал уйму графоманской продукции, на которую принято было как-то реагировать. Отцу требовались помощники. Одним из них стал Даниил Семенович Данин – в ту пору студент, остро нуждающийся в заработке (отец его был репрессирован). Каждый раз, когда Данин приходил за очередной порцией посланий и приносил отрецензированные стихи, Миша Миллер спрашивал его: «Ну как, не обнаружился ли новый Пушкин?» «Пока нет,» – отвечал Данин. Но однажды в ответ на традиционно-шутливый вопрос он ответил веселым «обнаружился!». Слово самому Даниилю Данину (из письма Данина ко мне, май 1983 г.):

«Летом 38-го в редакцию стали приходить юмористически-безграмотные и столь же патетические стихи с припиленными к тетрадочным листкам фотографиями автора. Он подписывался «Я. Пушкин». Такие же стихи с теми же фотопортретами он присылал в «Знамя» и «Комсомольскую правду», где они попадали порою тоже ко мне (поскольку я и там занимался ремеслом «литконсультанта» в силу тех же обстоятельств). С маленьких снимков глядело лицо бритоголового дебила, на розыгрыши неспособного. Стихов Пушкина я всерьез не разбирал, а только прохаживался по орфографии и нелепой рифмовке. Все звучало вполне безобидно, но, конечно, обидно. И вот стали приходить от обиженного не жалобы, а угрозы разоблачить меня, как засевшего там-то и там-то врага народа. В ту пору это звучало совсем не смешно. В конце концов Миша решил послать многоадресному жалобицику официальное уведомление, что консультант такой-то от работы с начинающими отстранен. Пришло ликующее письмо от Я. Пушкина – кажется, последнее... Бедняга признался,

⁵¹ Выступление на Международном Конгрессе поэтов, посвященном 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Санкт-Петербург, 3–7 июня 1999 г.

что он, наделенный судьбою фамилией Пушкин, стал придумывать стихи год назад, в 37-м, в честь гибели своего однофамильца, дабы появился на свет наш советский Пушкин! Миша спрашивал меня, не чувствую ли я себя Дантесом... В общем, история анекдотическая и незабвенная. Но дежурная фраза Миши – «не обнаружился ли новый Пушкин?» – приобрела не очень веселый смысл.»

В нашем во всех отношениях уникальном отечестве даже «веселое имя Пушкин» способно приобрести невеселый смысл.

Несколько выводов и пожеланий:

Желательно после всех этих лет – юбилейных и не юбилейных, застойных и перестроечных, реакционных и прогрессивных – сохранить такую же свежесть восприятия, какая была у моего трехлетнего ребёнка, самозабвенно читающего наизусть «Полтаву» или «Гусара», которого он тоже очень любил. И да не помешают этому высокие технологии и надвигающаяся компьютеризация всей страны!

Стоит всегда помнить, что многие нынешние причитания стары, как мир. И во времена Пушкина сетовали на потерю интереса к поэзии. Вот и сам Пушкин в заметке 1830 года о Баратынском писал: «...Но лета идут – юный поэт мужает, талант его растёт, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни.»

Хорошо бы держать в уме, что и в пушкинскую эпоху раздавались стоны по поводу меркантильного века, застоя в поэзии, отсутствия ярких имен и произведений. И это внушает надежду на то, что не все потеряно и, если не новый Пушкин (да и нужен ли новый Пушкин?), то нечто новое и значительное способно существовать и в наше меркантильное или, как принято нынче говорить, прагматичное время. Да и так ли уж он плох – этот век, если и сегодня можно «Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, / По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам, / И пред созданьями искусств и вдохновенья, / Трепеща радостно в восторгах умиленья. / Вот счастье! Вот права...». Вопрос лишь в том, хотим ли мы воспользоваться ими.

1999

Из статьи «Печальное равновесие»

«Литературная газета», 2 февраля 1994 г.

Помните миниатюру Жванецкого «Трудности кино»? Там, в частности, говорится о том, как трудно в наше время снять достоверный фильм, в котором действуют аристократы. «Фрак народ носить разучился... Аристократизм в Петербурге пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности... Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между экраном и зрителем постепенно восстанавливается». Похоже, оно и впрямь восстанавливается, и уже почти забыто, как было.

В «Книжном обозрении» за 16 июля прошлого года помещена моя статья «За тех, кто в море». Позволю себе процитировать из нее небольшой абзац: «Цеховая жизнь литературы почти полностью прекратилась. Огромная и все еще читающая страна осталась без подлинно литературной критики... А ведь бывали и другие времена. В академическом издании сборника Манделъштама «Камень» помещены рецензии на его, книгу, появившиеся в тогдашней прессе. Я насчитала ВОСЕМНАДЦАТЬ рецензий на второе издание Камня (1915 г.)».

Думаю, это не исключение, а норма той жизни. Как и многочисленные литературные собрания, философские кружки, поэтические вечера, крупные и мелкие издательства, студии при них. «Преобладали темы по философии истории и философии культуры», – пишет Бердяев в «Самопознании», рассказывая о вторниках в его доме в Малом Власьевском переулке в Москве. «Иногда набивалось в нашу гостиную такое количество людей, что она не вмещала, и приходилось сидеть в соседней комнате». Речь идет о 20-м годе, времени красного террора и тяжелого продовольственного кризиса. Кроме домашних встреч, были и другие. В Лавке писателей, например. «Лавка превратилась в литературный центр, где все встречались, во что-то вроде клуба», – пишет Бердяев. Все эти кружки, клубы, издательства продержались до конца 20-х. Так было не только в России. В замечательной книге новозеландского писателя Брайена Бойда о Владимире Набокове говорится, что русский Берлин 21–24-го годов был культурным центром, не имеющим аналогов в истории эмиграции. Несколько сотен тысяч эмигрантов из России, поселившихся в Берлине, и без того богатом книгами и периодикой, сумели менее чем за три года напечатать столько литературы, сколько большинство стран не издавало и за десятилетие. На чужбине возникли литературные кружки, вечера, философские клубы – всё то, без чего российская интеллигенция себя не мыслила.

У меня в четвертом классе была замечательная учительница литературы Евлалия Станиславовна. Она приучала учеников свободно выражать свои мысли и писать изложения без схемы и плана, как Бог на душу положит. Лишь бы вышло ярко и интересно. Е.С. постоянно читала нам вслух на уроках. Читала негромко, но так артистично, что все сидели не шелохнувшись. А раз в месяц она устраивала конкурс на самое выразительное чтение стихов. Однажды и мне удалось получить премию. Правда, не первую, а вторую. К великому сожалению, Е.С. слишком рано исчезла из моей жизни. Новая учительница за первое же изложение вклеила мне двойку: почему не придерживаюсь плана, почему наплела то, чего нет в тексте?

Отлично сознаю, что когда в стране развал и хаос, выходят из строя все системы и механизмы. Однако из этого вовсе не следует что «надо годить». «Времена не выбирают, в них живут и умирают» (Александр Кушнер). И «Грядущее свершается сейчас» (Арсений Тарковский). И от нас зависит, станет ли оно эпохой культурного ренессанса или временем «печального равновесия», всеобщего беспамятства, когда «наступает глухота паучья», где «провал сильнее наших сил» (Осип Манделъштам).

[**Дополнение 2018 года.** Несколько лет назад меня пригласили почитать стихи в прямом эфире программы Радио «Маяк». В процессе передачи ведущая задала радиослушателям вопрос: «Нужна ли сегодня поэзия?». Меня поразил один ответный звонок: «Я преподаватель Московского педагогического государственного университета. Мои слушатели – дипломники и аспиранты, будущие преподаватели литературы в школе. Я им часто читаю Пушкина. И вы знаете – они никогда этого раньше не слышали, но им очень нравится. Поэзия очень нужна».

По-моему, в этой короткой фразе «никогда этого раньше не слышали, но им очень нравится» – вся глубина провала, в котором мы оказались в Новой России. Скажу для сравнения, что радио- и теле-эфир в СССР был заполнен классикой, а значит она была доступна всем, в любой как угодно далекой провинции. На Шаболовке в 1970-е и 80-е годы был создан золотой фонд передач по литературе (http://tvmuseum.ru/catalog.asp?ob_no=85). Там была огромная редакция учебных, литературно-художественных и научно-популярных передач, все 250 сотрудников которой были уволены в 1992 году.

Что делать? И если телевидение и радио недоступны, то почему бы не использовать интернет, You-Tube, например?].

* * *

Никто ведь не должен тебе ничего.
Ты праздника хочешь? Придумай его.
По песне тоскуешь? Так песню сложи
И всех окружающих приворожи.
По свету скучаешь? Чтоб радовал свет,
Ты сам излучай его. Выхода нет.

2011

Тема в мажоре

Кто о чём, а я – о приятном. И не потому, что его так уж много в нашей жизни, а потому, что меньше, чем хотелось бы. Таким на редкость приятным событием оказался июльский выпуск программы «Без паузы». Анонсированная в «ТВ парке» как передача о секретах графологии, она на самом деле была посвящена ХУДОЖНИКУ и его стилю, – то есть, почерку в широком и высоком смысле этого слова, – лишний раз демонстрируя, что в искусстве интересно только искусство, а не что-то около этого.

Настоящим подарком оказался один из сюжетов передачи – встреча с художником и кинорежиссёром Рустамом Хамдамовым – редким гостем в наших краях. Когда показывали его рисунки, кадры из фильмов, когда звучали его размышления по поводу, мной постоянно владело чувство, которое можно выразить словами: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно». Но мгновенье неостановимо, поскольку воздушно, стремительно, летуче, как и почерк художника, о котором шла речь. Глядя на него, я думала: «Какой свободный человек». Свободный от всего: от конъюнктуры, от желания нравиться, от стремления кого-то в чём-то убедить. Если он и был чем-то озабочен, то лишь тем, чтоб максимально точно выразить свои мысли. А мыслям было тесно, и рождались они на глазах у зрителя в процессе беседы с умным и достойным собеседником Инной Соловьёвой. Сюжет длился не более десяти минут, и я жалела лишь о том, что нельзя прокрутить его снова, чтоб получше рассмотреть, расслышать и осмыслить. [Добавление 2018 года. Весной вышел фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» – фантастическое зрелище, о котором я ещё не готова говорить подробно]. Впрочем, такое чувство оставила вся передача, все её герои: художник Евгений Добровинский, сказавший, что рисунок – то же письмо, «только язык неизвестен»; рано умерший французский танцовщик и балетмейстер Доменик Багуэ, обладавший завораживающе гибким, нервным, предельно экспрессивным художественным почерком. Жаль, что передача столь коротка, но, может быть, жёсткие временные рамки даже держат авторов в узде, подстёгивают, как шпоры, не давая расслабиться, разлентиться, растечься мыслью по древу.

Ещё одно приятное событие последнего времени – несколько новых номеров журнала «Московский наблюдатель», которым меня «угостили» добрые люди. Я – не театровед и даже не театрал, который не пропускает ни одной премьеры. Но я люблю театр, и мне этот журнал читать так же интересно, как профессионалам. «Московский наблюдатель» умён, но не заумен. Разнообразен, но не эклектичен, а, главное, содержателен. Оказывается, обо всём можно сказать на чистом русском языке, без стёбных ужимок и мусорных словечек. Оказывается, критиковать – не значит отрабатывать на ком-то болевые приёмы. Оказывается, быть современным – не значит быть агрессивным, циничным и желчным. Оказывается, можно любить своё прошлое, а не только пинать и презирать его. «Театр – искусство забывчивое по способу существования», – пишет Александр Соколянский в статье «После конца концов», – «Тем ощути-мой обязанность напоминать о контурах прошлого, писать портрет одновременно и в фас, и в профиль...». И журнал помещает воспоминания о тех, кто давно или недавно сошёл со сцены в прямом и переносном смысле. Журнал не боится хвалить явление, достойное похвалы. Так статья о молодом актёре ТЮЗа Евгении Сармонте кончается словами: «Он многое умеет и вправе рассчитывать на счастливую творческую судьбу. Почему бы не сказать об этом вовремя, когда судьба ещё не сложилась». Большой раздел журнала называется «Дни нашей жизни». Перелистывая эти «дни» с удивлением и радостью обнаруживаешь, что жизнь идёт, и многое в ней достойно интереса и благодарного внимания. И потому мне захотелось кончить свою статью письмом в редакцию: «Дорогой «Московский наблюдатель»! Ты мне очень нравишься. Пожалуйста, не умирай. Обещаю на тебя подписаться».

1993

«Миллион причин для счастья»⁵²

Памяти Григория Соломоновича Померанца (1918–2013)

Если человек умер, это ещё не значит, что он жил. Факт рождения – не гарантия жизни. Но и смерть не всегда конец. В случае Григория Померанца смерть точно не конец. Без Померанца нельзя обойтись тому, кто хочет что-то понять в себе и в окружающем мире, который, к счастью или к сожалению, не становится проще. У Григория Померанца можно многому поучиться. Ну хотя бы тому, как быть живым до самой смерти и даже после неё. Я вообще плохо понимаю, как жизнь решается расстаться с такими людьми. Кто же будет её любить, как Померанц, понимать, как он, её тайнопись, и, как он, вникать во все её оттенки? Разве можно отпускать таких людей?

Одно утешает: он многое успел нам поведать, познав самые крутые виражи: войну, Гулаг, ссылку, смерть близкого человека. С нами остались «Записки гадкого утёнка», в которых он, как на духу, «во всём сознался»: и в слабостях своих, и в победах над ними. *«Постоянным напряжением, постоянным вызовом была война. Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарём в желудке, – потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней, и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, счастлив в любви».*

Редкое свойство Померанца – обращаться к каждому из нас, впускать в свою душу и быть абсолютно искренним. Ни позы, ни нравочений. «Бойся того, кто скажет «Я знаю, как надо», – часто повторял Г.С. эти слова Галича. Он знал, как **не надо**. И это уже очень много. Не надо догм, не надо ненависти к инаким, не надо пены у рта, не надо терять надежду. Ведь всегда есть чем жить и всегда есть причина для счастья. Она есть и сегодня, потому что и сегодня, как в том давнем феврале, когда он шёл на фронт с одним сухарём в желудке, светит февральское солнце и сосны пахнут смолой. Григорий Померанц **не учит** радоваться. Он просто заражает вирусом радости. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?». Эти слова Достоевского часто звучали в доме Померанца и Миркиной.

Достоевский – спутник Померанца с 1938 года. Он думал и писал о нём всю жизнь. Он хорошо понимал и «смешного» человека и «подпольного». Да и как не понимать, если Померанц сам такой. Недаром же он назвал свою автобиографическую повесть «Записки гадкого утёнка». *«Смешной человек потому и смешон, что в уме его теснятся целые вселенные, – пишет Померанц в одном из очерков, посвящённых Достоевскому, – смешным человеком чувствовал себя и Толстой (это видно в его повести «Юность»).* Оба величайших русских писателя, очень чувствительные к красоте, с детства были задеты своей собственной грубой и невыразительной наружностью, часами простаивали перед зеркалом, пытаясь придать лицу по крайней мере умное выражение, а в гостиницу не умели войти; склонность к созерцанию вызывала рассеянность и неловкость, а сознание своей неловкости и к тому же некрасивости сковывало по рукам и ногам и удешевляло неловкость». Кому незнакомы подобные переживания? Померанц пишет о писателях и их героях, как о близких и понятных людях. Ему внятны их рефлексии, фобии, их внутренняя борьба. Для него литература, культура – никакая не надстройка, а сама жизнь в её сгущённом виде, квинтэссенция жизни. Потому так тянет читать Померанца. О чём бы он ни писал, он всегда пишет о главном в тебе, в себе, в нас. О Достоевском, Толстом, Тютчеве, восточной философии, истории он пишет так же лично,

⁵² Сокр. Вариант: «Новая газета», 20 февраля 2013 г.

как о своём собственном выстраданном опыте на фронте, в Гулаге, в любви. Именно поэтому нам так необходимо написанное им. А ещё потому что это строки свободного незашоренного человека, что всегда было и остаётся редкостью.

Как странно и нелепо, что человека, который дома и в литературе, и в философии, и в истории, вдруг из этого дома выселяют. Как дико, что человек, которому было так интересно жить, больше ничего не будет знать об этом мире и о любимых людях. А может быть, будет? Но не стоит об этом. Лучше полистать те страницы жизни, которые навсегда останутся в памяти: Григорий Соломонович, прикрыв глаза, слушает стихи или музыку (любимое ежевечернее занятие Зины и Гриши); Г.С. спокойно, без суеты привычно помогает Зине накрывать на стол; раннее утро на даче в Отдыхе, Гриша, как обычно, отправляется на велосипеде в магазин за продуктами. И в этой роли он столь же естествен, как и за письменным столом. А ещё долгие годы у нас дома хранились рукописи Померанца. Ведь мы же десятки лет жили в догутенбергской России, и Г.С. старался держать свои неизданные труды в разных местах, чтоб они хоть где-нибудь сохранились.

В России и впрямь надо жить долго. Авось до чего-нибудь хорошего доживёшь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина дожили. Их издали, их узнали и полюбили сотни и тысячи людей. К ним тянулись, на их лекции, которые они регулярно читали, приезжали из отдалённых уголков страны. Г.С. успел почувствовать свою нужность.

А ещё они успели пожить в замечательной квартире, которую им помогали обустраивать любящие их люди. Впрочем, им и в хрущёвской пятиэтажке было неплохо. Они и в тесной квартирке с прекрасной слышимостью (из квартиры сверху доносился собачий лай, а из соседней плач ребёнка) умудрялись жить втроём с тишиной. Меня всегда поражало свойственное им обоим сочетание страстности и внутренней тишины. И эта тишина воспринималась, как живое существо, на которое можно даже наткнуться.

В их доме часто звучали стихи. Гриша любил строки Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену». Но сам-то он умел жить и во времени, и в вечности, и никогда ни у кого не был в плену. А 13-го марта ему исполнится 95 лет. И свет будет, наверно, ещё более весенний, чем сегодня. Ещё один повод для счастья.

2013

Ключ от снесённого дома⁵³

О книге Натальи Громовой «Ключ. Последняя Москва»// АСТ, Москва, 2013

Однажды на пыльной просёлочной дороге Наталья Громова нашла тяжёлый амбарный ключ и тут же подумала, что непременно найдёт дверь, которую этот ключ отомкнёт. И нашла. Это была дверь в исчезнувший мир. Наташа вошла в него и впустила нас. Мир этот и люди, его населявшие, настолько живые и яркие, что с ними не вяжется слово «архивы». Кажется, они сами пригласили Наташу и разложили перед ней свои письма, дневники, рассказали, что помнили. Да так оно и было во многих случаях. Но зачем же ей и нам всё это знать? У нас своя жизнь.

Недавно я была в Италии, где экскурсовод, водивший нас по Ватикану, сказал: «Крушение Римской империи – самая страшная катастрофа в истории человечества». Так ли это – пусть разбираются историки. Я же хочу сказать о крушении той цивилизации, которую полностью уничтожила революция? Речь не об экономике, не о социальном устройстве России. Речь о людях, о людской породе, которая, как английский газон, требует для нормального функционирования три сотни лет постоянного возделывания и ухода. О людях, которых называют не переводимом на другие языки словом «интеллигенция».

Что это за люди? О них книга «Ключ. Последняя Москва». Они исчезли не в одночасье. Их долгие годы калечили, гнули, выкорчёвывали, по ним проезжали катком, но они каким-то чудом ещё встречались даже в шестидесятые, семидесятые годы, и я благодарна судьбе, что некоторых из них ещё застала.

Книга Натальи Громовой – не о громких именах. Она – о тех, кто населял ту Москву, в которой Зубовский бульвар ещё славился липами и одуванчиками в густой траве. Москву начала и первой половины 20-го столетия. В том и прелесть книги, что герои её – люди невеликие: Татьяна Александровна Луговская, Мария Иосифовна Белкина, Ольга Бессарабова, Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, семейство доктора Доброва со всеми чадами и домочадцами. Вот как пишет автор об этом семействе: «Главой дома был Филипп Александрович Добров. Он родился в семье, где старшему сыну полагалось быть врачом. Его отца пациенты звали не Добров, а «доктор Добрый». Филипп Александрович тоже полностью отвечал своей фамилии – пятьдесят лет он проработал в Первой Градской больнице в Москве». Разве можно не почувствовать, что стоит за этими словами – какая давняя многолетняя традиция ответственности, профессионализма, любви к своему ремеслу (а ведь почти все члены этой семьи оказались в лагере или в ссылке). И так можно сказать почти о каждом из героев этой книги. Всех не перечислить. Они вовсе не ангелы – эти люди. У каждого – свои странности и заморочки. Но именно таких людей имел в виду Бердяев, депортированный из России на «философском» корабле, когда сказал, что на Западе интерес к культуре чисто академический, а у нас – вопрос жизни и смерти. Достаточно одной этой фразы, чтоб понять, чем жили те люди, чем дышали, на каком языке говорили. На русском, между прочим. На том русском, на котором сейчас мало кто умеет говорить.

Не хочется произносить «большие» слова типа «совесть, благородство и достоинство», но что делать, если именно эти окуджавские слова вертятся на языке, когда читаешь книгу. Можно ещё вспомнить Достоевское словосочетание «всемирная отзывчивость русской души» и мандельштамовскую «тоску по мировой культуре». Всё это было свойственно тем, о ком ведёт речь в своей книге Наталья Громова. И вот чудеса: когда читаешь об этих давно исчезнувших людях, испытываешь то, о чём пишет в приведённом в книге письме из казахстанской ссылки

⁵³ «Новая газета», 21 мая 2014 г.

(а где ещё могли находиться подобные люди в ту эпоху?) драматург Сергей Ермолинский: «И рассеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом...».

Да, все они оказались по определению Даниила Андреева «странниками ночи», но при этом сохраняли свойство светить другим.

Спасибо Наташе, которая извлекла из небытия этих людей.

Но вот вопрос: что нам со всем этим делать? Помнить, наверное, чтобы не путаться в оценках, чтоб не заболеть дальтонизмом, чтоб различать не только чёрное и белое, но и улавливать оттенки, чтобы не потерять верные ориентиры, чтобы тянуться к той планке, которую задают герои наташиной книги. И тогда получится сказать: «Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностию: были».

2014

Местные условия таковы⁵⁴

О книгах: (1) Софьи Прокофьевой «Дорога памяти» («Время», М.: 2015) и (2) «Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович» («CORPUS», М.: 2014)

Для меня самые главные книги последнего времени – воспоминания. Впрочем, «воспоминание» – слишком вялое слово для рассказа о жизни в нашей стране в 20-м веке.

Одну за другой я прочла две книги – «Дорога памяти» Софьи Прокофьевой, невестки знаменитого композитора, и «Дочь философа Шпета» – тридцатичасовой рассказ Марии Густавовны Шпет Елене Якович. Спасибо этим женщинам за их поразительную память, спасибо Елене за фильм и книгу, и спасибо издателям, за то, что дали нам возможность всё это прочесть. Такие книги нужны, как воздух. Почему нужны? Да потому что без них нам грозит опасность потерять способность ориентироваться в пространстве и во времени. Без них можно привыкнуть к тому, к чему нельзя привыкать. Например, к отсутствию кислорода в воздухе, которым дышим. Книги, мной упомянутые, и есть тот самый кислород. Их населяют люди, которые и создавали необходимый для жизни воздух. А мы уже давно дышим воздухом «ворованным». И чудится мне, что скоро и воровать его станет негде.

А «местные условия» вот каковы: Россия всегда была страной уникальной. Каждый раз заново убеждаешься в этом. Уникально богатой на таланты, на личности, на людей масштабных. Россия всегда была страной, где подобные люди, как правило, плохо кончали. Вот перелистываю воспоминания Софьи Прокофьевой и сразу же натываюсь на такую строку: «... его лицо напомнило мне кого-то, но я не сразу вспомнила, кого именно. Широкие мягкие щёки. Добрая улыбка. Вознесенский. Расстрелянный Вознесенский...». А дальше будет о Лине Ивановне Прокофьевой (свекровь Софьи), отсидевшей долгий срок, а дальше о Михоэлсе, закованном в грузовой вагон в Минске по распоряжению Сталина, а дальше об искусствоведе Габричевском, который в 1935-м году был осуждён за антисоветскую агитацию. «В тюрьме ему выбили один глаз. Но в 1941-м году он был амнистирован, а через несколько лет получил звание академика». Так что у этой страшной сказки был не самый страшный конец.

О Габричевском вспоминает и Марина Густавовна Шпет. Он был другом её отца – замечательного философа, имя которого одно время было на слуху у всех интеллигентных людей. Но его академиком не сделали. Его после нескольких лет сибирской ссылки расстреляли. А мы теперь можем прочесть рвущие душу строки отбывающего ссылку Шпета из его письма жене: «Моя золотая, золотая, бесценная, любимая, мне немного осталось жить, так не лучше ли бросить все хлопоты и заботы и жить хотя бы в тундре, но быть с тобою, ведь быть с тобою вдвоём, забыв всё на свете, было мечтой самой розовой моей любви к тебе!..»

Лежат рядом две книги воспоминаний. Софья Прокофьева родилась в 1928-м, Марина Густавовна – в 1916 —ом. Обе женщины, слава Богу, живы. Читать их воспоминания – радость и горе. Радость – потому что ещё раз дивишься тому, как богата наша почва незаурядными людьми. Горе – потому что ещё раз убеждаешься в том, что ждали их здесь либо срок, либо пуля.

А ещё дивишься тому, как эти люди умели талантливо жить. Даже в ссылке Шпет, которому запретили заниматься философией, работал, он много переводил и постоянно просил прислать книги: «... почему не могут прислать Эсхила?... Очень хочется Эсхила почитать по-гречески». «Он вообще любил всех поэтов читать на их родном языке», – рассказывает Марина Густавовна.

⁵⁴ «Новая газета», 20 февраля 2015 г.

А Софья Прокофьева вспоминает, что ее дядя – замечательный пианист Самуил Фейнберг всегда держал в нагрудном кармане ампулу с цианистым калием на случай ареста. И при этом жизнь продолжалась: он и часами играл на рояле, разучивая новую программу, и концертировал, и любил проводить время с маленьким сыном Софьи Прокофьевой. И все эти люди любили праздники, посиделки, беседы с друзьями. Они знали, что такое роскошь человеческого общения. И, читая эти книги, мы погружаемся в ту атмосферу, дышим тем воздухом.

Почему, Господи? Ну почему Самуил Фейнберг должен был выходить поздно вечером на звонок, нащупывая в нагрудном кармане ампулу с ядом? Почему надо было уничтожать уникальный ГАХН – государственную академию художественных наук, возникшую в 1921-м году в Москве и ликвидированную в 1930-м? «У ГАХН не было аналогов ни в России, ни на Западе, – говорит Марина Густавовна, – разве что Платоновская академия во Флоренции пятнадцатого века. Это был синтез искусства и науки... Единственным условием деятельности которого было постоянное творчество сотрудников!». О судьбах сотрудников упразднённой академии говорить не буду. Смотри выше. Их обвинили в том, что они создали «крепкую цитадель идеализма», а их самих назвали «бывшими людьми». К сожалению, они и впрямь бывшие, сегодня нам таких людей очень не хватает.

Считается, что нельзя дважды вступить в одну реку. В России можно. У нас ведь свой путь. У нас ведь собственная гордость. И потому невыспавшиеся школьники, должны будут, придя на двадцать минут раньше в школу, петь Гимн. А таксист, который подвозил меня на днях, хвалил умного Сталина, который знал, что делать с недовольными: «Он взял да и вывез за одну ночь всех чеченцев подальше. И стало тихо». А когда мой сын попробовал сказать что-то о невинных, таксист отрезал: «Невинных людей не бывает».

Ему всё ясно. Это у Густава Шпета и ему подобных всегда были вопросы и поиски ответов. «...Кто знает, где поставлены сроки и чем должны быть наполнены времена?...», – писал он из сибирской ссылки своему другу поэту Балтрушайтису. Жить Густаву Шпету оставалось меньше года.

2015

И возникает счастье

О книге Татьяны Луговской «Как знаю, как помню, как умею»

Эту книгу и читать не надо. Достаточно ее открыть и коснуться взглядом строки. Все. Ты погрузился в тот мир, в те времена, в ту жизнь, о которой рассказывает автор. А кто автор? Автор – художник и писатель, сестра поэта Владимира Луговского Татьяна Александровна Луговская (1909–1994). Вышла книга в издательстве «Аграф» давно – в 2001 году, а написана, естественно, еще давнее. Так почему же я вдруг спохватилась и стала о ней писать? Потому что мне в руки она попала совсем недавно и стала откровением. На какое-то время я переселилась в удивительный мир девочки Тани. И случилось это легко и просто. Именно так, как я сказала в самом начале: открыла книгу, коснулась строки и пошла за Таней. За ней нельзя не пойти, потому что она видит и слышит то, чего не видят и не слышат другие. И это не какие-то потаенные вещи. Нет – все на виду, но заметить дано только ей. И не только заметить, но и рассказать. И не только рассказать, но нарисовать. Она же художник.

Я часто думаю о том, что мы берем ничтожно малую часть того, что нам дает жизнь. Это, как если бы нам подарили концертный рояль, а мы бы стали играть на нем «Собачий вальс» или «Чижик-пыжик». А у девочки Тани не пропало ничего из того, что ей подарила жизнь. И более того: она сумела всем этим поделиться с нами. А ведь автобиографическая проза вещь коварная. Автор делится своим сокровенным, а нам не надо. У нас своих воспоминаний воз и маленькая тележка. Куда нам чужие? Так в чем же дело? Почему здесь все иначе? Почему, дочитав книгу до конца, я не убрала ее на полку, а положила рядом? Потому что книга, а, вернее, автор уникален. У автора фасеточное зрение, абсолютный слух, фантастическая память и редкая способность ничего не расплескать и не просыпать по дороге к белому листу.

Листаю книгу, чтобы привести пример всего того чудесного, о чем я говорила. И понимаю, что это почти невыполнимая задача. Трудно что-нибудь выбрать. Хочется просто читать взахлеб и неотрывно. И все же попытаюсь: *«Дворник приносил дрова, грохал ими около топки, и няня начинала священнодействовать. Я присутствовала. Каждое полено тщательно рассматривалось, оглаживалось, откладывалось, сортировалось. Что-то шепталось, что-то обнюхивалось, некоторые поленья она крестила, некоторым угрожала. Дрова сложной конструкцией укладывались в печку, образуя домик. Появлялась лучина, факелом пылала она в няниной руке и исчезала в домике из поленьев. Дрова занимались разом. На короткое время чугунная дверца закрывалась, и в печке начинало гудеть. Я приносила скамеечки. Когда печку открывали снова, все уже пылало и бушевало внутри нее. И возникало счастье...»*

Не знаю, как у вас, а у меня оно точно возникает. И от картинки, и от прозрачной, невероятно чистой речи, от которой даже компьютер отвык: то-то он без конца подчеркивает самые простые слова. Но послушайте дальше: *«Углом своего головного платка нянька вытирала рот, брала в руки кочергу и монотонно (без всяких просьб), как замороженная глядя в огонь, начинала бубнить: «В некотором царстве, в некотором государстве, жил да был царь Додон»... Огонь в печке, Додон, его удивительная жизнь, его мир, так непохожий на наш, рассыпающиеся угли, бесконечная сказка, которая потухала только вместе с печкой, – все это было прекрасно...»*

Печка, огонь, тепло – эти слова самые частые в книге. Они греют даже тогда, когда темень и стужа. А темных и студеных времен хоть отбавляй. Годы-то какие: 1917, 1918, 1919... *«Если забежать вперед, то я вспоминаю, что с такой же радостью и хохотом и без всякой трагедии, во время голода в 1918 году, она (мама) выменивала на продукты свои колечки и сережки, не только не жалея их, но даже удивленно радуясь, что их можно было съесть.»*

Этих людей согревал еще и юмор, без которого они не умели жить:

«Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали – в виде девочки – на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», – надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилося.»

Как оно бьется слышно на протяжении всей книги. А бьется оно по-разному: иногда часто, иногда с трудом. Но, бог ты мой, сколько раз произносится слово «счастье». И как же ему не быть, когда книгу населяют такие живые люди? Отец, влюбленный в живопись и особенно в Саврасова, «Грачи прилетели» которого для него – смертельно больного – каким-то чудом приобрела мама. И картина эта оказалась целительной. Да и сама мама, поющая при гостях на музыкальных вечерах, которые часто устраивались дома:

«Сидишь где-нибудь в уголке и слушаешь, а она вдруг начнет забираться на такую высоту, что дух захватывает, и постепенно, все закругляя и углубляя звук, спустится вниз. И волна счастья заливает тебя с головой...» Слышите? Опять счастье. Ну как не рассказать о книге, где столько счастья, которого всегда дефицит, особенно в России. И о человеке, который знает, как его добывать.

2018

Памяти Тамары Владиславовны Петкевич (29.03.1920–18.10.2017)

В ночь с 18 на 19 октября в Санкт-Петербурге умерла Тамара Владиславовна Петкевич. Её книга «Жизнь – сапожок непарный», а потом и личное знакомство с Тамарой Владиславовной, важнейшие события моей жизни. Об ужасе сталинских лагерей я много читала и в самиздате в советское время, и когда открылись перестроечные «шлюзы». И когда мне в руки попала книга Петкевич, я приступала к ней со страхом, потому что знала, что она – о невыносимом. Но произошло чудо: книга была полна воздуха и света. Она помогала восстановить иерархию ценностей, она не отнимала силы и надежду, а давала их. Хотя звучит это дико, если вспомнить, о чем книга. И такое происходило со всеми, кому я давала её читать: люди, как и я, брали ее со страхом, а возвращали с благодарностью.

Такова Тамара Владиславовна Петкевич, такой она оказалась и при встрече. Прочитав книгу «Жизнь – сапожок непарный», я написала отклик на нее и на книгу Григория Соломоновича Померанца⁵⁵, с которым Тамара Владиславовна дружила.

Автор документального фильма «Дольше жизни» Дарья Виолина очень точно сказала: «Для меня люди делятся на тех, кто читал Петкевич, и тех, кто не читал, а значит, и не узнал чего-то важного о жизни». Я уверена, что Дарья имеет в виду не событийную сторону жизни (ведь о ГУЛАГе написано немало невероятно сильных книг), а саму личность автора и его взаимоотношения с судьбой и миром. Именно это делает книгу уникальной.

Послушайте, как читатели рассказывают о своем опыте чтения книги «Жизнь – сапожок непарный». Многие говорят так: «Я не сразу стал читать. Ведь я уже читал и Солженицына, и Шаламова. Но, когда открыл, то не смог оторваться». И наверняка не из-за особого сюжета, а из-за особого, ни на кого не похожего голоса, которым говорит Тамара Петкевич.

Читая книгу, я то и дело ловила себя на том, что мне хочется вернуться и перечитать тот или иной абзац – до того он удивительно ярко написан. Я даже чувствовала некоторую неловкость из-за этого. Ведь автор пишет о непостижимых, невыносимых вещах, о том, что в голове не укладывается. Уместно ли обращать внимание на стиль, на язык, на построение фразы? Не цинизм ли это? Но если говорить об уникальности книги, то уникальна она именно личностью автора, его взаимоотношениями с жизнью, что проявляется именно в языке, в выборе слов, в построении фразы, в интонации.

И еще поражает нравственный стержень этой молодой женщины – ведь ее арестовали, когда ей было всего 23 года. Тамара Петкевич не умела приспособливаться, и даже в губительных ситуациях оставалась самой собой. А в условиях ГУЛАГа из таких ситуаций состояла жизнь. Бесполезно выискивать какие-то особо яркие куски в этой прозе. Она вся, от начала до конца хороша и значительна.

У пианистов существует термин «туше». Это присущий каждому способ звукоизвлечения, свойственное ему одно прикосновение к ноте, к клавише. Этот термин, по-моему, применим к любому. У каждого свой способ звукоизвлечения, свой способ прикосновения к ткани жизни. Мне бесконечно близко то, как это делает Петкевич.

Да, жизнь сбивала ее с ног, лишала всяческой опоры, она проваливалась в такой мрак, из которого, казалось, не выбраться. Но кто-то свыше протягивал ей руку, и она вставала на ноги. Не сразу, постепенно, с большим трудом. И почему-то ей снова, несмотря на настигший ее мрак, удавалось увидеть всю палитру жизни, включая светлые тона. Ведь она не просто выжила

⁵⁵ Лариса Миллер, «Воспоминаниям предаться», о книгах Тамары Петкевич, «Жизнь – сапожок непарный» // «Астра-Люкс. Атокс». Санкт-Петербург. 1993 и Григория Померанца, «Записки гадкого утенка» // «Московский рабочий», Москва, 1998. (Опубл. в «Мотив. К Себе, от себя», Аграф, Москва, 2002).

там, где выжить почти нельзя, она сохранила себя той, какой была задумана Господом Богом. Она не только не утратила способность различать цвета и краски, но даже развила ее. Ее шкала ценностей осталась неизменной. А возможно, стала еще точнее.

Чтобы в любых условиях видеть жизнь во всем ее многообразии нужна зоркость. Это именно то, чем в избытке обладала Петкевич. Зоркость, чуткость, умение расслышать «призывы бытия» и откликнуться на них так, как свойственно именно ей: умно, точно, талантливо. На каком бы нищенском пайке ни был человек, он выживет и даже внутренне обогатится, если обладает талантами Тамары Владиславовны.

Она где-то пишет, что, несмотря ни на какие ужасы, часто ловила себя на том, что любит царящей вокруг красотой. По молодости, наверное, – говорит она. Да, молодость помогала пережить все это. Но не только она. Еще и то туше, которое было ей свойственно. Потому она и любила стихотворение, которое я ей посвятила:

*И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешие страсти кипели.
Когда под конвоем невинных веди,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.*

Я всегда чувствовала особое родство с Тамарой Владиславовной. И то, что мы родились с ней в один день, только его усиливало. Она была немного моложе моих родителей. И мне так хотелось продлить ее пребывание на этой земле. Ведь мир намного краше в присутствии таких людей. Даже если они немолоды и немощны.

Еще одно посвященное ей стихотворение:

Тамаре Владиславовне Петкевич

*Побудьте ещё, я вас очень прошу,
Побудьте ещё, драгоценные люди.
Я знаю, что вас умоляю о чуде,
Но верой в него я с рожденья грешу.
Постойте, родные мои старики,
Постойте. Пока вы живёте на свете,
Мы – ваши любимые малые дети
В одёжках, которые нам велики.*

2014

2018

Заявление о выходе из состава Русского ПЕН-центра

13.10.2018

В Исполком Российского отделения Международного ПЕН-клуба «Российские ПЕН-центр»

От Ларисы Миллер

Членский билет № 116

Я, Миллер Лариса Емельяновна, член Русского ПЕН-центра с 1992 года, заявляю о своем выходе из Русского ПЕН-центра в связи с неприемлемыми для меня позицией и фразеологией руководства Русского ПЕН-центра.

Так в недавнем Заявлении Русского ПЕН-центра, критикующем доклад «Международного ПЕН-клуба», «ПЭН-Москва» и «ПЕН Санкт-Петербурга» «Жесткое подавление свободы слова в России в 2012–2018 гг.», говорится:

«со сладострастием шельмуя», «русофобские высказывания», «можно обливать помоями бывшую Родину». Можно не продолжать. Это знакомый стиль пропагандистских доносов еще сталинских времен.

Мне бесконечно жаль, что действующее руководство Русского ПЕН-центра погубило столь уважаемую организацию.

«У меня с советской властью стилистические разногласия», – говорил Андрей Синявский. Стилистика действующего руководства Русского ПЕН-центра для меня неприемлема, поэтому я заявляю о выходе из его состава.

Миллер Л. Е.

8. Стихи XXI века (2000–2018)

* * *

Поверь, возможны варианты,
Изменчивые дни – гаранты,
Того, что варианты есть,
Снежинки – крылышки, пуанты –
Парят и тают, их не счесть.
И мы из тающих, парящих,
Летящих, заживо горящих
В небесном и земном огне, –
Царящих и совсем пропащих
Невесть когда и где, зане
Мы не повязаны сюжетом,
Вольны мы и зимой и летом
Менять событий быстрый ход
И что-то добавлять при этом
И делать всё наоборот,
Менять ремарку «обречённо»
На «весело» и, облегчённо
Вздыхнув, играть свой вариант,
Чтоб сам Всевышний увлечённо
Следил, шепча: «Какой талант!»

2000

* * *

Откуда всхлип и слабый вздох?
Из жизни, пойманной врасплох,
И смех оттуда,
И вешних птиц переполох,
И звон посуды,
И чей-то окрик: «Эй, Колян!»,
И сам Колян, который пьян
Зимой и летом,
И море тьмы, и океан
Дневного света.

2000

* * *

Всё способно умереть,
Потому что живо, живо,
В час весеннего разлива
Силам – таять, птицам – петь.

Тают в небе облака,
Тает снежная одежда,
Лишь последняя надежда
Не растаяла пока.

2001

* * *

Вроде просто – дважды два,
Щи да каша, баба с дедом.
А выходит, что едва
Мир не рухнул за обедом.

Вроде море, ветерок,
Сок в бокале с горстью льдинок.
А выходит – морок, рок
И кровавый поединок.

Вроде руку протяни –
Белый, белый куст жасмина.
Но прозрачнейшие дни
Вдруг взрываются, как мина.

Что на сердце, на уме?
Что пульсирует под кожей?
Что там вызрело во тьме?
Пощади нас, Святый Боже.

2001

* * *

Неуютное местечко.
Здесь почти не греет печка,
Вымирают печники.
Ветер с поля и с реки

Студит нам жильё земное,
А тепло здесь наживное:
Вот проснулись стылým днём,
Надышали и живём.

2001

* * *

И нет завершения. Ещё не конец.
И тайное что-то задумал Творец,
Ещё продолжается мысли паренье,
Ещё Он намерен продолжить творенье:
Нездешнее что-то в волнение слепить
И горькой любовью потом полюбить.

2003

* * *

Да не знать нам ни тягот, ни муки.
Чьи-то лёгкие, лёгкие руки
Приподнимут нас и понесут
Над землёй, как хрустальный сосуд.
Над отвесными скалами, мимо
Чёрной бездны. Да будем хранимы
И лелеемы, и спасены,
В даль пресветлую унесены.

2005

* * *

Дитя лежит в своей коляске.
Ему не вырасти без ласки,
Без млечной тоненькой струи.
О Господи, дела твои.

Тугое новенькое тельце
Младенца, странника, пришельца,
Который смотрит в облака,
На землю не ступив пока.

2006

* * *

Всё было – и кровь и расстрельные списки,
Баланда тюремная в прогнутой миске,
И пытки, и дым смертоносных печей,
Но снова ты млеешь от нежных речей,
Земное дитя, неразумное чадо.
И снова ты солнышку вешнему радо,
И снова ты греешься в вешних лучах
И бродишь в лесу при осенних свечах.

2006

* * *

Жить в краю этом хмуром, в Евразии сумрачной трудно.
Всё же есть здесь и радости. И у меня их немало.
Например, здесь рябина пылала по осени чудно.
Например, я тебя, мой родной, поутру обнимала.
Сыновей напоила я чаем со сдобным печеньем.
А когда уходили, махала им вслед из окошка.
Нынче день отличался каким-то особым свеченьем.
Разве есть на земле неприметная мелкая сошка?
Что ни особь, то чудо и дар, и судьба, и явленье.
Разве может такое простой домовиной кончаться?
После жизни земной обязательно ждёт нас продленье,
Да и здесь на земле неземное способно случаться.

2006

* * *

Столько нежности, Господи. Воздух, крыло.
Третий день снегопад. Даже ночью бело.
Столько нежности, Господи, маленьких крыл,
Будто Ты мне все тайны сегодня открыл.
Не словами, а прикосновеньем одним
К волосам и губам, и ресницам моим.

2008

* * *

Здесь мостик над речкой дощатый и узкий,
Здесь даже трава понимает по-русски.
Здесь так хорошо обо всём говорить
И в поле заросшем тропинку торить,
И, кажется, могут и травы и речка
Едва я запнусь подсказать мне словечко.

2008

* * *

Ну что не видала я тут в самом деле?
Ну пруд, ну тропинка, ну сосны, ну ели.
Ну что я, ей-богу, не видела тут?
Ну сосны, ну ели, тропинка и пруд,
Беседка, где прячутся люди в ненастье.
Так что ж это я обмираю от счастья?

2010

* * *

Россия, ты же не даёшь себя любить.
Ты так стараешься домучить нас, добить
И доказать нам, что тебе мы не нужны.
Но, Боже, как же небеса твои нежны!
Но как к нам ластится и льнёт твоя трава!
Но как звучат твои волшебные слова!

2011

* * *

Нет, нас не надо добивать,
Ведь мы умеем добывать
Молитвенное из мирского,
Как перламутр со дна морского.

Нет, нас не надо изводить,
За ручку надо нас водить,
Предупреждать, где кочка, яма,
Как делала когда-то мама.

2011

* * *

Всё ищешь опору? Боишься пропасть?
Всё ищешь к чему притулиться? Припасть?
Напрасно. Напрасно. Незыблемых нет.
Всё зыблемо: почва и кровля, и свет.

Но знаешь, в чём всё-таки здесь благодать?
Что хрупким друг к другу дано припадать.
И знаешь, что надо, чтоб мир этот жил?
Чтоб хрупкому хрупкий опорой служил.

2011

* * *

Идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,
Идти то из дому, то к дому,
Почти приноровясь к шажку

Той вечности, что не спешит
И вместе с тропами петляет,
И след, который оставляет,
Сама же снегом порошит.
Идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,

Идти то из дому, то к дому,
Почти приноровясь к шажку
Ребёнка, что едва-едва
Земли коснулся, встав на ножки,
И удивляется дорожке,
И силится сказать слова.

2012

* * *

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
А отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: «Ждет меня беда?»,
А мне в ответ – раскатистое «Да».
«Какие годы лучшие на свете?» –

Я спрашиваю. Отвечают: «Эти».

2012

* * *

Хотите, опишу тоску?
Осенний дождик морозящий,
Листву последнюю гасящий –
Хоть дуло приставляй к виску.

Хотите, счастье опишу?
Всё тот же дождь осенний редкий,
Всё тот же лист, слетевший с ветки,
Стихи, которыми грешу.

2013

* * *

Жертвам безумной распри посвящаю

А люди всё бегут, бегут
По той земле, что населяют.
А в них стреляют и стреляют,
Их здесь совсем не берегут.
Они бегут с узлом в руках,
С младенцем сонным на закорках,
С мечтою об уютных норках,
Где тишина, как в облаках.

А впрочем, гонится и там
Беда за ними по пятам.

Июль 2014 г.

* * *

Внуку Данечке

Не мешайте ребёнку сиять,
Ну прошу, не мешайте,
И счастливых смеющихся глаз
Этот мир не лишайте.
Что он стоит – подержанный мир –
Без такого сиянья?

Без него – он скопление дыр
И сплошное зиянье.
Если долго за взглядом следить –
За младенческим взглядом,
То далёко не надо ходить,
Всё чудесное рядом.

8 октября 2014 г.

* * *

Можно вычислить время прилива,
Скорость ветра и силу его,
Но захочешь понять, чем всё живо,
И опять не поймешь ничего.
Не поймешь, где тот скрытый моторчик,
Не дающий здесь всё сокрушить,
Почему задохнувшийся Корчак
Нам дышать помогает и жить.

2014

* * *

Фрэнсису Грину

Наверно, главное – не спорить,
Ни с кем не спорить ни о чём.
Ведь смог Создатель не поспорить
С землёю небо, тень с лучом.
И, коли надо, значит, надо
Сходить с привычного пути.
И, коли время листопада, –
Ну что поделаешь, лети,
Как листья в рощице соседней.
И всё ж, судьба, не обессудь.
Я не согласна на последний
Назначенный тобою путь.
И я с проектом нарушенья
Твоих порядков век ношусь,
И ни с одним твоим решением
Фатальным я не соглашусь.

2015

* * *

*Памяти жертв теракта
в Париже 13.11.2015*

Да человек ведь жить собрался.
Едва родился, жить старался,
Смешными ножками сучил.
Когда подрос, стишки строчил.
Всё время чем-то загорался.
Да как же можно вдруг лишить
Его святого права жить,
Лишить излюбленных занятий,
И тело, ждущее объятий,
Слепыми пулями прошить?

2015

* * *

Пожары, взрывы там и тут,
А люди, знай себе, живут,
Весь мир – пороховая бочка,
А люди в нём живут и точка.
Живёт не этот, так другой,
Такой же, в общем, дорогой
И драгоценный, и родимый,
И крайне здесь необходимый,
Как, впрочем, все до одного,
Кто жил на свете до него.

2016

* * *

Юлику Киму

Живётся трудно взрослым, детям,
Но мы работаем над этим,
Стараемся по мере сил,
Чтоб всяк легко свой крест носил.
Носил легко, как носит тени,
Лучи и крестики сирени
Земля; как, не сочтя за труд,
Листву и блики носит пруд.

Мы, то есть барды и поэты,
Несём ответственность за это,
И всем, кому непросто жить,
Крыло готовы одолжить
И наделить таким азартом,
Чтоб финиш показался стартом.

23 декабря 2016 г.

* * *

И опять перешагнём,
Как сто раз перешагнули
Через ад, где жгли огнём,
Насылали мор и пули.
Через всё перешагнём -
Через то и через это.
Даже неким чёрным днём
Переступим через света
Нам предсказанный конец
И продолжим куролесить,
И сподобится Творец
В небе солнышко повесить,
Чтобы свет, как прежде тёк,
Чтобы люди, свету внемля,
Не пустились на утёк,
А спасали эту землю.

2017

* * *

Опять здесь что-то попирают,
Опять надежды умирают,
Опять спешат здесь наказать
Того, кто тщится доказать,
Что, как во всем подлунном мире,
Здесь тоже дважды два – четыре.
«Нет пять, – орут, – нет пять, нет пять,
Он враг, пора его унять.
Он оскорбляет наши чувства.
У нас свой счёт, своё искусство,
Своя морковка, свой укроп.
Прочь, ненавистный русофоб».

2017

* * *

Мы чем занимаемся в этих краях?
Мы что создаем? Мы с кем на паях?
Мы светлое завтра усиленно строим
Иль яму себе да и ближнему роем?
Нам что помогает – надежда, любовь?
Да им же всю морду расквасили в кровь.
А, может быть, вера? Её растоптали.
Могу вам поведать убийства детали.
Так что же нас держит? Цветочки, лучи?
А, может, от дома родного ключи?
Боюсь, что бессильны любые резоны,
И просто мы жить не умеем вне зоны.

2017

* * *

Займитесь чем-нибудь. Стихи читайте что ли,
Чтоб было больше счастья, меньше боли,
Играйте песенку, хоть пальчиком одним.
День пролетит, другие вслед за ним
Последуют, нам что-то навевая.
Давайте встретим их, тихонько напевая,
Иль, млея от рассветного луча,
Прилипчивые строки бормоча.

2017

* * *

А лучшие из лучших полегли.
Причём не сами. Им здесь помогли.
Им в сих краях охотно помогают.
Здесь лучших ни за что не проморгают.
На лучших у России острый нюх,
Не переносит Родина на дух
Особо одарённых, окрылённых,
Неведомо за что в неё влюблённых,
И, не желая с ними вместе жить,
Торопится на месте уложить.

2017

* * *

О Господи, зачем ты нас завёл?
Ну для какой такой высокой цели?
Ты видишь, сколько с нами канители?
Твой мир без нас куда бы краше цвёл.
Ну кто ещё Тебя так «достаёт»,
И теребит Тебя и окликает?
Кошачье племя, знай себе, лакает,
А птичье племя, знай себе, клюёт,
А тучи в небе, знай себе, плывут,
А дождик летний, знай себе, лепечет.
А люди мир Твой, знай себе, калечат,
Потом Тебя спасать его зовут.

2017

* * *

*21 декабря в день рождения И. В. Сталина
к его могиле у Кремлевской стены
было возложено 13500 красных гвоздик
«от благодарных потомков».
(по сообщениям СМИ)*

Не знаю, чем мы заслужили
Те времена, в которых жили
И всё живём. И кто же нас
От тех времён жутчайших спас,
Где из постели вынимали,
Из прежней жизни изымали,
Сажали в чёрный воронок,
Шутя скрутив в бараний рог.
Спасибо, Господи, что позже
Явились мы на свет. И всё же
До той эпохи, где барак
Был отчим домом, – только шаг.
И стоит только отвернуться,
Как злые времена вернуться.
И как нам надо поступить,
Чтоб помешать им наступить,
Коль мы себе же яму роём,
Назначив палача героем?

Декабрь 2018

* * *

О мир несчастий и утрат,
Нет, я не твой электорат,
Нет, я не этого хотела,
Не знаю, как сюда влетела.
Но раз влетела, то должна,
Найти ту краску, что нужна,
Чтобы тобою любоваться,
Ведь мне же некуда деваться.
И что-то всё же нахожу
И очень этим дорожу.
А там, где вид особо мрачный,
Пейзаж я вешаю прозрачный.

2018

* * *

*«What a wonderful world»
Louis Armstrong*

О сколь удивителен мир,
Чьи воды всё то отражают,
Чем нас небеса поражают:
Оттенки и птичий пунктир.
О сколь удивительны мы!
О как мы легко забываем,
Что мы на краю, а за краем
Бескрайние залежи тьмы.
О как грандиозен рассвет,
Который всегда наступает
И мраку нас не уступает,
Сводя его тихо на нет.
О как изумителен тот,
Кто эту волынку затеяв
И бедами землю засеяв,
Заставил сиять небосвод.

2018

Приложение

Анна Саед-Шах⁵⁶

Правозащитник и поэт

Интервью с Борисом Альтшулером и Ларисой Миллер

Борис Альтшулер – физик, взявший на себя ответственность за судьбы и права чужих детей. Лариса Миллер – поэт, взявший на себя ответственность за судьбы своих детей, мужа и собственных строчек. Евгений Евтушенко как-то заметил, что всякий раз, встречая Борю и Ларису, он поражался, что эти двое, даже прогуливаясь по Переделкину, всё время что-то обсуждают и им никогда не скучно.

⁵⁶ Анна Саед-Шах (урожд. Данцигер), 30 декабря 1949 — 11 февраля 2018, поэт, сценарист, журналист.



Л. М. Да, и поженились мы в День сурка, второго февраля далекого 1962 года. Очень, кстати, люблю этот фильм. Когда мы начали встречаться, Боря каждый день рассказывал мне одно и то же, даже один и тот же анекдот, забывая, что в прошлый раз все это уже говорил. Он даже иногда начисто забывал, что этот анекдот я сама ему накануне рассказала. Видимо, ему поначалу было очень трудно найти, о чём со мной беседовать. Поняв это, начала говорить я. Боре это очень понравилось – не нужно девушку развлекать.

– Если Борис был таким застенчивым, то как же решился на знакомство?

Л. М. Поначалу была совсем другая расстановка: у меня были приятели, Витя, физик, и его подруга – моя однокурсница. Как-то во время гулянья Витя сказал, что ему нужно отдать абонемент в бассейн «Москва» своему однокурснику по физфаку МГУ. Мы подошли, стоит вот этот красавец и говорит, на мой вкус, ужасно оскорбительную фразу: «Здравствуйте, девочки». А я терпеть не могла, когда меня с кем-то обобщают. Это была первая эмоция. Вторая – это когда мы все вместе пошли ко мне в гости на Новокузнецкую: Другой однокурсник Бори и Вити – Дима, который считался моим мальчиком, и та самая подруга-однокурсница с Витей. Борька шёл впереди с авоськой апельсинов. Он шёл так одиноко, что мне стало немножко за него обидно. А третья эмоция – когда мы уже переехали в отдельную квартиру на Трифоновской. В тот серый дом, где когда-то было общежитие Консерватории. Боря пришел с поручением от кого-то. И я решила поставить чайник. А перед гостем поставила банку варенья. Когда я вернулась, банка была пуста. Боря сидел, вытянув ноги так, что перекрыл ими всю комнату. И я заметила, как хорошо он смотрится в узеньких брючках. До этого Боря ходил в мешковатых штанах и куртке. Эта эмоция была решающая.

– *А Борис уже был поклонником ваших стихов?*

– Стихов я тогда ещё не писала. Правда, в детстве сочинила один стих и одну поэмку под Агнию Барто. А к моменту нашего знакомства я была студенткой иняза, которую по утрам мучил один и тот же вопрос: ну неужели я родилась для того, чтобы всю жизнь преподавать в школе английский язык? Не может быть!

– *И вот однажды...*

– И вот однажды осенью, примерно через десять месяцев после нашей свадьбы, я, гуляя с Борей на Рождественском бульваре, в странном предчувствии присела на скамеечку, достала ручку, тетрадку (всё-таки преподаватель!) – и вдруг написала стишок. И мне понравилось. Не столько стишок, сколько состояние, в котором я пребывала.

Б. А. *(цитирует)*

*«Я иногда люблю бродить по улицам,
Смотреть по сторонам и на прохожих,
Бывает, и они посмотрят тоже,
Порой помягче, а порой построже...»*

Л. М. В надежде почаще испытывать это состояние, я принялась сочинять. Поначалу все было драматично: я тянула из себя сточки – то они были, то нет. Когда не было – я очень страдала, а когда приходили – считала, что они плохие... Я писала и писала. Но это немного позже. А тогда я работала по распределению в спецшколе с второклашками, и времени на сочинительство не было совсем. Помню панику моих родителей, когда я заявила, что ухожу из школы. И тут ключевую роль сыграл свободомыслящий Боря, который объяснил мне, комплексующей, что я имею право писать, имею право. Я устроилась преподавать на курсы, и вскоре начались «четверги».

– *Какие четверги?*

– Я стала ходить по четвергам на литобъединение к Эдику Иодковскому. Из-за этого часто увольнялась с работы и поступала на новую, чтобы освободить четверг. Если же меня нагружали четвергом, я снова увольнялась. Кроме Иодковского, захаживала к Левину в «Магистраль».

– *Я тоже ходила к Иодковскому, но только по вторникам, пропуская школу. И тоже заглядывала в «Магистраль», но уже к Томашевскому. А Боре ваши первые стихи нравились?*

– Он очень критичен.

– *Считается, что люди, занимающиеся точными науками, более критичны, поскольку всё время работает логика. И якобы поэтому среди них больше правозащитников. Например, Андрей Сахаров, Кронид Любарский, Юрий Орлов... Борис Альтшулер. Вы согласны?*

Б. А. Да уж, точно, логика нам необходима, в отличие, например, от философов. Я имею в виду советских философов. Однажды мой отец, физик-атомщик, был с коллегами в командировке в Сибири, они там в 1960-е годы проводили подземные ядерные испытания. Их принял у себя президент Сибирского отделения АН СССР Михаил Лаврентьев. И вот во время беседы входит секретарша и сообщает, что в приёмной Лаврентьева уже давно ожидают двадцать философов. Михаил Александрович сказал «ничего, пусть подождут» и рассказал ученым-атомщикам следующую притчу: «В одной африканской стране произошел военный переворот, и была забита вся интеллигенция. И вот на рынке продают мозги. К новому начальству кто-то прибегает с претензией, возмущается: почему килограмм мозгов философов стоит в десять раз дороже килограмма мозгов физиков. А ему объясняют: ты представляешь, сколько нужно было забить философов, чтобы получить килограмм мозгов!»

– *Ваш отец дружил с Сахаровым. А вы?*

– С Сахаровым я познакомился через отца. В 68-м, когда я написал диссертацию по гравитации, отец попросил Сахарова быть оппонентом на моей защите. Андрею Дмитриевичу это показалось интересным. Его только что изгнали с секретного объекта Арзамас-16 (моя малая родина, там прошли мои школьные годы с 1947 по 1956-й) за знаменитые «Размышления...», которые, собственно, и стали началом его мировой славы. Он только-только запустил их в самиздат, и в июле 1968 года «Размышления» опубликовала «Нью-Йорк Таймс». В Кремле случился шок. Шок был и у них на этом сверхсекретном ядерном объекте. Отец спросил Сахарова, почему он обратился за границу. На что тот ответил: «Я обратился к тем, кто готов меня слушать».

[**Дополнение 2018 года.** Как я совсем недавно узнал (из статьи Геннадия Горелика «Размышлениям Андрея Сахарова о прогрессе, мире и свободе – 50 лет», «Троицкий вариант», 17.07.2018, № 258), главным адресатом «Размышлений» Сахарова было высшее руководство СССР, которое отказывалось заключить с США соглашение об ограничении противоракетной обороны (ПРО); как только «Размышления» появились в самиздате – еще в мае 1968 года – КГБ распечатало их для всех членов Политбюро ЦК КПСС, и это подействовало: уже 1 июля Президент США объявил о соглашении с СССР о начале переговоров об ограничении ПРО. – См. статью «О «парадоксе» Сахарова». К 50-летию его «Размышлений»].

Сахаров жил в Москве на «Соколе», и я принёс ему диссертацию, потом заходил ещё несколько раз. Но была еще встреча при необычных обстоятельствах. В начале августа 68-го мы оказались в одном самолете, направляясь на международную гравитационную конференцию в Тбилиси.

В самолёте объявили, что из-за грозы над Главным Кавказским Хребтом будет посадка и ночевка в Минеральных Водах. Всем иностранцам и академикам предложили аэропортовскую гостиницу. К Сахарову, когда он говорил со мной, тоже с этим подошла стюардесса. Он спросил, а как поступят с молодым ученым Борисом. Девушка ответила, что не положено. Тогда Сахаров отказался от номера. Мы заночевали на стульях в зале ожидания. И там поговорили о его «Размышлениях...», которые я уже успел прочесть в самиздате. Кстати, «Размышления» не были антисоветской брошюрой. Сахаров хвалил мощь нашей армии, резко осуждал американцев за Вьетнам. Главная идея – идея конвергенции: мы должны перестать твердить об уничтожении капитализма и о мировой революции. Надо договариваться...

В 68-м Сахаров, как и мой отец, был еще очень советским человеком. В том же году мы с другом Павлом Василевским выпустили (под псевдонимами, садиться никто из нас не хотел)

самиздатовскую статью «Время не ждёт». В ней – и про новый эксплуататорский класс партийной номенклатуры, и о внешней агрессивности нашей системы. Так что я был достаточно критичен. Вот эти дела мы с А.Д. и обсудили тогда в аэропорту, естественно выбирая слова, понимая, что везде есть уши.

В сентябре 1969 года отец и Сахаров навсегда уехали из Сарова – случайно в одном поезде. Сахаров – потому что его отстранили от секретных работ за его «Размышления», а отец по другим причинам. В том же году мой брат приносит отцу красивую самиздатовскую брошюру, где впервые была опубликована антисталинская статья Григория Померанца и наша с Павлом Василевским – «Время не ждёт». Я, конечно, не стал кричать: «Это я, я, я» – как лягушка-путешественница.

Отец поехал к Сахарову на «Сокол» ее показать. Оказалось, А.Д. статью уже читал. Они горячо обсуждали брошюру, не задумываясь о прослушке. Но как только разговор зашёл о бомбовых делах, Сахаров остановил отца: «У вас есть допуск к секретной информации, у меня есть. А у тех, кто нас сейчас слушает, допуска нет».

– *А это правда, что после высылки Сахарова в Горький в январе 1980 года развернулась кампания – мол, Сахаров выжил из ума и деградировал как учёный?*

– Конечно. И это было очень страшно – было такое чувство, что в любой момент могут и убить. Но в мире тогда поднялась гигантская кампания в защиту. А я в феврале инициировал Обращение в ООН о том, что именно Сахаров объяснил происхождение барионной асимметрии Вселенной (что правда, как раз осенью 1979 года мировые физики признали значимость этой работы Сахарова 1967 года). Текст мы сочинили с Львом Копелевым, хотя физическая часть была, конечно, моя. К обращению присоединились Георгий Владимов, Григорий Померанц, Софья Каллистратова и Мария Петренко-Подъяпольская – всех их я с этим листком посетил. Лев Копелев закинул его иностранным корреспондентам, так сказать, «запустил в космос». И «Голос Америки» три дня передавал наше «Обращение», называл всех подписантов, рассказывал о барионной асимметрии, Сахарове и Вселенной. Никаких последствий и неприятностей тогда со мной не случилось. А в начале марта было объявлено решение Секретариата ЦК, что Сахаров – большой учёный и у него есть все возможности заниматься наукой в г. Горьком. Это было лукавство, но лукавство спасительное, а кампания травли Сахарова в СМИ резко прекратилась.

– *Получается, что ваша правозащитная деятельность началась с защиты Сахарова?*

– Ну что вы! Гораздо раньше.

– *А зачем вам, физику-теоретику, понадобилось стать правозащитником?*

– Для меня, как и для многих, главный мотив правозащитной деятельности – спасти человека в экстремальной ситуации. Как у Юлика Кима в его знаменитой песне «19-е октября»: «И спасти захочешь друга, да не выдумаешь как». Выдумывали и спасали. Например, в 1977 году были арестованы основатели Московской Хельсинкской группы, а для Толи Щаранского прокурор потребовал высшей меры. Вот тогда возникла нетривиальная идея обратиться за помощью к западным коммунистам, значимым для советских партийных идеологов. И как это ни парадоксально, но удалось поднять их на массовые акции в защиту Орлова, Гинзбурга и Щаранского. И помогло. Я тогда тоже внес свои пять копеек – написал воззвание «Еврокоммунизм и права человека», передавали его по «голосам». Один из ярких примеров – спасение Петра Старчика, барда и композитора. Он устраивал концерты у себя дома, в Тёплом Стане. Там собиралось по 50–60 человек. Петр пел песни на слова Цветаевой, Мандельштама, Шаламова, многих других. Но пел и «Жестокый закон» (слова народные):

*...И кто испытал эти страшные муки,
Тот проклял Октябрь и Советскую власть...*

Как это уместно звучит сегодня в год 100-летия «Великого Октября». И пел он «Владимирскую прогулочную» Вити Некипелова: *«Даже и небо решёткою ржавою красный паук затянул...»*

Петю гэбисты предупреждали, а он игнорировал. Его забрали 15 сентября 1976 года и отправили в психушку на наших с Ларисой глазах. Был там еще мой брат, жена и дети Петра. Это было очень страшно. Лариса описала этот ужас в эссе «Колыбель висит над бездной». Через пару недель после ареста почерк его записок начал вызывать тревогу – скорее всего, стали колоть галоперидол без корректоров. Мы, друзья, решили 15 октября собраться у него на квартире и подумать, что делать. А утром того дня я читаю в «Правде», что объявлена русско-французская культурная неделя. И я в тот же день сочинил обращение к президенту Франции Валери Жискар д'Эстену. Смысл текста: мол, посадили человека в психушку за исполнение песен в собственном доме. Этот текст я вечером зачитал, его подписали множество друзей, в том числе и Петр Григорьевич Григоренко. И – передали на Запад. Это был нокаут. Наш Петя переводится спешно в хорошее отделение, к нему приезжает, очевидно по поручению КГБ, главный психиатр Москвы Котов. В палату друзья передали гитару, и Петя пел доктору песни, которые психиатру «понравилась». Передали Пете и радиоприемник, по которому он вдруг слышал, как «Немецкая волна» передает его песни. Как он рассказывал, там в палате все сумасшедшие с ума сошли. Через неделю после революционных ноябрьских праздников Старчика выпустили. Но при этом сотрудники КГБ вполне по-уголовному пригрозили ему, объяснили, что будет с ним и его семьей, если он продолжит свои домашние концерты. Так что ехать из больницы домой было никак нельзя, и он приехал к нам. Собралась уйма народа, и всю ночь он пел свои песни.

– Кажется, именно в эти годы на Ларису обрушилась слава?

Л. М. Нет, мои звёздные годы пришлись на конец 60-х и самое начало семидесятых. Я ничего такого не ожидала, ходила по литобъединениям, потом Лидия Лебединская отправила меня к Михаилу Светлову. Когда я пришла, он воскликнул: «А, старая большевичка пришла? У меня дом – полная чашка, сосиски будешь?» Я показала свои стихи. Он на какое-то сказал, что хорошее, в других отметил отдельные строчки и ещё сказал: «Нужно писать так, чтоб было интересно читать». Я запомнила. Потом мама (она, как и мой папа, заканчивала Литинститут) решила отвести меня к Михаилу Матусовскому. У него была квартира с красной мебелью. Я показала свои двенадцать стихотворений. У меня всегда их было двенадцать. Сколько бы ни писала, все равно оставалось двенадцать. Матусовский тоже что-то похвалил, что-то порекомендовал. Потом мне кто-то сказал, что у меня ничего не выйдет, если я оставлю свою фамилию. Советовали взять литпсевдоним по отчеству – Емельянова. Я отказалась. Борька меня поддержал. А когда в 1967 году при Союзе писателей открылась студия молодых писателей, я, конечно, туда отправилась. Попросилась к Давиду Самойлову, но у него все было забито. Стоявшая рядом Нина Бялосинская, сказала, что не нужно мне к Самойлову, лучше – к Тарковскому. И я записалась к Тарковскому. Я про Арсения Александровича почти ничего не знала. Знала, что не так давно у него вышла первая книжка. В 55 лет...

И начались незабываемые семинары. Помню, зашёл на огонек главный СМОГист («Смелость, Мысль, Образ, Глубина» или иначе: «Самое молодое общество гениев») Леня Губанов. Произвёл впечатление. Мы все сидели по краям, а он, решительный мальчик, поставил стул посреди комнаты, закурил, стряхивая пепел мимо пепельницы. В перерыве Тарковский спросил, чем Леня занимается. Тот ответил, что работает в подвале. «Что вы там делаете? Пытаете?» Тарковский не был шутником, но был очень ироничен. Говорил: «Ларисочка, принесите мне, пожалуйста, словарь. Вы молодая, у вас ноги есть». Наши семинары Арсений Александрович вел недолго: ему было трудно, лень, да и скучно, наверное. Он не любил, когда люди набрасываются друг на друга, обрушиваются со злой критикой во время обсуждения. Когда я обсуждалась, мне показалось, что ему не очень понравилось то, что я читала. Но после обсуж-

дения Тарковский попросил мои стихи. И вот тут случилось невероятное. Он мне позвонил: «Ларисочка, приезжайте скорее ко мне, я сейчас дописываю вам письмо».

Я тут же помчалась. По тому, как он открыл мне дверь, было заметно, что он взволнован. Арсений Александрович скакал на одной ноге, забыв надеть протез. Он дописал письмо при мне и вручил. Это стало важнейшим событием в моей жизни.

«Дорогая Лариса!

Я прочитал глазами Ваши стихи, прочитал весь Ваш 1967 год моему приятелю Владимиру Державину и (как и он) нахожусь в состоянии восхищения, всё радуюсь, каким очень хорошим поэтом Вы стали в ЭТОМ году. Раньше всё было в начале икалы отсчёта, теперь же Вы занимаете наивысший уровень над поэтами послевоенного времени.

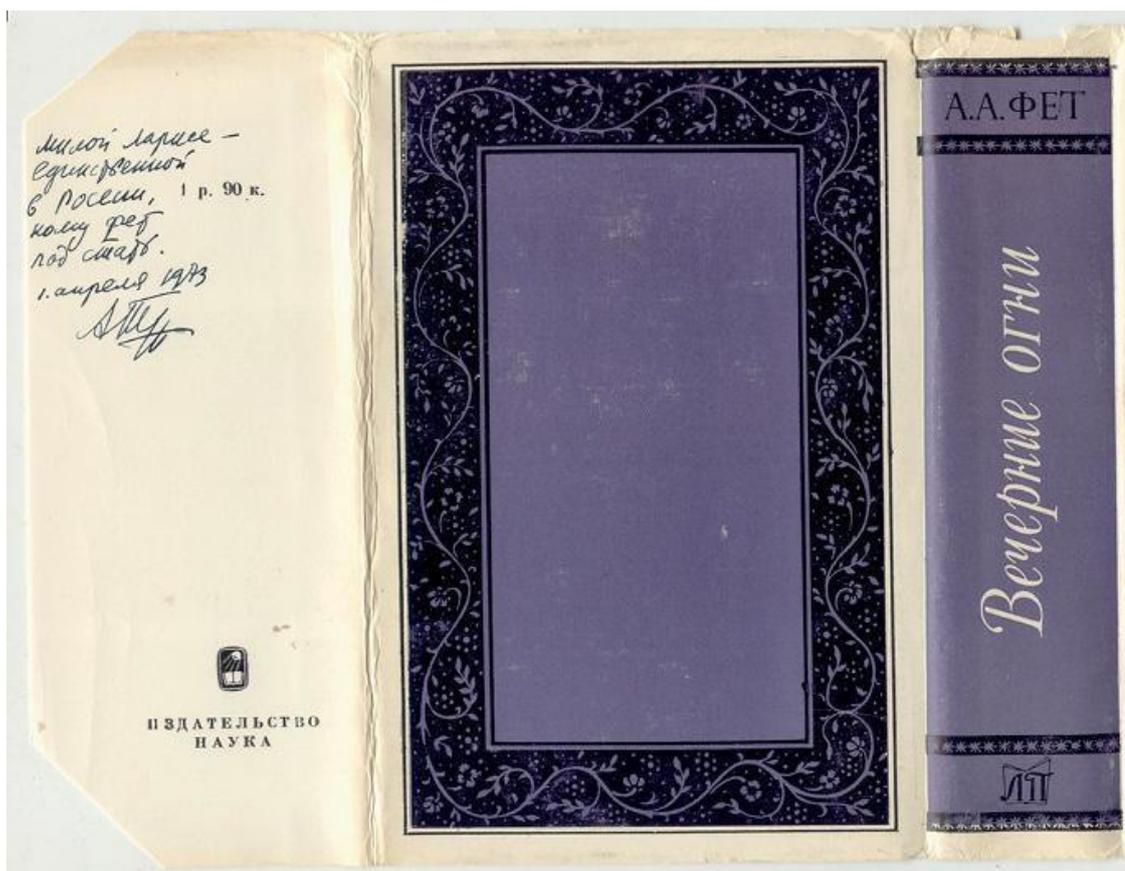
У Вас уже есть всё для того, чтобы задирать носик и не считаться ни с кем. Больше, чем в чьё-нибудь, я верю в Ваше будущее. У Вас свой взгляд на каждую изображаемую реалию, всё проникнуто мыслью, Вы прямо (в лучших стихотворениях) идёте к цели; мысль крепко слажена, и нова, и нужна читателю. Особенно внимательно я прочитал стихотворения 1967 г., пометил – что, по-моему, нужно исправить (ударения, звуки). На книгу стихов еще не набирается, не стоит хорошее разжигать ранними (послабей) стихотворениями. Что ещё у Вас хорошо – это большое дыхание: синтаксического периода хватает на всю строфу, и Вы прекрасно ее строите; что до формы, то идеалом мне кажется – совпадение ритма и синтаксиса, а это у Вас есть. ПОСЛЕДНИЕ СТИХ-НИЯ очень выигрывают от того, что Вы стали строго рифмовать. Вы прелесть и чудо; теперь всё – для поэзии, я уверен, что русская поэзия должна будет гордиться Вами; только ради Бога, не опускайте рук! Я верю в Вас и знаю, что Ваше будущее – не только как поэтессы, но и как поэта у Вас в кармане, вместе с носовым платком. Еще год работы – и слава обеспечена, причем слава еще более, чем Вам, нужна Вашим будущим ЧИТАТЕЛЯМ.

Преданный Вам А. Тарковский 10.IV. 1967 г

Р. С. Не выбрасывайте этого письма, спрячьте его на год. Посмотрим, что принесёт он Вам (нам), проверим мое впечатление. А.Т.»

Меня почти не печатали, но Тарковский меня везде называл, и я стала жутко известна в литературных кругах именно с его слов обо мне. Я входила в ЦДЛ как какая-то кинозвезда.

Б. А. В 1973 году ко дню рождения Ларисы Арсений Тарковский подарил ей «Вечерние огни» Фета. С надписью: *Милой Ларисе – единственной в России, кому Фет под статью.* Интересно, что «под статью» он написал отдельно, т. е. всё по Пушкину: «без грамматической ошибки я русской речи не люблю».



Л. М. Я ходила как пьяная. Тарковский даже предложил мне вместе ездить выступать. Но у меня был маленький Илюшка, я не могла. И он стал ездить с Левитанским. Но всякий раз на вопрос, кто ваши любимые современные поэты, он среди нескольких имён обязательно называл меня.

А тут еще в январе 1971-го – в ЦДЛ собрали пятидневное совещание более сотни молодых литераторов. Я тоже участвовала, и меня сильно выделил Владимир Соколов, заявив, что это Лариса Миллер должна сидеть в жюри, а они – в зале. «Они» – это два других руководителя нашего семинара Василий Казин и Василий Субботин, которые тоже говорили мне высокие слова. Кому такое понравится? Результатом совещания должно было стать членство в Союзе писателей и рекомендация издать книгу. И я оказалась единственной из «похваленных» участников, кому не дали такую рекомендацию и не приняли в Союз.

Б. А. Это уже, я думаю, из-за меня.

– Выходит, вы, Борис, стали главной помехой в Ларисиной, так сказать, литературной карьере? А с Тарковским вы еще дружили? Ведь его авторитет был абсолютен.

Л. М. Да, похоже, что про меня поступили какие-то сигналы из сверхавторитетных источников, поскольку все, кто меня превозносил, вдруг как-то слиняли – и рекомендацию в Союз не дали и книгу в издательство отказались рекомендовать. Мне Тамара Жирмунская помогла отнести и сдать ее в «Советский писатель». А роль Тарковского оказалась решающей, но не потому, что он пользовался авторитетом у влиятельных чиновников. Просто в течение нескольких лет, что она там лежала, он постоянно ходил в издательство и уговаривал издать мою книжку. Тамара Жирмунская говорила, что видела, как по коридору идет директор издательства, а за ним поспевает на протезе Тарковский и читает ему мои стихи.

– Ну вот, первая книга «Безымянный день» наконец в 1977 году вышла. Но стихов-то, наверно, было гораздо больше. Что дальше?

Б. А. Второй сборник Ларисы «Земля и дом» пролежал в Совпесе девять лет. Ведь наши приключения продолжались. В марте 82-го года Ларису пригласили в главную приемную КГБ на Кузнецком Мосту, показали толстую папку и сказали, что муж её обманывает. «Он вам говорит, что занимается физикой, а на самом деле – антисоветской деятельностью, общается вы понимаете с кем. Он должен немедленно уехать из страны. В противном случае, он 10–15 лет не сможет увидеть своих детей». Интересно, что фамилии Сахаров, Боннэр они почему-то не называли, а только так, намеками.



Борис Альтишлер и Лариса Миллер с детьми, 1976 г.

Л. М. Никуда мы не уехали, это было совершенно невозможно для Бори, детство которого прошло в сверхсекретном атомном центре. Но от открытых заявлений Боря в дальнейшем воздержался, хотя все так же продолжал помогать Елене Георгиевне и Андрею Дмитриевичу. Но что удивительно, и об этом я узнала много позже от Маргариты Алигер: оказывается, КГБ широко распространило в писательских кругах «информацию», что Лариса Миллер уехала в Израиль. А поскольку с нами тогда мало кто решался общаться, то многие и поверили.

Б. А. Один поэт – давний знакомый Ларисы, который тогда с нами не общался, недавно меня спросил: «Боря, а когда вы с Ларисой вернулись из Израиля?» И никак не хотел поверить, что мы туда никогда не уезжали. Эта фальшивка неожиданно отозвалась через четверть века в «Литературной газете». Кто интересуется, может набрать в поисковике фразу: «Где живет Лариса Миллер?» – там всё рассказано.

Л. М. А в ноябре 1983 года у нас дома прошёл 10-часовой обыск. Я старалась держаться спокойно, но когда, выйдя в коридор, увидела, что один из них залез в карман моего пальто и, вытащив черновик, принялся его читать, я взорвалась: «Что вы делаете?! Я даже мужу не показываю черновики!» И что странно, он, ничего не сказав, сразу положил мой блокнотик обратно, туда, где взял.

Потом Боря почему-то решил, что нужно рассказать об обыске Арсению Александровичу. Я не стала спорить, и мы поехали к Тарковским в Переделкино.

С той поры они стали меня бояться. Исходило это от Татьяны Алексеевны. Арсений Александрович от неё сильно зависел. Таня ему делала всё: возила на машине, перепечатывала, составляла книги, беседовала с редакторами, он подключался на последнем этапе. Мы продолжали дружить, но он стал осторожнее.

– Из страны вы не уехали, но Бориса и не арестовали.

Б. А. Тут уж мои друзья-однокурсники по физфаку МГУ постарались, которые уже давно жили в США и Израиле. Такую кампанию подняли. Это помогло. Меня уволили с преподавательской работы, но в сентябре 1982 года я устроился дворником в ближайший ЖЭК. Работал там до 87-го года. Хорошая работа – два-три часа в день зарядка на свежем воздухе, а потом свободен. И зарплата была больше, чем потом в Академии наук. Кстати, меня в ЖЭКе ценили и даже выдали грамоту с Лениным. А когда после возвращения из ссылки Сахаров настоял, чтобы меня приняли на работу в ФИАН, то ЖЭК дал мне очень хорошую характеристику для представления в Академию наук СССР.

Л. М. Потом грянула перестройка, и Тарковский уже мог заступиться за меня, назвав моё имя в каком-нибудь интервью. Но он был уже очень слаб, и все интервью давала, в сущности, Таня. В последнем его интервью на вопрос о любимом поэте Тарковский меня не назвал. На мне всё ещё лежало табу.

– А может быть, он вас разлюбил?

– Нет, что вы! Просто советская власть кончилась, а страх остался. Мы дружили до самой его смерти.

– В перестройку задыхалось легче?

Б. А. Мы почувствовали это очень рано. В январе 86-го года у нас отключили телефон. Мне в МТС сказали, что это за использование телефона в антигосударственных целях, показали статью закона. Отключили на полгода. И в то же самое время в марте Ларису приглашают в «Советский писатель» читать вёрстку её второго сборника. И вскоре он вышел. И хотя Сахаров находился еще в ссылке, это был для нас первый звоночек перестройки. А сейчас у Ларисы уже больше 30 книг.

– А правами детей вы начали заниматься ещё до появления в ООН Конвенции о правах ребёнка?

– Нет, конечно. Конвенция ООН о правах ребенка была принята в 1989 году, Россия к ней присоединилась в 1990-м, а занялись мы правами детей в 1996-м. И хочу похвастаться, что за всё время нашей работы в этой сфере не было ни одного случая, чтоб мы не добились результата, не помогли конкретному ребенку. И это было непросто, приходилось чиновников «ломать через коленку». И нам это удавалось, поскольку для защиты детей в Новой России мы стали применять те же методы, какими спасали узников совести в СССР. Коротко говоря, применяли метод «обращений в космос», в данном случае на высший уровень власти РФ. А наш первый очень трудный случай был, когда 19-летнюю девушку хотели принудительно аборттировать в психоневрологическом интернате, откуда она, вместе со своим другом – отцом ребенка, сбежала и три месяца пряталась по московским чердакам и подвалам. А потом пришла к нам. Мы отстаивали её право иметь ребенка. И она родила, мы добились, чтобы ей дали и положенную по закону квартиру. А тогдашнее руководство соцзащиты Москвы надолго нас возненавидело.

– *Как же вы сумели их победить?*

Б. А. Да так же, как в 1976 году спасли Петю Старчика, – обращениями «на небеса», но теперь не через Запад, а напрямую. Но еще помогали и наши российские СМИ, чего в СССР, конечно, не было. Но всё это очень непросто, это такой творческий процесс, и главное – надо быть, как я говорю, «правозащитными бульдогами» – не отступать, пока не спасем этих конкретных детей или конкретную семью. И должен сказать, что мы находили поддержку на высшем уровне. Не случайно в 2009 и в 2011 годах президент Медведев своим указами включил меня в два созыва Общественной палаты РФ. Там я трудился четыре с половиной года. Сколько было сказано и написано! До сих пор многое «висит» на сайте ОПРФ. Но, увы, всё в корзину, добиться проведения системных реформ, пробить бюрократическую стену практически невозможно. Однако, я горжусь тем, что как член ОП РФ поддержал три отчаянные голодовки бездомных многодетных родителей, одну из которых – в декабре 2012 года – женщины назвали голодовкой «против геноцида многодетных семей России». И особенно горжусь, что эта моя поддержка вызвала панику в курирующем ОП РФ управлении администрации Президента. А в результате, хотя ситуация представлялась абсолютно неразрешимой, кому-то из них удалось помочь – спасибо и коллегам по Общественной палате, которые подключились.

– *Трудно быть женой правозащитника? А мужем поэта – легко?*

Л. М. Да, бывает трудно наблюдать, как Боря все свои силы и всё время тратит на то, чтобы пробивать эту стену. Это какая-то одержимость. Но ничего.

Б. А. У моего знакомого жена и тёща – поэты. Дети, хозяйство, готовка – всё на нем, а женская половина – вся в творчестве, в депрессиях, в отчаяниях, в общем, – сумасшедший дом. У нас не так. Лариса никогда не забывала, что она в первую очередь – мама!

– *Вы знаете, в чем секрет вашего семейного «долголетия»?*

Б. А. Евгений Евтушенко, которого Вы процитировали в начале, правильно заметил, что нам друг с другом никогда не бывает скучно. А любовь – это и есть бесконечный разговор.

Л. М. По-моему, самое главное – правильно выстроенная шкала ценностей, когда понимаешь, что важно, а что не важно. И не воюешь по пустякам. Помните, у Окуджавы: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая». Ну и закончу своим четверостишием:

*Не ведаю – к счастью ли это, к несчастью,
Но стал ты моей неотъемлемой частью.
В чём счастье? Да в том, что люблю и любима,
Несчастье же в том, что вдвойне уязвима.*

Москва, ноябрь 2017 г.

«Новый берег», декабрь 2017 г.

Книги Ларисы Миллер

1. Безымянный день. – М.: Советский писатель, 1977. 128 стр., тираж 10 000. Сборник стихотворений.
- 1а. Дополнение к сборнику «Безымянный день». – М.: 1977. 26 стихотворений, вынутых редактором из сборника по цензурным соображениям, «Дополнение» широко распространялось в Самиздате.
2. Земля и дом. – М.: Советский писатель, 1986. 176 стр., тираж 9000. Сборник стихотворений.
3. Поговорим о странностях любви. – М.: Весть, 1991. 117 стр., тираж 1000. Стихи и проза.
4. Стихи и проза. – М.: Терра, 1992. 240 стр., тираж 10 000
5. В ожидании Эдипа. – М.: Авиатехинформ, 1993. 95 стр., тираж 1000. Стихи и проза.
6. Стихи и о стихах. – М.: Глас, 1996. 125 стр., тираж 2000. Стихи и проза.
7. Заметки, записи, штрихи. – М.: Глас, 1997. 190 стр., тираж 1500. Стихи и проза.
8. Сплошные праздники. – М.: Глас, 1998. 190 стр., тираж 1800. Стихи и проза.
9. Между облаком и ямой. – М.: HGS, 1999 (Поэтическая пбиблиотека). 184 стр., тираж 2000. Избранные стихотворения.
10. Мотив. К себе, от себя. – М.: Аграф, 2002 (Символы времени). 336 стр., тираж 1500. Стихи проза.
11. Где хорошо? Повсюду и нигде. – М.: «Время», 2004. (Поэтическая библиотека). 558 стр., тираж 1500. (Полное авторское собрание стихотворений за 1963–2002 гг. Приложение «О поэзии Ларисы Миллер» – подборка откликов разных лет на стихи Ларисы Миллер.).
12. Сто оттенков травы и воды. – М.: «Время», 2006 (Поэтическая библиотека). 160 стр., тираж 1000. Новые стихи 2002–2005 годов.
13. Золотая симфония. – М.: «Время», 2008. 286 стр., тираж 2000. Автобиографическая проза. Прилагается в подарок аудиокнига: стихи, читает автор, 6 часов звучания.
14. Накануне не знаю чего. – М.: «Время», 2009. (Поэтическая библиотека). 112 стр., тираж 1000. Сборник стихотворений.
15. Потаённого смысла поимка. – М.: «Время», 2010. (Поэтическая библиотека). 112 стр., тираж 1500. Сборник стихотворений.
16. Упоение заразительно. – М.: «Аграф», 2010. 208 стр., тираж 1000. Эссе.
17. Четверг пока необитаем. – М.: «Время», 2011. (Поэтическая библиотека). 160 стр., тираж 1000. Сборник стихотворений.
18. Праздники по будням. – М.: «Время», 2013. (Поэтическая библиотека). 126 стр., тираж 1000. Сборник стихотворений.
19. А у нас во дворе. – М.: «АСТ: CORPUS», 2014. 476 стр., тираж 3000. Автобиографическая проза.
20. Намёк на благодать. – М.: «Время», 2015. (Поэтическая библиотека). 192 стр., тираж 1000. Сборник стихотворений.
21. На память узелки. – «Издательские решения – Ridero», апрель 2016. 203 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Рецензии, эссе, письма.
22. В прямом эфире. Выпуск 1 серии «Стихи гуськом». – «Издательские решения – Ridero», август 2016. 127 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Стихи.
23. Два ветра, три дождя. Выпуск 2 серии «Стихи гуськом». – «Издательские решения – Ridero», январь 2017. 102 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Стихи.
24. Волшебный след. – «Книгоноша», Вильнюс, февраль 2017. 31 стр. Стихи.

25. Островок безопасности. Выпуск 3 серии «Стихи гуськом». – «Издательские решения – Ridero», май 2017. 138 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Стихи и эссе.

26. Средь бела дня. Выпуск 4 серии «Стихи гуськом». – «Издательские решения – Ridero», август 2017. 127 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Стихи и эссе.

27. А между тем. – М.: «ФТМ», 2018. 437 стр. Электронная версия, тираж: по требованию. Стихи: избранное 1965–2017 гг.

Книги на иностранных языках

1. На английском языке: *Dim and Distant Days*. – «Glas New Russian Writing», Москва, 2000, 190 стр. Автобиографическая проза. Перевод – Кейт Кук и Натали Рой.

2. Двухязычная книга стихов (на русском и английском языках): *Guests of Eternity / У вечности в гостях*. – «Arc Publications», Великобритания, 2008. 132 стр. Стихи 1960-х – 1990-х годов. Переводчик – Ричард МакКейн.

3. Двухязычная книга стихов (на русском и голландском языках): *Zestig Gedichten / Шестьдесят стихотворений*. – «Pegasus & Stichting Slavische Literatuur», Нидерланды, 2011. 131 стр. Переводчик – Кейс Джискут.

4. Двухязычная книга стихов (на русском и английском языках): *Regarding the Next Big Occasion*. – «ARC Publications», Великобритания, 2015. 35 стр. Переводчик – Ричард МакКейн.

5. Двухязычная книга стихов (на русском и итальянском языках): *Grani di felicità / Зерна счастья*. – «Transeuropa Edizioni», Италия, 2015. 125 стр. Переводчик – Стефано Гардзонио.